

Инна
Соболева

З
атраченный
ПЕТЕРБУРГ

ББК 63.3(2=2СП6)
УДК 94(470.23-25)
С54

Соболева И. А.

С54 Утраченный Петербург. — СПб.: Питер, 2012. — 400 с.: ил.

ISBN 978-5-459-00390-1

Петербург меняется стремительнее, чем когда-либо. Что-то идет под снос, что-то перестраивается. Какие-то перемены вызывают бурные споры, какие-то проходят, не замеченные горожанами.

Исчезают с лица города не просто здания — символы эпохи и поколения. Кафе «Сайгон», Литературный дом, рюмочная на Невском, 18, дом Рогова... Всего не перечислишь.

Что же утратил наш прекрасный город? Шедевры архитектуры? Неповторимые живописные силуэты? Или ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру?

Новая книга Инны Соболевой о том, как менялся город Петра на протяжении всей своей истории. О том, каким был Петербург и каким уже никогда не будет снова.

ББК 63.3(2=2СП6)
УДК 94(470.23-25)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-459-00390-1

© ООО Издательство «Питер», 2012

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
УТРАТЫ ПЕТРОВСКОГО ПИТЕРБУРХА	12
<i>Отступление об ордене Андрея Первозванного и первом его кавалере.....</i>	<i>24</i>
<i>Отступление о военном генерал-губернаторе столицы.....</i>	<i>36</i>
<i>Отступление о том, как слово иногда убивает.....</i>	<i>51</i>
РАСТРЕЛЯННЫЙ РАСТРЕЛЛИ.....	58
<i>Отступление о генерал-адмирале.....</i>	<i>61</i>
<i>Отступление о французских скульпторах</i>	<i>72</i>
<i>Отступление о материнской и сыновней любви</i>	<i>79</i>
<i>Отступление о жильцах и посетителях Шепелевского дома.....</i>	<i>96</i>
СТРАНИЦЕЙ ГОГОЛЯ ЛОЖИТСЯ НЕВСКИЙ... ..	107
<i>Отступление о князьях Куракиных</i>	<i>115</i>
<i>Отступление о лейб-медике трех императоров.....</i>	<i>141</i>
<i>Отступление о Кассандре или председателе комитета министров Российской империи</i>	<i>147</i>
УТРАТЫ ЛИТЕЙНОЙ ЧАСТИ	171
<i>Отступление о придворном чародее</i>	<i>172</i>
<i>Отступление о семействе Строгановых.....</i>	<i>186</i>
«ПРЕКРАСНО ПОМНЮ, КАК ЕЕ ЛОМАЛИ...».....	203
<i>Отступление о русском статс-секретаре и греческом кормчем.....</i>	<i>209</i>
«ЗДЕСЬ НЕКОГДА ГУЛЯЛ И Я...»	220
<i>Отступление о загадочной графине</i>	<i>230</i>
<i>Отступление о «ночной княгине»</i>	<i>237</i>

«НЕ СТУПАЙ НА СТЕЗИЮ НЕЧЕСТИВЫХ»	271
<i>Отступление о единственном народном избраннике</i>	<i>309</i>
КУДА НИ БРОСИШЬ ВЗГЛЯД... ..	323
<i>Отступление о дважды приговоренном к смерти</i>	<i>327</i>
СОКРЫТО ОТ ГЛАЗ	365
<i>Отступление о Таврическом дворце</i>	<i>383</i>
«В ТАКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЕСТЬ ЧТО-ТО БЕЗНАДЕЖНОЕ...»	395

ПРЕДИСЛОВИЕ



*Не в звездах, нет, а в нас самих ищи причину
того, что так ничтожны мы и слабы.*

Вильям Шекспир

Нашу историю мы творим сами.

Эдвард Мэрроу

Человек — такой подлец, ко всему привыкает.

Федор Достоевский

Как только написала «утраченный», тут же начала сомневаться: может быть, лучше «потерянный», «пропавший» или «разрушенный»? «Исчезнувший», «истребленный» или «уничтоженный»? Все синонимы, все означают одно — то, чего больше нет, чего мы безвозвратно лишились. И все-таки выбираю «утраченный». В нем не только смысл. В нем — второй план — чувства. Печаль, сожаление, горечь беспомощности — не изменить, не вернуть.

Что же утратил он, наш прекрасный, наш обожаемый город? Шедевры архитектуры? Храмы, в которых молились наши предки? Кладбища, где они упокоились?

Неповторимые живописные силуэты? И уже готов утратить божественную небесную линию, которая потрясает всякого, кто не лишен чувства прекрасного? И еще ту особую, чисто петербургскую, ленинградскую культуру (а может быть, это лучше назвать манерой поведения, особенностью отношений между людьми, даже своеобычностью речи), которая, стоило только сказать, откуда ты приехал, еще совсем недавно вызывала приветливые улыбки и желание помочь в любом уголке огромной страны. Сейчас упоминание о нашем городе восторг вызывает все реже...

Так что же все-таки считать утратами (а значит — о чем стоит помнить и скорбеть), а что — просто переменами, вызванными естественным ходом времени? Я долго об этом думала. И чем дольше думала, тем больше сомневалась. Вот снесли старый дом на улице Шкапина. Для большинства это осталось незамеченным. Кто-то порадовался: может быть, наконец, самый, пожалуй, запущенный район в центре города приведут в порядок. А кто-то, даже получив квартиру в новом, вполне благоустроенном районе, не находит себе места: он привык и к тому, что рядом Балтийский вокзал, Обводный канал и метро, на котором быстро можно добраться... да куда хочешь, туда и можно добраться. В общем, для кого-то расчистка запущенного угла города — утрата.

Есть утраты, которые очевидны для всех, и о них люди, не чуждые исторической памяти, неравнодушные к своему городу, будут скорбеть во все времена. Есть и другие, для одного поколения, которое лишилось привычного, а оттого дорогого. Следующие уже не будут об этом знать или просто забудут. Есть и такие, что ста-

новятся утратами только для небольшой группы людей или даже для одного человека. Вот для меня, к примеру, одна из таких потерь — неосуществленный памятник Ломоносову. Давным-давно, когда проходил конкурс на памятник, я случайно оказалась в мастерской скульптора Константина Симуна. Здесь не место говорить о его поражающих воображение работах, скажу только о Ломоносове. Он был живой. Никак не в смысле фотографического сходства с общеизвестным парадным портретом: он был усталый, непонятый, страдающий, задерганный интригами завистников, но готовый защищать свое право на самостояние. И было очевидно: знаток искусств товарищ Романов не допустит, чтобы в «его» городе появился такой памятник.

Это в Париже может стоять Бальзак не хрестоматийный, а такой, каким его увидел Роден. И невозможно пройти мимо. Невозможно не постоять рядом, не поговорить (молча, конечно). А мимо Ломоносова, сидящего на Университетской набережной, хочется пройти как можно быстрее. Похоже, скульптор, взявшийся ваять гения, и в Академии научился разве что ремеслу, и про героя знал не более того, что напечатано в школьном учебнике времен недоразвитого социализма. Проходя мимо, я всегда представляю, как стояла бы здесь скульптура Симуна, как останавливались бы люди и не просто восхищались, недоумевали, сомневались, думали.

Или вот оказываюсь на Загородном, прохожу мимо джаз-клуба, и такая тоска... Когда-то в этом доме был кинотеатр «Правда». Я сбегала с уроков и, замирая от восторга, смотрела «Чайки умирают в гавани», «Их было пятеро», «Монпарнас, 19». Столько лет прошло... И ведь понимаю: джаз-клуб городу нужен куда больше, чем один из многих, не самый комфортабельный кинотеатр. Умом понимаю. Но сердцу-то не прикажешь. Утрата...

А сколько еще осталось людей, которые тоскуют не о каком-то изуродованном архитектурном шедевре, даже не об искаженном до неузнаваемости родном, привычном пейзаже — всего лишь о том, что нет больше рюмочной в доме № 18 на Невском. Какие разговоры там велись под рюмку водки и неземного вкуса бутерброд с килькой! О выставке Пикассо, о последнем спектакле Товстоногова, о концепции философии истории Маркузе, о «Государстве»

Платона... Утрата. Пусть и для небольшой группы людей, которые и тогда-то казались странными.

А закрытие маленькой кофейни на углу Невского и Литейного, именовавшейся «Сайгоном», и появление на ее месте очередного бутика... Тоже утрата. Уже — для многих.

Топонимические экзерсисы — тоже утраты. Как-то на углу Каменноостровского у памятника Горькому меня остановил человек, явно приезжий: «Простите, а где же проспект Максима Горького? Мне сказали, что он от памятника идет. Может, я не туда зашел?» Я объяснила, что зашел он как раз туда, только вот проспект переименовали. Он посмотрел с недоумением и упреком: «Ну чем вам Горький-то помешал?» Ах, как часто приходится слышать это «вам», «вы»! И чувствовать себя виноватой. И — беспомощной. Как **вы** допустили?! Неужели **вас** не волнует?! Как **вы** можете?! Я помню облегчение, которое испытала, когда с домов в центре города исчезли таблички с именами Желябова, Перовской, Халтурина. К ним нельзя было привыкнуть, хотя бы притерпеться, пусть нам многие годы и втолковывали с упоением, какие они чистые, бескорыстные герои. Поверить в такое могли только те, кто вовсе безразличен к собственной истории.

Но почему **мы** молча и послушно расстались с улицами Гоголя, Герцена, Салтыкова-Щедрина? Ладно бы старые имена этих улиц имели какой-то принципиальный, важный для города смысл. Почему Пушкинскую площадь нужно было переименовывать в Биржевую? Только ради возвращения к старому? Или просто мы живем во времени, которому биржа (не наша, прекрасная, построенная Тома де Томоном, а биржа как таковая) ближе и дороже, чем Пушкин?

Трудно представить, что просвещенные люди, заседающие в топонимической комиссии, не почувствовали этого унижительного для нашего времени подтекста. Тогда почему? Опять, крича о ненависти к большевикам, действовали по-большевистски, в угоду политическим предпочтениям и «идеалам» момента? Ведь именно такими были мотивы, по которым большевики переименовали Невский в проспект 25-го октября, Дворцовую площадь в площадь Урицкого, Садовую — в улицу 3-го июля, Владимирский — в проспект Нахимова. Но надо отдать должное большевикам: не прошло и двадцати

лет, как они поняли: люди не смирились с утратами, упорно продолжают называть улицы и площади по-старому. И 13 января 1944 года вернули дорогие, привычные имена. Правда, говорят, это сделали по настоятельным требованиям ленинградцев, отстоявших город в блокаде... Им отказать не посмели.

А чем не угодил нынешним (нет, уже вчерашним) демократам Герцен (демократ на все времена)? Впрочем, про Герцена понятно: он просто не может быть угоден власти имущим, будь то монархисты, либералы или коммунисты — слишком самостоятелен и пугающе прозорлив.

Но Гоголь! Николай Васильевич-то в чем провинился? Может, в том, что назвали улицу его именем большевики? Так нет же, не они! Городская Дума Санкт-Петербурга в 1902 году. Кстати, почему вернули название Малая Морская, тоже загадка. Ведь так она именовалась только с 1820 года. До того была Ново-Исаакиевской, а изначально — Большой Луговой. Уж если возвращаться к истокам, так до конца. Может, не знали просвещенные господа депутаты истории этих переименований? Или, наоборот, знали очень хорошо и сознательно отказались возвращать улице первородное имя? Ведь названа она была Луговой потому, что ограждала строящийся город от Адмиралтейского и Дворцового лугов. Лугов давно нет, какая же Луговая? Но и моряки с корабелями давно в этих краях не живут, во всяком случае, компактно. Так почему же Малая Морская?

А имени Гоголя даже и по формальной логике (о душе на время забудем) здесь самое место: в десятой квартире дворового флигеля дома № 17 на Малой Морской (к моменту его очередного приезда в Петербург она уже тринадцать лет носила это имя) он прожил три года и много чего замечательного написал. В том числе и повесть «Невский проспект». Судя по всему, заслугой перед городом это не считается...

Но попробую быть справедливой: склонность к смене имен (будто от этого что-то изменится по существу) возникла много раньше событий 1917 года. Но смена смене рознь. Меняются функции улицы, меняется ее облик — меняется и название. Так было с главной улицей нашего города. Сначала была просто дорога к Невско-

му монастырю, потом — Большая перспективная дорога, после — Невская перспектива и, наконец, Невский проспект. Это даже не переименования — уточнения.

А вот пример переименования неумного и трусливого. Когда наша армия начала терпеть поражения на фронтах Первой мировой войны, переименовали не улицу — город. Решили: не может больше столица Российской империи носить немецкое имя! Народ не поймет! (У нас правители про народ всегда все знают...) И стал Петербург Петроградом...

Вот что записал по этому поводу в дневнике барон Николай Николаевич Врангель, выдающийся искусствовед, человек с безупречным вкусом и столь же безупречной репутацией: «Зловещие слухи подтвердились, и сегодняшнее правительственное сообщение гласит о серьезных неудачах. Тем бестактнее высочайшее повеление, опубликованное сегодня, о переименовании Петербурга в Петроград. Не говоря о том, что это совершенно бессмысленное распоряжение прежде всего омрачает память о великом преобразователе. Но обнаружение этого переименования „в отместку немцам” именно сегодня, в день нашего поражения, должно быть признано крайне неуместным... весь город глубоко возмущен и преисполнен негодования на эту бестактную выходку».

Знаменитый художник Константин Андреевич Сомов был краток: «Позорное переименование Петербурга в Петроград!»

А это Зинаида Николаевна Гиппиус:

Кто посягнул на детище Петрово?
 Кто совершенное деянье рук
 Смел оскорбить, отняв хотя бы слово?
 Смел изменить, хотя б единый звук?

.....

Но близок день — и возгремят перуны.
 На помощь, Медный вождь, скорей, скорей!
 Восстанет он, все тот же, бледный, юный,
 Все тот же — в ризе девственных ночей,

Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург —
Создание революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

Она оказалась права, петербургская Кассандра. Он восстал. Но до этого ему пришлось почти семьдесят лет быть Ленинградом... И снова переименование стало утратой. Не потому, что дорожат именем Ленина, потому, что — блокада...

В общем, любая перемена может обернуться утратой — болью.

И я поняла: писать обо всем разрушенном, уничтоженном — не буду. Да и составить полный мартиролог я не готова. Напишу об утраченных шедеврах. А еще — о домах, в которых жили люди, много сделавшие для Отечества и незаслуженно забытые. И не столько о самих домах, сколько об этих людях. Прийти к такому решению мне помогла фраза, сказанная когда-то Анной Андреевной Ахматовой: **«Вещи драгоценны только своей биографией»**. Так и дома. Не архитектурные стили, не художественные изыски (во всяком случае, не только они), а люди — их страсти и дела, их страдания и победы, их боль. Вот это и есть главное.

И еще сомнение, то самое, что обыкновенно заботит реставраторов: на какой момент восстанавливать здание? На момент постройки? Это значит, к примеру, на XVIII век. Но в XIX были сделаны пристройки. И они очень хороши и давно привычны, без них здание станет неузнаваемым. Как быть?

Вот и я не могу решить, о каких утратах рассказывать? О тех ли, что случились еще в XVIII веке, о тех, что произошли в XIX, когда Петербург превращался в капиталистический город, о тех, что постигли его в веке XX, о сегодняшних?

Так, не разрешив до конца сомнений, и приступаю к работе...

УТРАТЫ ПЕТРОВСКОГО ПИТЕРБУРХА



Петербург начинается с Петра. Уж тут-то нет места сомнениям и колебаниям. И то, что осталось нам петровского (даже если переделано, перестроено), не только прекрасно, но и остается градообразующим, как Петр и задумывал. Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Александро-Невская лавра, Двенадцать коллегий, Сампсониевский собор, Летний сад, даже Кикины палаты — центры, вокруг которых разрастался, вызревал город. А то, что утрачено... Как относиться к этому? Многое зависит от ответа на вопрос: почему? Не ценили, не берегли? Или время и сам город так распорядились? Ему, городу, нужно было расти, не отставать от времени.

Одна из самых горьких утрат — **собор во имя Святой Троицы**, который в народе называли Петровским. Он был заложен по велению Петра всего через четыре с половиной месяца после осно-

вания города и через три месяца с небольшим после закладки храма во имя апостолов Петра и Павла, на месте которого сейчас стоит Петропавловский собор. Поначалу это была совсем простая маленькая деревянная церковь. Через два года ее расширили, пристроили трапезную и колокольню. С мая 1714-го Троицкая церковь стала главным храмом Петербурга. Уже тогда было ясно, что она не может вместить всех желающих: город рос, люди все прибывали и прибывали. Пристроили еще два придела и красное крыльцо, на котором



Петр I

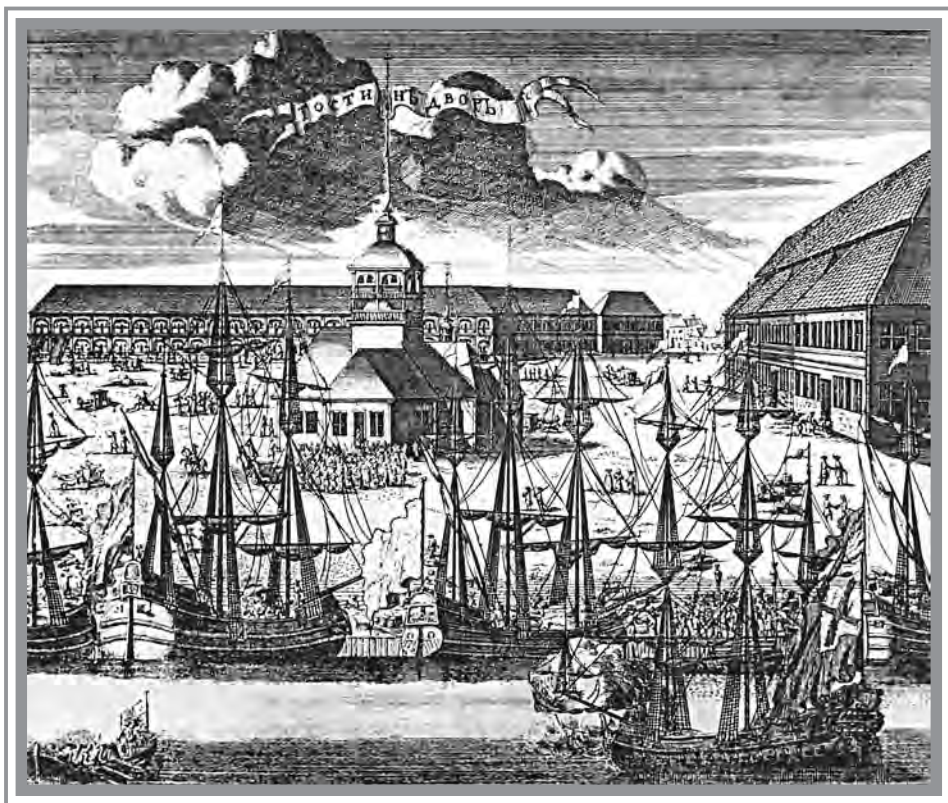
во время праздничных богослужений стоял сам Петр с семьей и придворными. Для благовеста повесили на колокольне огромный колокол — трофей, взятый генерал-адмиралом Апраксиным (о нем — дальше, в главе «Расстрелянный Растрелли») в захваченном у шведов городе Або. На колокольне поставили часы с курантами, каждую четверть часа игравшими «Господи, помилуй!». Их Петр распорядился снять с Сухаревой башни в Москве и привезти в новую столицу. Это — для душевной радости и красоты.

И первые обитатели города, и его иноземные гости дружно признавали, что Троицкая церковь — самая красивая постройка нового города. Она и правда при всей скромности была удивительно легкой и гармоничной. В этом мы можем легко убедиться, рассмотрев гравюру петровского времени «Троицкая площадь на Городском острове».

Ее автор, талантливый гравер Алексей Иванович Ростовцев, изобразил Неву, корабли и маленький изящный храм — то, что так любил Петр. Действительно любил. Потому каждое воскресенье и каждый праздник со всем семейством молился именно у Троицы, иногда даже пел на клиросе и читал Апостол.

Гангут и Гренгам, Полтава и Ништадтский мир — великие победы России. Благодарственные молебны по случаю каждой из них слу-

жили в Троицком соборе. Там же 22 октября 1721 года отмечали присвоение Петру Алексеевичу титула императора. И каждый раз Троицкую площадь озаряли огни фейерверков, и звону колоколов вторил грохот пушечных салютов и восторженные крики «Ура!». После смерти Петра в Троицком соборе короновали и Екатерину I, и Петра II, и Анну Иоанновну. Но деревянный храм неостановимо ветшал. Елизавета Петровна, которой был он особенно дорог как память о родителях, о безоблачном детстве, придя к власти, повелела запретить в нем богослужения — боялась, что перекрытия рухнут прямо на верующих. Приказала аккуратно разобрать собор, все, что можно, сохранить и восстановить на том же месте, ничего не меняя во внешнем виде. Случилось это в 1742 году, а через четыре года новая церковь была торжественно освящена. Но пройдет еще четыре года — и неожиданно вспыхнет пожар. Сгорит



Троицкая площадь на Городовом острове

все. Не удастся спасти даже то, чем особенно дорожили, что бережно хранили, пока перестраивали храм: петровские часы с курантами, дивной красоты паникадило. Расплавятся даже колокола.

Несколько лет на месте храма оставалась только выжженная земля...

Елизавета Петровна не могла с этим смириться. Приказала построить новый храм на том же месте. Но чтобы был он копией прежнего, уже не настаивала. В 1756 году новый собор во имя Святой Троицы был освящен. Императрица передала туда отцовские реликвии: паникадило и коробочку для ладана, выточенные им самим из слоновой кости, и зеленое шелковое полковое знамя с изображением Богородицы, бывшее с Петром Алексеевичем в Азовском походе.

Сто семьдесят семь лет судьба хранила старую церковь, она оставалась любимой для нескольких поколений петербуржцев. Туда приходили молиться не только живущие поблизости, приезжали из разных концов города. Считалось, что просьба, обращенная к Богу в Троицком соборе, будет скорее услышана.

Но в 1913 году в храме снова вспыхнул пожар. Был он не такой разрушительный, как первый: сгорели только купол, крыша и колокольня. Николай II решил старый собор снести и на его месте построить огромный величественный храм. Работа над проектом была поручена Андрею Петровичу Аплаксину, последнему епархиальному архитектору нашего города, человеку талантливому, большому знатоку древнерусского зодчества и елизаветинского барокко. Он уже успел вчерне закончить проект, когда к императору обратились верующие с просьбой восстановить собор точно в том виде, как он был построен при Елизавете Петровне. Как историческую святыню. Николай Александрович возражать не стал, тем более что началась война, и на задуманную гигантскую стройку не было ни денег, ни сил.

К восстановлению Троицкого собора приступили только в 1923 году (продлится она без малого пять лет). Руководил работой Евгений Иванович Катонин, будущий академик архитектуры, автор здания Фрунзенского универмага. Денег на восстановление храма новая власть, разумеется, не дала, но работе, как ни странно, не

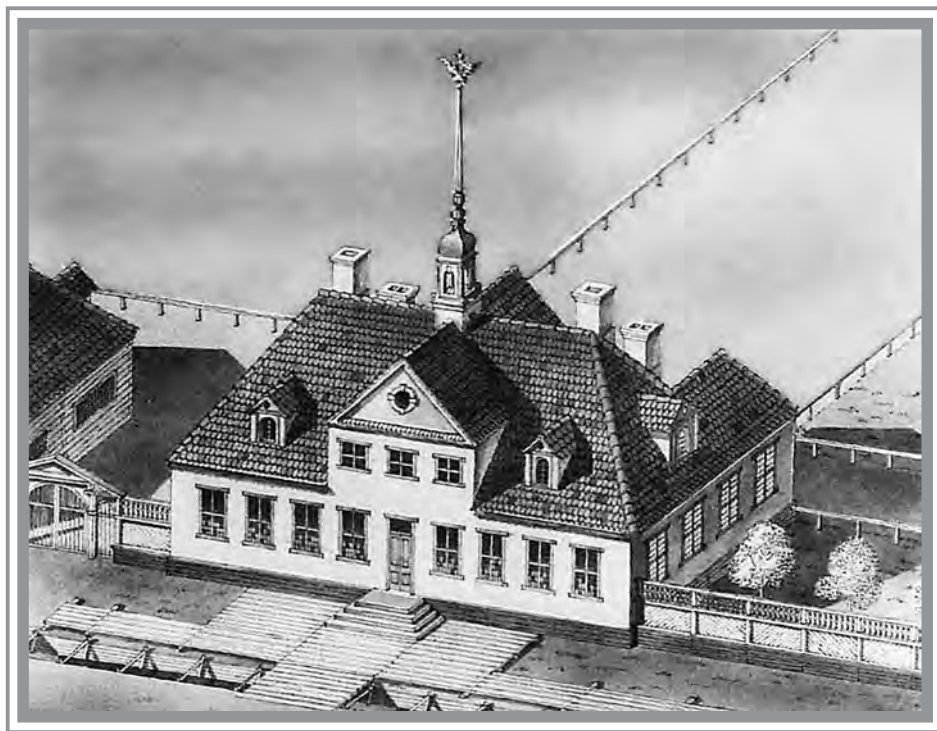
препятствовала. Почему? Ответить затрудняюсь. Может быть, потому, что уже успевшие понять, с кем имеют дело, прихожане (это они собрали деньги на строительство) подчеркивали, что восстанавливают не просто храм, но своего рода памятник создателю города. А к Петру Великому пролетарская власть относилась не без пиетета. Будто даже через века — побаивались. Тем не менее, «воинствующий атеизм» окажется сильнее и почтения, и страха: в августе 1933 года петровский храм закроют, а в октябре снесут. До основания...

Многие дома, в которых жил основатель Петербурга, тоже не сохранились, но история их утраты не так печальна. Она всего лишь закономерна: по тем или иным причинам: дом переставал устраивать хозяина, и тот его переносил на другое место (так было с Зимними маленькими хоромами), перестраивал, расширял (так случилось с Зимним домом, построенным Маттарнови в 1716–1720 годах, и с Зимним дворцом, построенным им же в 1719–1722 годах). А вот Летний дворец в Летнем саду пришелся императору по душе. И никто из преемников на него не посягнул. Вот он и уцелел.

Про первый домик Петра все известно. Был он первой гражданской постройкой в городе. Сооружен с величайшей поспешностью всего за двое суток, с 24 по 26 мая 1703 года. Сохранился благодаря Екатерине II, которая приказала укрыть его каменным футляром. С той поры и другие властители почитали своим долгом его беречь. А вот первое зимнее жилище, именуемое Зимними маленькими хоромами Петра I, интересно больше всего тем, что «застолбило» место для одного из самых совершенных созданий мировой архитектуры — стоящего и сегодня на берегу Невы Зимнего дворца. Исследователи долгие годы не могли дознаться, когда и почему этот участок земли стал собственностью Петра. Ясно было одно: вместе со многими другими талантами был он одарен исключительным чутьем на красоту и, если можно так выразиться, архитектурной точностью — выбрал для своего дома именно ту точку, с которой открывается самый завораживающий вид на Неву, на Стрелку Васильевского острова, на живописные дали невских берегов. Что же касается времени, с которого этот участок принадлежал Петру, то сотрудники Эрмитажа после долгих поисков нашли в Российском государственном архиве военно-морского

флота письма корабельного мастера Феодосия Моисеевича Скляева к государю: «...дом ваш, что подле моего двора, также чаю, что в марте совершен будет, разве кровля задержит для того, что в студеное время черепицею крыть нельзя». Датировано это письмо 29 февраля 1708 года. А через год с небольшим Скляев сетует: «...хоромы ваши готовы, да вас здесь и нет, а мы спешили изо всей мочи, однако не получили вас ныне здесь видеть». Оно и понятно. Неусидчив был Петр Алексеевич: то за границей, то на войне, то на верфях северных. Но все-таки точно известно, что в маленьких хоромаш своих он жила. Это ясно из его переписки. Если читать письма внимательно, то можно составить довольно точное представление и о том, как выглядело царское жилище.

Архитектору Эрмитажа Григорию Владимировичу Михайлову удалось по письмам даже реконструировать «маленькие хоромы». Были они одноэтажные, в восемь окон по главному фасаду, по четыре — по боковым, да еще с мезонином в три окна (там хозяин



Реконструкция Малых хором Петра

проектировал корабли и сам делал их модели), надо всем этим — так любимая Петром башенка со шпилем. Похоже, Петр первое свое зимнее жилище любил. Сужу по тому, что, готовясь к переезду в Свадебные палаты, велел Меншикову не разбирать маленькие хоромы, а «перевести на Петровский остров и поставить у пристани, а на то место сделать новые по теку (по чертежу. — И. С.)». Перед свадьбой Петр уходил в Прутский поход, так что и Екатерина с детьми, пользуясь выражением корабельного мастера Склеява, «не получили его здесь видеть». Подготовку к свадьбе пришлось поручить генерал-губернатору Петербурга (исполнял тогда эту должность Александр Данилович Меншиков).

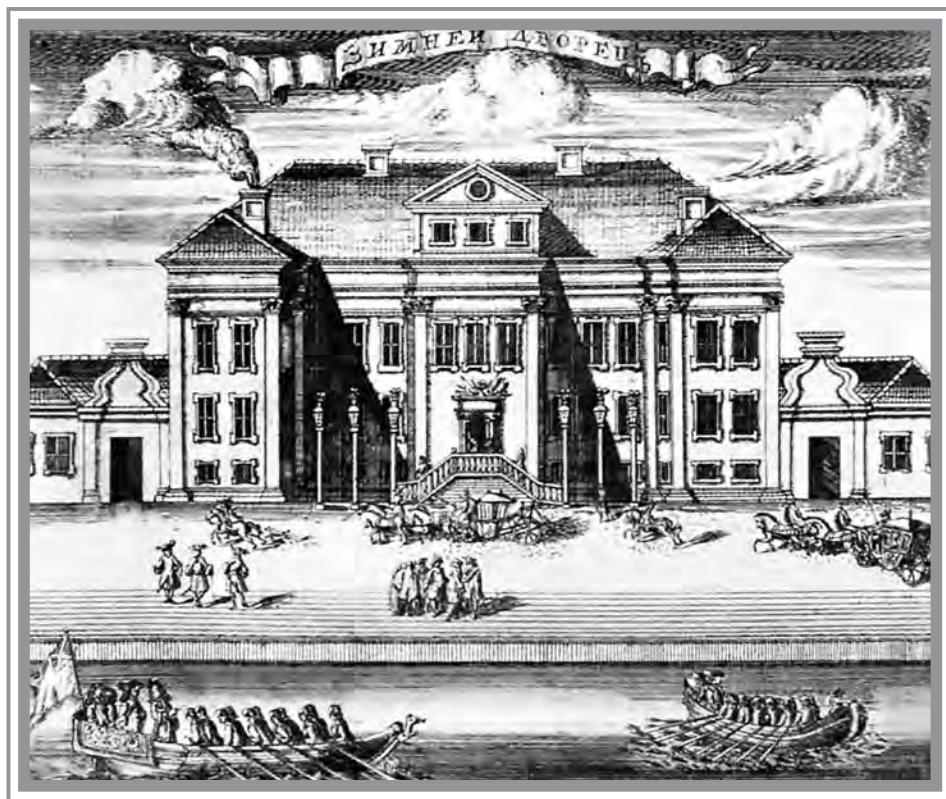


А. Д. Меншиков

Он исправно докладывал императору обо всех делах, о строительстве нового царского жилья в том числе. Вот что отвечает Петр на один из таких докладов: «Благодарствую вашей милости... за строение; только лутше б теми припасы и людьми, которые на зимнем дворе употреблены, на летнем дворе были, ибо довольно б хором небольших на зимнем дворе было, а палаты напрасно, как я вам самим говорил». Понятно, эти слова не много говорят о палатах, зато много — о самом Петре. Деталь, конечно, но детали и есть самое интересное.

Что же касается Свадебных палат, то это был уже не скромный маленький домик. Это был дворец — небольшой, но удивительно красивый. Впрочем, что ж удивительного: рука великого Трезини. Его безупречное чувство пропорций, сдержанность, легкость — гармония. Мы видим «Зимней Дворец», чаще именуемый **Свадебными палатами**, на гравюре Алексея Федоровича Зубова (1716 год).

Благодаря его мастерству и верности натуре и имеем представление о том, как выглядел город во время Петра. Неплохо выглядел. Во всяком случае, для новорожденного.



Свадебные палаты

Но жизнь не стояла на месте. Город стремительно развивался. Всего четыре года прожило царское семейство в Свадебных палатах, а Петр уже затеял новую стройку. И вот почему (по крайней мере, так считал один из первых историков Петербурга Андрей Иванович Богданов): «...когда начала строиться набережная Миллионная линия каменными палатами, тогда она линия строением подалась на Неву реку на несколько сажен, то помянутые палатки прежнего строения (Свадебные палаты. — *И. С.*) остались во дворе». А его дворец не должен был отступать от устанавливаемой красной линии, следовало ему стоять не в глубине двора, а вровень с другими дворцами. Так в итоге и получилось, судя по рисунку Маттарнови, изобразившего набережную Невы, известную нам как Дворцовую, в 1725 году.



Зимний дворец Петра в 1725 году

Маттарнови и был автором нового Зимнего дома императора. Похоже, дом выглядел вполне достойно. Одно удивительно: был он заметно меньше Свадебных палат, где продолжала жить Екатерина с детьми. Мало того, оказался отгорожен от них глухой задней стеной. Открыт же — на Неву и Зимнюю канавку, которая тогда и была проложена. Маленький дом за глухой стеной... Почему все-таки? Думаю, ответ надо искать не в каких-то архитектурных пристрастиях Петра, хотя известно, что он терпеть не мог больших помещений. Причина решения переехать в маленький отдельный дом, скорее всего, кроется в каких-то семейных неурядицах. Кто знает... Зато наверняка известно, что, когда Зимний дом по утвержденному им самим проекту будет еще не до конца построен, Петр прикажет Маттарнови его расширить, а потом и вовсе отдаст Сенату, а для себя и всей семьи повелит строить новый большой Зимний дворец.

Строить будет все тот же Маттарнови. Видимо, его работа Петру пришлась по душе. Об этом немецком архитекторе известно очень немного: только о работе, а о характере и личной жизни — ничего. Пригласил его в Петербург прославленный Андреас Шлютер, которого сам Петр уговорил приехать в Россию. Георг

Иоганн (в России Маттарнови быстро переименуют в Ивана Степановича) был рад поработать под руководством своего почитаемого учителя. Но... через три месяца после приезда ученика Шлютер скоропостижно скончался. Маттарнови пришлось завершать то, что не успел учитель. Потом он будет участвовать в отделке Меншиковского и Летнего дворцов, построит партиякулярную верфь на левом берегу Фонтанки против Летнего сада (для строительства мелких частных судов. — *И. С.*). Наконец, приступит к строительству главного своего детища — Кунсткамеры. То, что ему доверили строить кабинет редкостей, о котором так мечтал Петр, доказывает: император высоко ценил Маттарнови. Для своей коллекции редкостей, которую Петр собирал всю жизнь и хотел сделать общедоступной (первым открытым для людей любого звания музеем), он хотел иметь здание, которое вошло бы в число самых красивых построек столицы. Так и получилось. Но Маттарнови только начал. Он повторил судьбу Шлютера: умер внезапно, не завершив дела, которое должно было принести ему заслуженную славу. Достраивали Кунсткамеру другие. И лавры пожинали тоже...

Однако императорский Зимний дворец Маттарнови достроил. И последние годы Петр прожил именно в нем. Там и скончался.

Пройдут годы. На престол взойдет Екатерина II. Уж кого-кого, а ее не упрекнешь, что недостаточно почитала своего великого предшественника. Надо полагать, и его последнее пристанище сохранила бы. Если бы было, что сохранять. Через сорок лет после смерти Петра дворец окончательно обветшал. Его ведь, как Домик, футляром не укроешь... И она повелела Джакомо Кваренги построить на месте дворца Эрмитажный театр.

Считалось, что **Зимний дворец Петра Великого** был разобран до основания, а значит — утрачен безвозвратно...

Никто и помыслить не мог, что это не так. Вернее, мало кто мог. Директор Эрмитажа академик Борис Борисович Пиотровский обладал не только колоссальными знаниями (что для академика вполне естественно), но и удивительным, посмею назвать его сверхъестественным, историческим чутьем. Не случайно ведь

ему удалось найти целую неизвестную науке цивилизацию. Но это уже другая история. Что же касается дворца Петра... Пиотровскому казалось (не знаю, наверное, это неправильное слово, едва ли так можно говорить о провидении, но назвать точно это состояние, предвещающее открытие, мог бы только он сам), что следует попытаться начать раскопки. И начали. Искали с 1976-го по 1986-й. Результаты потрясли всех — даже тех, кого считали непревзойденными знатоками Петровской эпохи.

Оказалось, что Кваренги сохранил и использовал при строительстве Эрмитажного театра фрагменты старого дворца, причем не только стены первого и цокольного этажей, но и целые группы жилых помещений. На счастье, среди них оказались «малые палатки», в которых жил сам Петр.

Начиная с 1992 года их можно увидеть. За реставрацию и реконструкцию этих находок и создание мемориальной экспозиции «Зимний дворец Петра I» группу архитекторов музея во главе с Валерием Павловичем Лукиным наградили Государственной премией РФ.

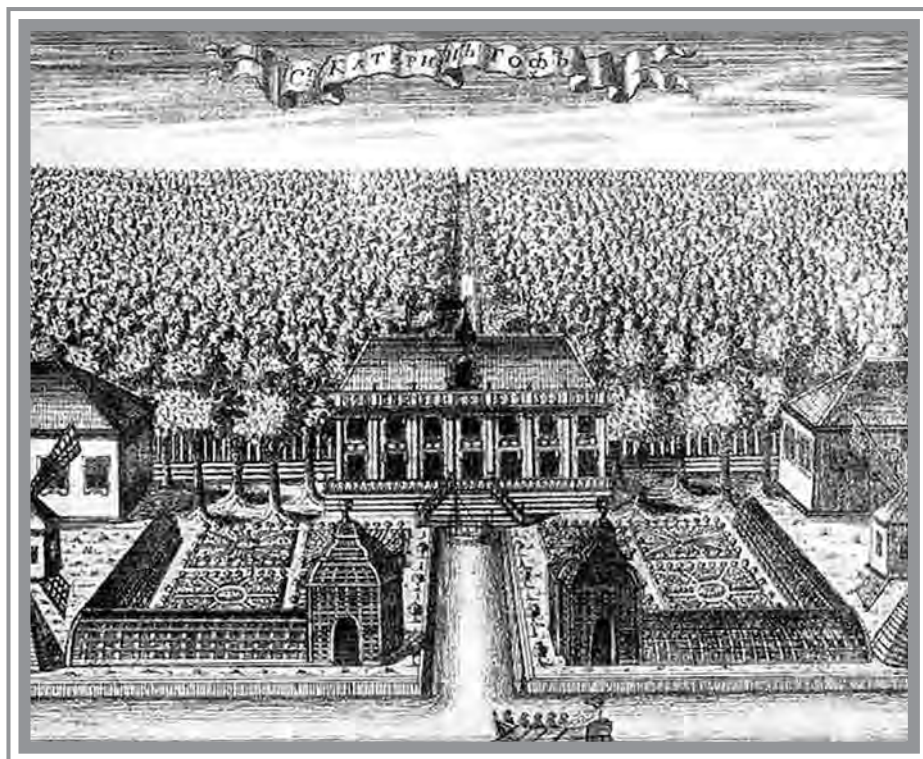
Так что — утрата. Но не полная.

И Свадебные палаты, и Зимний дом наверняка были очень хороши. И среди более поздних шедевров петербургской архитектуры не затерялись бы. Но ведь их не злоумышленники, не равнодушные и нерадивые наследники разрушили — от них отказался сам хозяин. И вовсе не потому, что им владела мания разрушения, как это было со многими власть имущими в XX веке (об этом рассказ впереди). Просто его переставали устраивать старые дома и дворцы: то ли менялись потребности, то ли вкусы, но он хотел построить на прежних местах что-то новое и, как ему казалось, лучшее. Кстати, часто это удавалось.

Так что обвинять хозяев никакого права нам не дано. А сожалеть... Что толку сожалеть?

Зато у двух других дворцов Петра иная судьба. Он любил их и совершенно не собирался перестраивать. Даже из-за одного этого их стоило бы сберечь. Не сберегли...

Я о Екатерингофском и Подзорном дворцах.



Екатерингоф при Петре I. С гравюры А. Ф. Зубова

Екатерингоф — место в петербургской истории примечательное. Сейчас это едва ли не центр города — совсем недалеко от Нарвских ворот. Но в петровские времена — лишь дальние подступы к месту, где только еще должен был начинаться город.

Шестого мая 1703 года матросы новорожденного российского флота под командованием капитана бомбардирской роты Петра Михайлова (если кто не помнит, так частенько называл себя государь) на берегу реки Екатерингофки (тогда она звалась Черной) сидели в засаде, караулили, не появятся ли шведы. И дождались: захватили два шведских военных корабля. Потом таких побед будет множество. Но у этой особая цена. Она — первая морская победа Петра. Так что и награда за нее особая: главный орден российский — святого Андрея Первозванного.

Отступление об ордене Андрея Первозванного и первом его кавалере

Учредил этот орден сам Петр Алексеевич после возвращения из поездки по Европе: очень уж приглянулись ему английские ордена. В России об их существовании даже не ведали. Так что орден Андрея Первозванного не только главный, но и первый. А в петровское время — и единственный. Выглядел он внушительно. Во-первых, знак. На фоне двуглавого орла крест. На нем распят святой Андрей Первозванный (апостол на самом деле был распят не на прямом, как Христос, а на косом кресте). Во-вторых, серебряная восьмилучевая звезда, в ее центре медальон со словами девиза: «За веру и верность». Знак положено было носить на голубой ленте через правое плечо, звезду — на левой стороне груди. Для особо торжественных случаев к ордену полагалась золотая фигурная цепь, покрытая разноцветной эмалью.

Практически одновременно с орденом учредил Петр и военно-морской Андреевский флаг: крест на снежно-белом поле. Вместо бело-синего триколора. Через некоторое время, когда новый флаг уже развевался над российскими кораблями, Петр писал Федору Матвеевичу Апраксину: «...слава, слава, слава Богу за исправление нашего штандарта во образ святого Андрея». Вот строчка из описания, составленного самим императором: «Флаг белый, через который синий крест св. Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

Для него, «западника», было, оказывается, очень важно подчеркнуть: не какой-то миссионер, имя которого давно забыто, а сам святой апостол принес на Русь православию. Можно с большой степенью уверенности предположить, что и в Андреевском флаге, и в ордене Андрея Первозванного пожелал Петр явить миру символы самобытности и независимости России.

Статут ордена в петровские времена разработан еще не был. Петр только начал составлять его проект. Вот что он писал: «...награждение одним за верность и разные Нам и Отечеству оказанные услуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и не воспламеняет человеческого любочестия и славолюбия, как явственные знаки и видимое за добродетель воздаяние».

Видимо, с целью «воспламенить любочестие и славолюбие» преемники Петра (начиная с Павла Петровича) награждали этим орденом (и множеством других, учрежденных уже после смерти Петра) при рождении всех великих князей. Принято считать, что именно это породило обычай перевязывать новорожденных мальчиков голубой лентой — в цвет орденской ленты Андрея Первозванного.

Первым кавалером ордена стал первый российский генерал-фельдмаршал и первый русский по происхождению адмирал граф Головин. Чтобы было понятно, кем он был, приведу надпись на его надгробной плите: «Его Высокорафское Превосходительство Федор Алексеевич Головин римского государства граф, Царского Величества Государя Великий канцлер и посольских дел Верховный Президент, ближний боярин, морского флота адмирал, наместник Сибирский и кавалер чинов: св. Андрея Первозванного, Белого Орла (это старейший польский орден, учрежденный в 1325 году, без малого через пятьсот лет он был причислен к государственным наградам Российской империи. — И. С.) и пр.».

Кроме перечисленного Федор Алексеевич управлял Оружейной палатой, Монетным двором, приказом воинского морского флота, ямским и еще четырема приказами; директорствовал в им же созданной школе математических и навигацких наук; руководил постройкой судов на северных верфях, набором моряков-иноземцев в русский флот и обучением русских новобранцев.

Это формальный послужной список. А вот каким он был, один из самых близких к Петру людей? Датский посол Гейнс так писал о нем своему королю: «Это боярин с большими заслугами. Таким его считают все в этой стране.

Царь ему более всего доверяет». Петр действительно доверял Головину. Недаром, снаряжая Великое посольство в Европу «для поддержания давней дружбы и любви, для общих к всему христианству дел, к ослаблению врагов Креста Господня, салтана турецкого, хана крымского и всех бусурманских орд», назначил его вторым послом (первым был Франц Лефорт) и именно ему поручил руководство отрядом волонтеров из тридцати человек, в числе которых был и он сам, десятник Петр Михайлов. Предстояло им познавать секреты навигацкого дела, а мудрому Головину за ними приглядывать, чтобы не слишком увлекались невиданными иноземными забавами.

Приглядывать за молодым царем Федору Алексеевичу было не в новинку: он ведь один из тех ближних бояр, которым еще в 1676 году перед самой своей кончиной государь Алексей Михайлович поручил хранить царевича Петра как зеницу ока. Девиз рода Головиных — «И советом, и мужеством». Всю жизнь Федор Алексеевич следовал этому девизу: всегда был рядом с Петром, ревностно выполнял все его поручения, подставлял плечо в трудные минуты. Даже явные ошибки императора старался приписать себе. Так было с награждением гетмана Мазепы орденом Андрея Первозванного. Когда стало известно о предательстве Мазепы, злопыхатели посмеивались (конечно, тайком — открыто кто ж решится!): мол, не разбирается в людях русский царь, врагов награждает. Федор Алексеевич каялся: дескать, я уговорил государя наградить предателя, бес меня, старика, попутал. На самом деле решение, разумеется, принимал сам Петр: был человеком увлекающимся, поверил красивым словам изменника о вечной дружбе.

Кстати, почти через сто лет с награждением этим орденом случится схожий казус. В 1807 году после ратификации Тильзитского мирного договора Александр I наградит высшим российским орденом Наполеона. До нападения Бонапарта на Россию оставалось пять лет...

А вот Головину честь стать первым кавалером первого российского ордена досталась по праву. Что бы ни пору-

чал ему Петр — сложнейшие ли дипломатические переговоры (с Китаем, Англией, Голландией, Польшей), хозяйственные ли дела, от которых часто зависела судьба армии, страны и ее государя (снабжение провиантом, оружием, амуницией русских войск под Азовом и Полтавой), военные ли операции (достаточно вспомнить оба Азовских похода) — все выполнял талантливо, с усердием и самоотверженностью.

Признавался, что с молодых ногтей его жизненным кредо стали слова, вычитанные у Цицерона: «Кто всюю душою, с ревностью и искусством исполняет свою должность, тот только способен к делам великим и чрезвычайным». Уже одно это свидетельствует о блестящем образовании адмирала. Читать Цицерона, да еще в подлиннике! Попробуем вообразить, что какой-нибудь сегодняшний чиновник, да даже и полководец, на это способен... Но и тогда на это мало кто был способен, особенно в окружении Петра Алексеевича. Пожалуй, еще генерал-адмирал Апраксин (о нем речь впереди) да Андрей Артамонович Матвеев, один из самых ярких петровских дипломатов. Он, к слову, почитал Головина своим учителем и, не скрывая восхищения, вспоминал, как тот учил его, русского посла в Лондоне и Гааге, «распалять злобу» англичан и голландцев против шведов, врагов Петра. Приемы «распаления» предлагал довольно изощренные и коварные, но ведь на пользу отечеству: России были необходимы союзники в борьбе против Карла XII.

Когда начинаешь рассказывать о людях, когда-то славных, а теперь забытых или полузабытых, всегда хочется поделиться подробностями, прямого отношения к теме книги не имеющими, но достаточно любопытными. Так вот, у Андрея Артамоновича была дочь Мария Андреевна, редкой красоты девица. Выдал он ее замуж за человека знатного и богатого, одного из соратников Петра, Александра Ивановича Румянцева. Но ходили упорные слухи, что любила Мария Андреевна не мужа, а императора. От него, говорили, и сына родила. И назвала в его честь. Так это или нет, вряд ли мы когда-нибудь узнаем,

но вот то, что стал он одним из самых замечательных людей своего времени, сомнению не подлежит. Имя незаконного сына Марии Андреевны — Петр Александрович (отчество, естественно, по официальному отцу) Румянцев-Задунайский, великий русский полководец.

Может быть, это отступление и покажется неуместным, но есть одна деталь, прямо относящаяся к теме книги. После неожиданной (и странной) смерти прославленного фельдмаршала в 1799 году на Марсовом поле (тогда оно еще называлось Царицыным лугом) поставили памятник: стелу с надписью «Румянцева победам». Сейчас ее там нет. Но она не утрачена. Ее перенесли в сквер рядом с Академией художеств. Так что утрачен всего лишь прежний облик Марсова поля. Но печалиться об этом некому: тех, кто привык видеть стелу на прежнем месте, давно нет на земле. А следующим поколениям — думаю, и нам в том числе — важно, что памятный знак стоит и место для него выбрали вполне достойное.

Но вернусь к генерал-фельдмаршалу Головину. Он умер, спеша в очередной раз на помощь к Петру (обязанности, которые он выполнял, пришлось после его смерти распределить между несколькими вельможами, но справиться со всеми делами они не могли). Похоронили Федора Алексеевича в Симоновом монастыре, в фамильной усыпальнице Головиных. Надпись с могильной плиты, которую я цитировала, списали и опубликовали исследователи его жизни и трудов еще в XIX веке. Сейчас ее уже нет. Нет и могилы. Утрата. Еще одна в длинной, длинной череде...

Правда, недавно перед Андреевским собором на Большом проспекте Васильевского острова поставили бюст прославленного адмирала. А в Ивангороде, на том месте, откуда в 1700 году русские войска переправлялись через реку Нарову, открыли и освятили часовню во имя покровителя русского воинства Федора Стратилата. Его и Федор Головин почитал своим небесным покровителем.

Но вернусь в Петербург, в месяц май года 1703-го. После первой морской победы Петр Алексеевич и его сердешный друг Александр Данилович Меншиков получили ордена Андрея Первозванного (Петр был шестым награжденным, Меншиков — седьмым). Вручал награды Федор Головин.

А к месту своей первой морской победы Петр прикипел душой. Вот и решил поставить дворец. Памятный. Строил дворец, предположительно, сам Трезини. А обустройство парка император поручил французскому архитектору Жану Батисту Леблону, выдающемуся мастеру садово-парковой архитектуры, автору невероятно популярной в Европе книги «Теория и практика садоводства». Именно эта книга во время очередной поездки в Европу привлекла внимание российского монарха к Леблону. Писал Меншикову так: «...сие мастер из лучших и прямою диковинкою есть, как я в короткое время мог его рассмотреть. К тому же не ленив, добрый и умный человек». Чего тут больше, справедливой оценки Леблоновых дарований или азарта Петра, способного самозабвенно увлекаться и уверенного в собственной способности видеть людей насквозь? Во всяком случае, Леблону было сделано предложение, от которого невозможно было отказаться: жалование пять тысяч рублей в год (Трезини, сделавший для города неизмеримо больше, получал в пять раз меньше!), казенная квартира, право взять с собой помощников и учеников, должность главного архитектора столицы Российской империи, повеление всем зодчим (среди них великий Трезини, и Растрелли-старший, и Маттарнови!), чтобы «оного Леблона были послушны». Ко всему этому еще и невиданный чин генерал-архитектора. Понятно, что Леблон с семьей и помощниками немедленно выехал в Россию.

Почему Петр поручил именно Леблону заняться парком, понятно. Во-первых, слегка охладел к своему давнему любимцу, первому зодчему Петербурга «архитектонскому начальнику цивилии и милитарии» Доменико Трезини. Во-вторых, владела им мечта построить парк, превосходящий Версальский (а Версаль его поразил). Воплотиться эта мечта должна была в Петергофе. И воплотилась. Но и другие парки должны были стать образцами совершенства. Так кому же, как не Леблону, такие парки строить? Он ведь ученик великого, непревзойденного Андре Ленотра, создателя Версаля!

Место Леблону досталось красивое, но для строительства не самое благоприятное: болотистое, по весне затопляемое. Но много ли мест в Петербурге лучше? К тому же (и Петр, и Леблон это отлично знали) дивный Версальский парк еще при Людовике XIII был таким же заболоченным и неухоженным местом, пригодным разве что для загородной королевской охоты. Среди полей и редких кустарников стоял только маленький охотничий домик. Волей Короля Солнца (Людовика XIV) и гением Лено-тра это невзрачное место стало чудом красоты и величия. А мы чем хуже?

Леблон проложил канал, так что от Петропавловской крепости можно было приплыть прямо к ступеням нового дворца. Чтобы понизить уровень прибывших вод, по обеим сторонам канала выкопали пруды. От Петергофской дороги до входа в парк вырубил просеку, чтобы можно было добираться не только по воде, но и посуху. Дворец и парк император подарил любимой жене, дав всей этой местности имя Екатерингоф (Екатеринин двор). Неподалеку от дворца жены приказал построить маленькие летние дворцы для дочек: Анненгоф и Елизаветгоф.

Екатерингоф стал одной из последних работ Леблона в российской столице. Когда-то, заключая договор с Доменико Трезини, первым иноземным архитектором, Петр написал: «Обещаю также именованному Трецину, чтоб временем не хотел больше служить или если воздух зело жесток здоровью его, вредный, ему вольно ехать куда он похощет». Воздух Петербурга оказался «зело жесток» для Леблона. Он умер, едва дожив до сорока лет. Похоронили с почестями на кладбище рядом с храмом Сампсония Странноприимца. (О судьбе этого кладбища речь пойдет в главе «Расстрелянный Растрелли».)

Екатерингоф императорская семья любила, приезжали туда часто, а уж в начале мая — обязательно. В память о той, первой петровской морской победе. Трудно сказать, помнили ли петербуржцы через сто, двести лет о событии, ставшем когда-то причиной майских праздников в Екатерингофе, но традиция жила: майские гулянья в одном из самых красивых парков Петербурга проходили каждый год. Более того, когда Екатерингоф стал пролетарской окраиной столицы, именно в бывшем императорском парке ор-

ганизовывали революционные рабочие свои маевки, и уже скоро многие стали утверждать, что Екатерингоф тем и славен, что был местом первых маевок...

Судя по дошедшим до нас воспоминаниям, после смерти Петра Екатерина ни разу не приезжала в Екатерингоф. Почему? Может быть, потому что было тяжело: все там напоминало о Петре. А где не напоминало?.. У въезда в Екатерингоф со стороны Петергофа, у моста через речку Таракановку, стоит мраморная колонна. Невысокая, примерно в три человеческих роста. По совершенству пропорций сходная с Александровской колонной Монферрана. Большинство утверждает, что и поставил ее великий француз, тем более что много работал в Екатерингофе по заказу военного генерал-губернатор Петербурга, графа Михаила Андреевича Милорадовича. Но об этом — позднее. Сейчас нас интересует другая легенда о колонне, и, хотя у меня она доверия не вызывает категорически, умолчать о ней не могу.

Так вот, рассказывают (вернее, рассказывали в давно прошедшие времена), будто поставила эту колонну безутешная императрица Екатерина I в память о своем юном возлюбленном Виллиме Монсе, казненном разъяренным ее изменой супругом. Но вряд ли это так. Во-первых, чего бы ей ставить такой памятный знак в месте, куда не собиралась приезжать? Во-вторых, уж очень чувствуется в этой колонне рука Монферрана. Сторонники этой легенды и не возражают: конечно, такую красоту мог сделать только Монферран! Правда, упускают из виду, что родился он через шестьдесят лет после кончины Екатерины...

По той же второй причине едва ли достоверна и легенда, будто это сам Петр поставил памятник своей любимой лошади Лизетте (не буду вдаваться в подробности спора, был ли это жеребец с женским именем или кобыла, так как собственного мнения на этот счет не имею). Но достоверно известно, что, когда лошадь пала, император приказал вызвать таксидермиста и сделать чучело, которое было выставлено в Кунсткамере (сейчас оно хранится в Зоологическом музее). Так что это наверняка не могила. А если памятный знак, то почему в Екатерингофе, а, скажем, не в Полтаве, где Лизетта спасла жизнь хозяина, вынесла его из-под перекрестного огня шведов?



Петр во время Полтавской битвы

Она не слушалась никого, кроме Петра. Когда хозяин долго не заходил в ее денник, вырывалась (совладать с ней не мог никто) и отправлялась его искать. Если уезжал без нее, отказывалась от еды и питья. Если ее седлали, а потом неожиданно поездку отменяли, она «как будучи тем обижена, потупляла вниз голову и казалась печальною до такой степени, что слезы из глаз ее выкатывались». Так что памятник Лизетта заслужила.

Когда читаешь о череде мелких и крупных предательств, которые всю жизнь сопровождали Петра Алексеевича, начинаешь думать, что одна Лизетта любила его неизменно и преданно. И — бескорыстно.

А что касается колонны, то стоит она одиноко, едва заметная с дороги, кусок капители отколот, навершие отломано (говорят, это была скульптура лошади), у подножья на куске железа написано, что это Молвинская колонна, названная так в честь местного сахарозаводчика по фамилии Молво. В общем, маловразумительно и дает простор для самых экзотических толкований. Но одно можно сказать твердо: колонне повезло куда больше, чем **Екатерингофскому дворцу**.

Парк, когда-то бывший императорским (потом первым общедоступным, потом комсомольским), поделила Лифляндская улица.

По одну ее сторону — огромный, ухоженный участок (парк культуры). По другую — не слишком большая, запущенная (в чем, впрочем, есть своя прелесть) часть старого парка, которая, собственно, и интересна тем, кого занимает история города. Недалеко от входа, отнюдь не помпезного — фундамент дворца. Не подлинный. Воссозданный. Наверняка достаточно точно: во-первых, работали археологи, во-вторых, канал, подходивший к ступеням дворца, сохранился, и, если еще «наложить» на то, что видишь сегодня, гравюру Алексея Зубова, изобразившего дворец в годы его процветания, легко себе представить, как было здесь раньше...

Преемники Петра относились к Екатерингофу по-разному: Петр II едва ли даже знал о его существовании, Анна Иоанновна изредка приезжала охотиться. Зато Елизавета Петровна не забыла проведенных здесь счастливых детских лет. Она повелела пристроить к дворцу второй этаж и два боковых флигеля, обставить его роскошной мебелью из разобранного дворца Анны Иоанновны в Летнем саду, обустроить парк, вычистить пруды и канал. Поначалу бывала в Екатерингофе часто, потом он ей наскучил, предпочитала Царское Село. Екатерина II поначалу поддерживала дворец и парк в должном порядке, потом тоже к ним остыла. Павел был к Екатерингофу равнодушен, но в какой-то момент его стало раздражать, что туда в начале мая съезжается множество петербуржцев — празднуют приход весны. И повелел: майские праздники горожанам встречать на Невском проспекте. Народу в Екатерингофском парке заметно поубавилось — от вздорного императора можно было ждать любых сюрпризов. Сюрприз и не замедлил последовать: пытавшийся подражать Петру Павел Петрович решил повторить щедрый жест великого предшественника, подарившего Екатерингоф любимой женщине, и презентовать дворец и парк своей любовнице Анне Петровне Лопухиной (к тому моменту она была уже княгиней Гагариной — император Павел весьма удачно выдал ее замуж за своего тезку князя Павла Гагарина).

Анна Петровна недолго пребывала хозяйкой Екатерингофа. Сразу после смерти отца Александр I, щадя чувства матушки, которой тяжело было видеть женщину, фактически отнявшую у нее мужа, отправил князя Гагарина послом к сардинскому двору. Гагарины

уехали в Италию. Княгиня оттуда уже не вернулась: в 1805 году скончалась от туберкулеза.

Бесхозный Екатерингоф понемногу ветшал...

Ренессанс наступил, когда Александр I назначил военным генерал-губернатором Петербурга Михаила Андреевича Милорадовича. Петра Великого тот боготворил. Все, связанное с основателем города, оберегал тщательно. Приехал в Екатерингоф, посмотрел — и был ошеломлен: как можно довести до такого упадка дом, где бывал великий государь?!

Вообще-то назначение Милорадовича на высокий административный пост многие восприняли с недоумением: человек он увлекающийся, к планомерной рутинной работе не способен, сибарит... Он и в самом деле терпеть не мог долгих заседаний, бумаг, скучных повседневных дел. Но если уж что-то его увлекало, если что-то решал, никто и ничто не могло его остановить. Так было и с Екатерингофом. Он решает возродить петровский дворец.

Привлекает к делу не кого-нибудь, а самого Огюста Монферрана, строившего тогда Исаакиевский собор. Монферрана Петр тоже восхищает. Знает он об основателе города, который уже давно стал для него второй родиной, очень много: прочитал все, что было к тому времени напечатано. Сначала читал по необходимости: должен был как можно больше узнать о человеке, которому посвящен собор. Ведь фактически тот должен был стать памятником Петру, небесным покровителем которого являлся святой Исаакий Далматский. Потом увлекся, старался не пропустить ни одной интересной книги. Это и сблизило Монферрана и Милорадовича: у генерала было, может быть, самое богатое собрание книг о Петре Великом.

Когда будет закончен ремонт дворца, когда Милорадовичу удастся открыть в нем Петровский мемориальный музей, он передаст свое бесценное собрание в его библиотеку. Недаром о расточительности Милорадовича ходили легенды: одни его осуждали, другие им восхищались.

А пока Монферран расширяет границы сада, устраивает цветники, высаживает более тысячи деревьев и — строит. Каталные горки, беседки, павильоны (в их числе — самый великолепный — Льви-

ный), увеселительный воксал в мавританском стиле — огромную ротонду с полосатым золотисто-голубым куполом. Это сооружение никакого отношения к железной дороге не имеет, да и не было еще у нас в то время железных дорог. Воксалом называлось модное увеселительное заведение в Лондоне, где устраивала концерты и давала балы очаровательная хозяйка Джейн Вокс. От ее фамилии и произошло название лондонского заведения и ему подобных в разных городах Европы, в том числе и екатерингофского. Украсили парк и изящные мосты. Особенно хорош был висячий мостик, перекинутый через ведущий к дворцу канал. Это был первый чугунный мост в Петербурге.

На песчаной косе, омываемой Невой, Монферран возвел большое деревянное здание на каменном фундаменте в готическом стиле с решетчатыми фигурными окнами, галереями и высоким бельведером (так называется надстройка над зданием, чаще всего круглая в плане, с которой открывается вид на окрестности, в прямом переводе с итальянского — прекрасный вид). Называлось сооружение почему-то фермой. Летом в нем жил генерал Милорадович.

Но главным, конечно, было восстановление дворца, возвращение его интерьерам (хотя бы некоторым из них) первоначального вида — Милорадович мечтал сделать музей Петра Великого и открыть его не для избранных — для всех.

Первый в России мемориальный музей был открыт 1 мая 1825 года. Обратите, пожалуйста, на эту дату особенное внимание.

Михаил Иванович Пыляев, замечательный знаток русской старины, так описывает этот музей: «...в нижнем этаже сохранили убранство комнат в том самом виде, как было при Петре... перед спальней императора стоял шкаф, в котором хранился его синий кафтан с золотым шитьем по борту и рукавам; этот кафтан Петр носил в сражениях. В спальне стояла старая простая сосновая кровать, по преданию, сколоченная руками императора. Наволочки, как и одеяло, были шелковые, некогда зеленые. С нашивными золотыми орлами. В спальне висела картина фламандской школы с изображением морского вида; напротив кровати находилось старинное зеркало и стоял поставец с китайскими чашками; перед постелью висела икона Владимирской Богоматери.

В столовой стоял штучный банкетный стол, сделанный из ливенницы, доставленной Петру из Архангельска. За этим столом государь любил беседовать с Апраксиным, Шереметевым, Меншиковым... под чехлом деревянная табакерка его работы, пожалованная им поручику Иосифу Ботому. Тут же лежала другая табакерка, подаренная им жене купца Марье Барсуковой, часы, пожалованные вышневолоцкому купцу Сердюкову, подрядчику при постройке Вышневолоцких шлюзов...»

На этом прекращаю цитировать Пыляева. Во-первых, потому что с музеем все более-менее ясно. Во-вторых, потому что ничего не ясно. Как вещи, подаренные Петром Великим (а значит — бесценные), которые потомки тех, кому они были подарены, должны бы хранить, как зеницу ока, оказались в музее? Это в куда более поздние времена работники музеев и коллекционеры ездили по городам и весям, скупали исторические ценности. В первой четверти XIX века такого еще не было. Как же они попали в Екатерингоф? Ответ оказался простым и одновременно удивительным. Все дело в личности создателя музея. Слава генерала Милорадовича была такова, что помочь ему собрать музей были готовы многие. Помогали бескорыстно, с радостью отдавая герою то, чем дорожили, что хранили несколько поколений. Именно так попали в музей и табакерки, сделанные Петром, и часы, подаренные им Сердюкову.

Что же за человек был Милорадович, чем заслужил он любовь и восхищение?

Отступление о военном генерал-губернаторе столицы

Нельзя сказать, что имя Михаила Андреевича Милорадовича вовсе забыто нашими современниками и соотечественниками. Но что знает о нем большинство? Генерал, которого убили на Сенатской площади во время восстания декабристов. И все. Надеюсь, те, кто знает больше, не обидятся на меня за упрек в беспамятстве: я ведь говорю о большинстве. А уж если честно, большинству-то

это имя не говорит вообще ничего. Несколько лет назад я имела случай в этом убедиться и загорелась желанием напомнить об этом замечательном человеке. Мне повезло: нашла поддержку в Министерстве культуры. Так появился фильм «Кого застрелил Каховский?» Телеканал «Культура» показывал его неоднократно, и каждый раз кто-нибудь звонил: надо же! О каких людях мы позволили себе забыть! И я уже загордилась (чуть-чуть!): все-таки помогла вспомнить...



М. А. Милорадович

Ничуть не бывало. Недавно случай свел с группой студентов-медиков. Говорили о ранениях, о том, что редко кому удавалось несколько раз ходить в атаку, обычно в первой же ранили или убивали. И тут я сказала: Милорадович ходил в пятьдесят две (!) атаки и ни разу не был ранен. Мои собеседники растерянно улыбнулись: а кто этот счастливчик? Как его? Милорадович? История древнего сербского рода Милорадовичей — убедительное свидетельство братства наших народов. Еще в начале XVII века сражались они с турками, помогая России.

Петр Великий умел ценить верных друзей — пожаловал Милорадовичам богатые поместья. Отец Михаила Андреевича, Андрей Степанович, достиг положения весьма высокого: стал царским наместником в Малороссии.

Михаилу было семнадцать, когда он принял участие в первом бою. А в двадцать семь он уже генерал-майор. Его называют счастливчиком. Хотя древняя мудрость гласит: «Не называй никого счастливым, пока он жив».

Молодой генерал отправляется в Италию под начало самого Суворова. Ни одно крупное сражение италийских и швейцарских походов не обошлось без Милорадовича. Суворов в донесении Павлу I писал: «Милорадович прилетел на крыльях, одержал победу и по-особенному великодушно уступил оную князю Багратиону как командовавшему авангардом».

Вот это великодушие, благородство рыцаря Суворову, да и многим, кто знал Милорадовича в разные годы, кто сражался с ним рядом, было дороже отваги и воинской удачи. Милорадович, как и Суворов, совершил фантастический марш-бросок через Альпы. Но кто об этом знает? В донесениях он не описывал своих подвигов, лишь кратко сообщал: отразил и победил неприятеля там-то и там-то.

Пройдет время, и накануне сражений Отечественной войны Милорадович, «разъезжая перед войсками, ободрял их примером и речами, напоминая всем и каждому прежние походы с Суворовым, трудные пути Альпийских гор, поощряя через то преодолевать всякое препятствие, забывая всякую нужду, помня только о единой славе и свободе Отечества. Такие увещевания не были напрасны, солдаты с удовольствием внимали им — и темные осенние ночи, влажные студёные туманы, скользкие проселочные дороги, томительный голод и большие переходы не могли остановить рвение войск, кипевших желанием настичь бегущего врага... Среди смерти и ужасов сражения спокойно занимался он обозрением местности, проезжая мимо полков, по обыкновению своему ласково с солдатами разговаривал. Войска кричали ему ура!.. Твердая уверенность вождя в победе мгновенно сообщалась войску, оно кипело мужеством и ожидало только знака к нападению». Это строчки из «Писем русского офицера» Федора Николаевича Глинки. Двести лет назад этой книгой зачитывалась вся просвещенная Россия. В наш рассудочный век она может показаться излишне пафосной и сентиментальной. Тогда же сотни юных сердец зажгла она любовью к Отечеству.

«Письма» — эмоциональная летопись военных походов русской армии 1805–1806 годов, позднее дополненная описанием событий Отечественной войны; живое свидетельство боевого офицера, участника всех главных сражений с Наполеоном, бесстрашного воина и безупречного патриота. Его-то, отважного офицера и незаурядного поэта, заметил и сделал своим адъютантом генерал Милорадович. Мог ли он предположить, что найдет в Глинке блистательного, точного и честного мемуариста?

При Бородине Кутузов доверил Милорадовичу командовать правым крылом русской армии. Глинка вспоминал: «Он разъезжал на поле смерти, как в своем домашнем парке: заставлял лошадь делать лансады (крутые, высокие прыжки верховых лошадей. — И. С.), спокойно набивал себе трубку, еще спокойней раскуривал ее и дружески разговаривал с солдатами: “Стой, ребята, не шевелись! Дерись, где стоишь! В этом сражении трусу нет места!” Твердая уверенность в победе мгновенно сообщалась войску».

К этому нелишним будет добавить, что адъютант всегда — и во время великого сражения тоже — был лишь на полкорпуса коня позади своего генерала. А ведь недаром один из самых неустрашимых и самых скупых на похвалы русских полководцев, Александр Петрович Ермолов, писал к Милорадовичу: «Чтобы быть всегда при Вашем превосходительстве, надобно иметь запасную жизнь».

Еще раз дам слово Федору Глинке: «Не знаю, почему большая часть подвигов этого генерала не обозначена в “Ведомостях”, но он, как я заметил, нисколько этим не огорчается. Это значит, что он не герой “Ведомостей”, а герой истории и потомства... Этот генерал, принявший по просьбе Светлейшего (князя М. И. Кутузова. — И. С.) начальство над арьергардом после страшного Бородинского сражения (оно состоялось 26 августа. — И. С.), дрался с превосходящим неприятелем с 29 августа по 23 сентября, то есть 26 дней непрерывно. Некоторые из этих дней ознаменованы большими сражениями, по 10 и более часов продолжавшимися. Известно ли все это у вас?»

У нас, к стыду нашему, не известно...

Когда было принято решение сдать Москву, именно Милорадовичу удалось заключить перемирие с французами и дать русской армии время, чтобы вывезти из города раненых и государственные ценности. Возможно, только благодаря этому перемирию удалось спасти и бесценное сокровище — рукопись «Истории государства Российского». Николай Михайлович Карамзин покинул Москву одним из последних. Унес только одно — рукопись.

Но вот французы уходят из горящей Москвы. Арьергард, которым командует Милорадович, волею судьбы становится авангардом и бросается преследовать противника к Вязьме. «Генерал Милорадович повел всю кавалерию в объятый пламенем и неприятелем еще наполненный город... кругом горели и с сильным треском распадались дома, бомбы и гранаты, до которых достигало пламя, с громом разряжались, неприятель стрелял из развалин и садов, пули свистели по улицам...»

Со временем благородное дворянство и граждане Вязьмы, конечно, почувствуют цену этого великого подвига и воздадут должную благодарность освободителю их города. Пусть поставят они на том месте, где было сражение, хоть не многоценный, но только могущий противиться времени памятник, и украсят его, по примеру древних, простой, но все объясняющей надписью: «...генералу от инфантерии Милорадовичу за то, что он с тридцатью тысячами россиян, разбив пятидесятитысячное войско неприятельское, исторгнув из рук его горящий город их, потушил пожары и возвратил его обрадованному Отечеству и утешенным гражданам в достопамятный день 23 октября 1812 года». Боже, какими же наивными идеалистами были они, будущие декабристы!..

В сражении за Вязьму французы потеряли десять тысяч солдат и офицеров, еще пять тысяч попали в плен. Казалось бы, Милорадовича должны ненавидеть. Но... после еще более кровопролитной битвы под Красным (убитых — двадцать тысяч, пленных — почти два-

дцать три тысячи) оставшиеся шестьсот человек, укрепившиеся в окрестных лесах, прислали переговорщика сказать, что сдадутся они одному Милорадовичу, иначе готовы биться до последнего. Французы называли Милорадовича русским Баярдом (легендарный рыцарь без страха и упрека. — И. С.), пленные кричали ему: «Да здравствует храбрый генерал Милорадович!»

Глинка вспоминал: «Его и сами неприятели любят за то, что он, сострадая об них по-человечеству, дает последний свой запас и деньги пленным, велит перевязывать им раны, организует лазареты».

Точно так же он будет отдавать все свои деньги пострадавшим от наводнения 1824 года, носиться на двенадцативесельном катере по Петербургу, спасая тонущих. Дом свой превратит в приют для несчастных, лишившихся крова, и будет кормить, лечить, одевать — полностью содержать без малого триста спасенных. Кроме того, каждый день к нему будет приходить за помощью не менее пятисот человек, и никто не уйдет разочарованным.

Похоже, все-таки не зря назначил Александр I боевого генерала на должность, большие подходившую опытному администратору. Правда, случалось ему и раскаиваться в этом назначении: больно уж непредсказуем бывал порой граф Милорадович. Так, явился на аудиенцию и торжественно вручил государю записку под заглавием «Нечто о крепостном состоянии». Рассказал, что крепостное право неотступно мучает его совесть, что поручил блистательному молодому экономисту Николаю Тургеневу составить эту записку в надежде, что сумеет убедить государя. Странная, не правда ли, пара: генерал-губернатор имперской столицы, в подчинении у которого войска и полиция, и один из будущих бунтовщиков, которого через несколько лет приговорят к смерти (к счастью — заочно). Оба верят... Но Александр уже не тот, что в первую половину царствования. Тогда он искренне хотел освободить всех своих подданных. Теперь же... То ли устал, то ли понял: слишком сильны те, кто не допустит реформ. Правда, даже после этой эскапады Алек-

сандр, которого считали чрезмерно подозрительным, не отказал в доверии генералу Милорадовичу.

А как-то Михаил Андреевич позволил себе нечто такое, что император вряд ли простил бы кому бы то ни было другому. Федор Николаевич Глинка вспоминал, как однажды (дело было 15 апреля 1820 года) встретил взволнованного Пушкина (они приятельствовали), который рассказал, что слух о его вольнолюбивых стихах дошел до правительства и теперь его требуют на расправу к Милорадовичу. Пушкин просил совета, как ему вести себя с всесильным генерал-губернатором. Глинка ответил: «Идите к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Он не поэт, но в душе и рыцарских выходках его у него много романтизма и поэзии: его не понимают! Идите и положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности».

Здесь нелишним будет сказать, что генерал-губернатор отлично знал, какую судьбу готовят поэту. Он должен был только начать — арестовать Пушкина и забрать все его бумаги. Дальше действовать предстояло ведомству Аракчеева: сопроводить арестованного в сибирскую ссылку. Не Милорадович и даже не Аракчеев определили эту судьбу — сам император.

А вот рассказ Милорадовича о визите Пушкина и о том, что за этим последовало. «Знаешь, душа моя (это его поговорка), у меня сейчас был Пушкин. Мне ведь велено взять его и все его бумаги, но я счел более деликатным (это тоже его любимое выражение) пригласить его к себе и уж у него самого вытребовать бумаги. Вот он явился, очень спокоен, со светлым лицом. И когда я спросил его о бумагах... “Прикажите подать бумаги, я напишу все, что когда-нибудь написано мною (разумеется, кроме печатного), с отметкою, что мое и что разошлось под моим именем...”

А знаешь ли, Пушкин пленил меня своим благородным тоном и манерою (это тоже его словцо) обхождения».

На следующий день поутру Милорадович был у императора, подал ему исписанную Пушкиным тетрадь: «Здесь

все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать!» «Государь улыбнулся на мою заботливость. Потом я рассказал, как было дело. Государь спросил: “А что ж ты сделал с автором?” — “Я объявил ему от Вашего величества прощение!” Тут мне показалось, что государь слегка нахмурился. Помолчав немного, он с живостью сказал: “Не рано ли?” Потом прибавил: “Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с... соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг”».

Думается, Александр был ошеломлен: дерзость небывалая! Действовать от его имени вопреки его воле! Но он был еще и восхищен: какая смелость! Какое равнодушие к карьере! Ведь знал Милорадович: за несравненно меньшие проступки многие лишались монаршей благосклонности, а значит, и высоких чинов, и всего, что с ними в России связано.

После этого было много разного. И, хотя недоброжелатели, а точнее — завистники, упрекали генерала в сибаритстве и расточительности, он много сделал, чтобы придать Петербургу лоск, достойный столицы великой державы, притом — державы-победительницы.

Первого мая 1824 года праздник, устроенный генерал-губернатором по поводу открытия Екатерингофского парка и дворца-музея, был великолепен: музыка, танцы, фейерверки. А он уже рассказывал, какие новые развлечения ждут петербургскую публику на таком же празднике через год. Замыслы были грандиозны...

Но... 19 ноября в Таганроге умирает Александр I, через восемь дней об этом становится известно в столице. Правда, наследник цесаревич Константин Павлович в это время находится в Варшаве. Ничего, долго ли скакать до Петербурга! И тогда... Еще во время суворовских походов познакомился Милорадович с Константином Павловичем. Того считали (и не без оснований) человеком вздорным, но был он отчаянно смел, за чужую спину

в бою не прятался. Это и сблизило наследника престола с отважным молодым генералом.

Отвращение цесаревича к государственным занятиям было в то время общеизвестно. У Милорадовича имелись основания надеяться, что заниматься этими делами тот охотно доверит ему, боевому товарищу. А уж он-то сумеет убедить отменить, наконец, рабство — этот позор России!

Но... великий князь Николай Павлович сообщает военному генерал-губернатору столицы, что еще четыре года назад цесаревич Константин отрекся от права на престол и наследником (тайно!) был назначен он, Николай. «Вы сами изволите знать, как вас не любят», — заявляет в ответ Милорадович и, ссылаясь на закон, буквально вынуждает Николая присягнуть Константину. За ним присягает и гвардия.

Милорадович — идеалист. Для него присяга — дело святое. Константин отказывается от трона? Значит — переприсяга? Он надеется: гвардейские полки откажутся от такого позора. Это заставит Константина принять корону. А он, Милорадович, станет арбитром между новым государем и заговорщиками.

Не удивляйтесь, о существовании тайных обществ он знал. Да-да, тот, у кого в подчинении была вся полиция, кто мог в несколько минут арестовать всех (или почти всех) участников заговора, знал. А кое-кто считает, что до определенного момента Милорадович и руководил действиями заговорщиков. Это — захватывающая интрига. Но рассказ о ней, как сейчас принято говорить, не соответствует формату этой книги. Надеюсь, к этой теме мне еще удастся вернуться.

А тогда... На Сенатскую площадь вышли не все, и не всё пошло так, как было задумано. Когда Милорадович понимает, что еще немного — и русские солдаты начнут стрелять в русских солдат, он скачет на площадь. Его отговаривают, пугают... Он не может допустить, чтобы пролилась кровь солдат. Его солдат. Он въезжает

в каре: «Солдаты! Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценем, Бауценем?» Каре молчит. «Никто? Слава Богу! Значит, здесь нет ни одного русского солдата! Ни одного русского офицера!» На лицах смятение... Еще немного — и солдаты дрогнут, вернутся в казармы.

И тут раздается выстрел. Смертельно раненого генерала несут в Конногвардейские казармы. Шпага волочится по земле. Та самая шпага, на которой выгравирована надпись: «Спасителю Бухареста». Ее вручили генералу благодарные жители румынской столицы за то, что он в 1806 году с пятью тысячами русских иттыков разгромил восьмидесятитысячное (!) турецкое войско и освободил город.

Историки Отечественной войны подсчитали: Милорадович участвовал почти в двухстах сражениях. «Пули сшибали султан со шляпы Милорадовича, ранили и били под ним лошадей, он не смущался, переменял лошадь, закуривал трубку, повторял: “Еще не отлита моя пуля!”».

И вот он умирает. На руках своего верного адъютанта Федора Глинки. От русской пули. От пули человека, вместе с которым защищал Отечество (Каховский был на Бородинском поле, правда, в запасном полку, так что в сражении не участвовал, зато в заграничных походах показал себя человеком смелым).

Его похоронили в Александро-Невской лавре, но не в Благовещенской церкви, где лежит Суворов, а неподалеку, в Духовской. Эта церковь во имя сошествия Святого Духа была создана в старинном здании Духовского корпуса лавры, построенном еще при жизни Петра по плану Трезини, незадолго до гибели Милорадовича по инициативе митрополита Санкт-Петербургского Михаила (Десницкого), одного из самых знаменитых проповедников в истории русской церкви. Его проповеди собирали так много верующих, что их не вмещали существовавшие храмы, вот и было решено перестроить и расширить церковные здания — открыть новую церковь. Митрополит Михаил до открытия церкви не дожил, но был похоронен перед самым ее алтарем. Похоронен первым. В 1821 году.

А шестьдесят лет спустя в этой церкви отпевали Федора Михайловича Достоевского...

В начале 1932 года, когда началась вторая волна борьбы советской власти с религией, Духовская церковь была обречена, но историки, которые еще сохраняли право голоса, сумели отстоять несколько могил. Из Духовской в Благовещенскую церковь перенесли около двадцати захоронений, в том числе прах и надгробье генерала Милорадовича. Так он снова оказался рядом со своим учителем и кумиром Александром Васильевичем Суворовым.

Какие странные скрещенья дарует жизнь...

В своей книге «Сон юности» дочь Николая I, великая княгиня Ольга Николаевна, королева Вюртембергская, вспоминала: «Кабинет Папа — светлое приветливое помещение с четырьмя окнами, два с видом на площадь, два — во двор. В нем стояли три стола, один — для работы с министрами, другой — для собственных работ и третий, который был покрыт планами и моделями, служил для военных целей. Низкие шкафы стояли вдоль стен, в них хранились документы семейного архива, мемуары, секретные бумаги. Под стеклянным колпаком лежали каска и шпага генерала Милорадовича, убитого во время бунта декабристов 14 декабря».

Верится с трудом. Но зачем Ольге Николаевне выдумывать? Знала об истинной роли генерала в событиях того рокового дня? Хотела, чтобы читатели «Сна юности» не усомнились в благородстве ее отца? Вряд ли. Ей ведь было в день восстания всего три года... Значит, Николай Павлович действительно хранил каску и шпагу погибшего генерала (по существу — врага)? Загадка...

А праздник 1 мая в 1826 году состоялся. Но уже без того, чьей волей Екатерингоф был возрожден.

При Николае I Екатерингоф весьма популярен: парк оставался некоторое время таким благоустроенным и красивым, каким стал

попечением генерала Милорадовича. Царское семейство посещало и парк, и дворец-музей. За ним тянулась и «чистая» публика. Устраивали пикники, игры. Вели себя вполне пристойно — не мусорили, костров не разводили. Но однажды все-таки случился пожар. Так и не выяснили, случайным он был или злонамеренным. Парк ведь был общедоступен... Оставлять в плохо защищенном музее исторические реликвии посчитали после этого невозможным. Все, что имело ценность, прежде всего мемориальную, передали Императорскому Эрмитажу. А дворец и парк постепенно приходили в запустение. Недаром ведь сказано: живи в доме — и не рухнет дом...

После революции 1917 года Екатерингофский дворец и парк передали молодежным организациям. В 1923 году вспыхнул первый пожар, в 1925-м — второй, в 1926-м — третий. После него вялые разговоры о ремонте, которые велись еще со времен первого пожара, потеряли смысл: отремонтировать стало уже нечего...

Практически одновременно (всего через три года) была уничтожена и **Екатерингофская церковь во имя святой великомученицы Екатерины**. Она (поначалу деревянная) была первой постройкой, которой Петр ознаменовал свою победу. Она стояла уже к осени 1707-го и, если верить преданию, именно в ней государь тайно обвенчался 20 ноября со своим другом сердешным Катеринушкой. И только в 1711 году рядом с церковью вырос дворец, о котором я рассказывала, — подарок к официальной торжественной свадьбе, которая состоялась 19 февраля (все даты — по старому стилю) 1712 года.

Почему Петр решил посвятить храм именно святой Екатерине? На первый взгляд очевидно: она — небесная покровительница его любимой жены. Но дело не только в этом... Считается, у нее есть особый дар, у Екатерины... В начале IV века правил в Риме император Максимиан. Был он, как положено, язычником и частенько устраивал празднества с жертвоприношениями идолам. И вот однажды на праздник явилась девушка невиданной красоты и принялась обличать заблуждения язычников. Оказалось, это дочь правителя Александрии Конста — Доротея. Она была не только красива, но и необычайно умна. От женихов, понятно, отбоя не было. Но она объявила родителям, что выйдет замуж только за

того, кто превзойдет ее знатностью, богатством, красотой и мудростью. Матушка Доротеи, тайно исповедовавшая христианство, отвела дочь к мудрому старцу. После разговора с ним девушка приняла крещение с именем Екатерина (всегда чистая). И было ей видение: Христос надел на ее палец обручальное кольцо — знак того, что она — невеста Небесного Жениха.

На языческий праздник она явилась, чтобы проповедовать Его учение. В споре победила пятьдесят философов, которые после ее речей уверовали во Христа, за что по велению императора были тут же сожжены. Обратила к Христу императрицу Августу, и та была жестоко казнена разгневанным супругом. Мучениками за Христа стали и двести воинов во главе с военачальником Порфирием — их убедила Екатерина. Максимин хотел колесовать проповедницу, но ангел сокрушил орудие казни. Тогда император приказал обезглавить девушку... Предание гласит: ангелы перенесли останки мученицы на Синай. Обретенны они были в VI веке.

С тех пор мощи святой хранятся в Синайском монастыре в Египте, одной из древнейших христианских обителей мира. Паломникам после поклонения мощам дается серебряное кольцо, которое помогает укреплению брака. Вот, похоже, чего ждал от Екатерины всемогущий российский император...

Первая Екатерингофская церковь простояла десять лет, а потом была разобрана. Престол, перед которым Петр венчался с Екатериной, перевезли в Стрельну в построенную там рядом с дворцом деревянную церковь. Но Екатерингоф без храма не остался. В 1721 году неподалеку от дворца, на мызе Кальюла, построили каменное здание шпалерной фабрики, которой надлежало производить ковры для императорского двора. Мыза стала называться по-русски Калинкиной деревней (имя сохранилось и по сей день). Вот в здании Калинкиной фабрики и освятили новую церковь во имя святой Екатерины.

Уже в годы правления Екатерины II в помещении фабрики была организована больница для лечения «секретных болезней», а рядом с нею построена отдельная церковь — деревянная.

Николай Павлович решил строить каменный храм. Чтобы на века. И построили. По проекту входившего тогда в моду Констан-

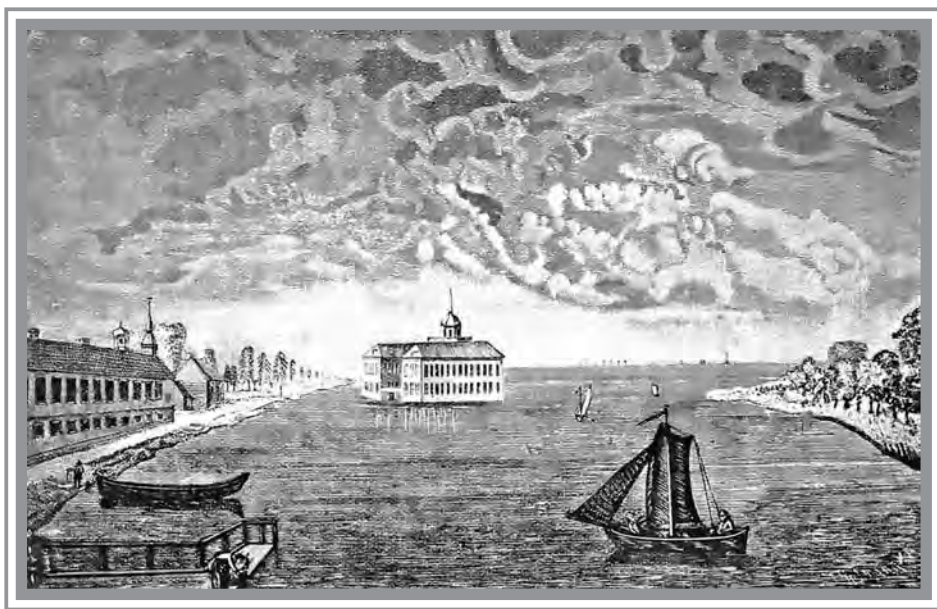
тина Андреевича Тона. Это была одна из первых в стране церквей в «русско-византийском» стиле, каких плодovitый Тон еще создаст великое множество. Прошло сорок лет, и к церкви пристроили высокую стройную колокольню. Многие иконы и утварь сохранялись в этой церкви еще со времен Петра. Но это, разумеется, разрушителей не остановило.

На месте взорванного храма построили кинотеатр «Москва» — первый кинотеатр с тремя зрительными залами. Правда, сейчас ни один не работает. Кинотеатр, возведенный на месте храма, уже несколько лет заброшен... Недавно его продали в частные руки. Так что можно ждать сюрпризов. Вдруг да решит новый хозяин восстановить церковь? Только это навряд ли. Скорее всего, ждет нас очередной торгово-развлекательный центр или ресторан. Дальше игра воображения современного человека, твердо стоящего на земле, едва ли унесет.

И еще одна утрата. Неподалеку от Екатерингофского стоял когда-то необыкновенный дворец. Занимал он всю территорию маленького островка между устьями Невы, Фонтанки и истоком Екатерингофки. Открываешь дверь — и ступеньки парадной лестницы ведут прямо в воду залива. Академик Грабарь назвал этот дворец «одним из самых милых и самых любезных памятников Петровской эпохи в Петербурге». И сердцу Петра дворец был мил и любезен. Только там мог он побыть наедине с собой, неотрывно смотреть на море, не заботясь, что кто-то окликнет, будет о чем-то просить, уговаривать, давать ненужные советы. Просто смотреть на море... Мне кажется, что-то очень важное угадал в его характере, вернее, в его душе Мережковский. Вот что он писал в романе «Петр и Алексей».

«Его стихии — огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них: воду — как рыба, огонь — как Саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь. Говорит, что приучает подданных к огню сражений. Но это только предлог: он просто любит огонь. Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели моря, он затосковал о нем еще ребенком в душевных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А достиг до моря, то уже не расставался с ним. Большую

часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда стоит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом... в огромных садах ему душно; устроил себе мыльню в Монплеzure, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива; окна спальни прямо на море. В Петербурге Подзорный дворец построен весь в воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в Летнем саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Однажды зимою, когда Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше сотни шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной гичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство, шагов сто в длину, тридцать в ширину, каждый день сметать с него снег и катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. “Мы, — говорит, — плаваем по льду, чтобы и зимою не забыть морских экзерциций”. Даже в Москве, на Святках, катался раз по улице на огромных снях, подобии настоящих кораблей с парусами. Любит



Подзорный дворец

пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицею. И как радуется их радости! Точно сам он водяная птица».

Подзорный дворец. Для того он его и построил, чтобы, достигнув моря, уже никогда с ним не расставаться. Так бы стоял и стоял с подзорной трубой на башне или у балюстрады, смотрел бы вдаль — ждал, когда появится незнакомый корабль. Сначала — черной точкой на сверкающей, мерно, тяжело дышащей поверхности моря, потом — детской игрушкой, потом — увеличится, очертания прояснятся, и он-то уж сразу узнает, то ли это могучий галеас, то ли неторопливая галера, то ли величественный фрегат, то ли шустрый купеческий галиот. Еще немного — и можно будет разглядеть флаг... Он рад любому, кто с миром спешит в его город...

Строили дворец долго, почти пять лет. Специально пригласил Стефана ван Эвитена — хотел, чтобы построили ему дворец не как-нибудь, а «на голландский манер». Приказал твердо: «Палаты по чертежу и по указанию Степана Фонсвитена делать». Меня всегда удивляет, к чему он всегда так искажал иноземные фамилии? Не мог выговорить правильно? Ерунда. Еще как мог. Если хотел... Может, втайне надеялся: если звать человека «на русский манер», он и сам себя русским почувствует, и останется, и окажется полезен здесь, на этой не самой приветливой земле...

Остров, на котором стоял дворец, когда-то, до Петра, назывался Овечьим, точнее — Овчим, потом Подзорным, а уж потом, с 1848 года, когда отдали его под поселение петербургским лоцманам, стал Лоцманским. Но до этого, после смерти хозяина, успел Петровский дворец побывать и адмиралтейским складом, и тюрьмой. С одним из его узников случилась пренеприятная история.

Отступление о том, как слово иногда убивает

Звали этого злосчастного узника Степаном Федоровичем Апраксиным. Был он племянником прославленного сподвижника Петра, генерал-адмирала графа Федора Матвеевича Апраксина. До звания генерал-фельдмаршала дослужился сам, не по родству. Мальчишкой (при

Петре II) поступил рядовым в Преображенский полк, при Анне Иоанновне — уже секунд-майор. Получил назначение в армию фельдмаршала Миниха, отличился при Очакове, потом — в кровопролитном Ставучанском сражении и при взятии Хотина. Получил поручение доставить государыне весть об этой победе. Таких вестников владыки с давних времен щедро награждали. Не стала исключением и царица Анна — произвела Апраксина в генерал-майоры. И Елизавета Петровна ему благоволила — назначала на высокие посты в армии, награждала. Неудивительно — был он умен, трудолюбив, решителен, честен, императрице искренне предан.

Когда началась Семилетняя война (напомню: Фридрих II напал первым, на стороне Пруссии воевали Англия и Португалия, союзниками России были Франция, Австрия, Саксония, Италия и Швеция), Елизавета назначила Апраксина командующим русской армией. Многие его коллеги были возмущены: мол, не по заслугам честь. Объясняли это назначение тем, что в друзьях у Степана Федоровича были самые влиятельные вельможи: братья Шуваловы, канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и сам Алексей Григорьевич Разумовский, тайный супруг государыни — хотя едва ли даже в самых глухих уголках империи нашелся бы мало-мальски грамотный человек, который тайны этой не знал.

Собирали Апраксина на войну основательно. Следовал за ним огромный обоз со всякими необходимыми вещами, в том числе с подарками заботливой императрицы: с соболями мехом, чтобы от холода в шатре укрываться; со столовым серебряным сервизом весом в восемьдесят пудов, чтобы не отказывал себе в привычном комфорте (славился Степан Федорович своими пышными обедами, гостеприимством, хлебосольством). На всякий случай захватил с собой командующий и двенадцать новых, ненадеванных кафтанов. Как же без этого?

Но шутки шутками, а положение у Апраксина было незавидное: предписано ему было ничего не предпринимать без указания «Высшей военной конференции». Входи-

ли в нее как его друзья, так и недруги, посему указания получал он весьма противоречивые. Тем не менее сумел взять Мемель и одержать очень трудную победу под Гросс-Егерсдорфом. Командующий докладывал Елизавете Петровне: «Я дерзаю с этой Богом дарованною победоносному нашему оружию милостию Ваше Императорское Величество со всеглубочайшим к стопам повержением всеподданнейше поздравить, всеусердно желая, да всемогущий благоволит и впредь оружие Ваше в целости сохранить и равными победами благословить для приращения неуывдаемой славы Вашего Величества и устрашения всех зломыслящих врагов».

Победа под Гросс-Егерсдорфом открыла русским войскам путь на Кенигсберг. Императрица ждала обещанных «равных побед». И вдруг... Апраксин отступает к Тильзиту. Необъяснимо! Причина может быть одна — измена. На самом деле он выполняет тайный приказ государственного канцлера. Значит, изменник Бестужев? Конечно же, нет. Он многолетний и непримиримый враг Фридриха.

Высказывались и продолжают высказываться предположения, будто, отдавая приказ отступить, Бестужев пытался угодить наследнику, великому князю Петру Федоровичу. Тот Фридриха боготворил и его врагов считал своими врагами. Думаю, эти предположения абсолютно беспочвенны. Бестужев был человеком умным и отлично понимал, что приход наследника к власти означает для него неизбежный конец карьеры, а вполне вероятно, и жизни: став императором, тот никогда не простит канцлеру его упорную антипрусскую политику. Другое дело — великая княгиня Екатерина Алексеевна...

Вот здесь начинается одна из тех придворных интриг, которые способны изменить судьбу державы. Бестужев, который поначалу относился к жене наследника настороженно и крайне усложнял ее и без того нелегкую жизнь при дворе, понимает: в случае смерти Елизаветы его единственный шанс на спасение — Екатерина на троне. И для нее поддержка всемогущего канцлера — неожиданный и счастливый подарок судьбы. Они без труда нахо-

дят общий язык. И тут канцлера и его друга Апраксина арестовывают по обвинению в государственной измене. Обвинение абсурдно: вся их жизнь, все дела доказывают их невиновность. Но у обоих много врагов и завистников, а Елизавета мнительна...

Почему же Бестужев отдал такой странный приказ об отступлении? Думаю, причина в том, что канцлер, напуганный участившимися припадками императрицы (есть основания предполагать, что она страдала эпилепсией) и опасавшийся ее неожиданной кончины, был обеспокоен будущим России. Основания имел для этого более чем серьезные: наследник престола — друг и преданный поклонник врага. После воцарения Петра III эти опасения подтвердятся: новый император откажется от всех завоеваний русской армии, вернет Фридриху все земли. Бестужев, предвидя уступки будущего монарха своему кумиру, хотел иметь армию Апраксина поближе к границам России. Но как объяснить это Елизавете? Придется признаться, что боишься ее смерти. А это, при ее мнительности, хуже любого предательства.

И тут случается то, что могло изменить судьбу России: подозрения падают на Екатерину. Еще бы — немка! Уж не она ли склонила канцлера и фельдмаршала к измене?! О приказе, касающемся «загадочного отступления», она даже не подозревает. Но есть такое, за что можно поплатиться головой: «проект о престолонаследии». В нем прямо сказано: после смерти Елизаветы Петровны наследует ей внук Павел Петрович, регентшей при малолетнем наследнике, а значит — реальной властительницей империи становится Екатерина Алексеевна. Ну а ею... ею будет управлять мудрейший Алексей Петрович.

Они писали это вдвоем, канцлер и великая княгиня. Если найдут... Им обоим пришлось преодолеть множество преград, проявить чудеса изобретательности, чтобы он сумел ее известить: «все сожжено». Екатерине оставалось убедить Елизавету Петровну в собственной невиновности. Это было непросто. Но недаром ее станут

называть Великой. Она сумела вернуть доверие подозрительной императрицы.

Бестужева пытали, надеялись заставить оговорить великую княгиню (врагов у нее было предостаточно), но он ни слова, способного повредить Екатерине, не сказал. В итоге был сослан и лишен всех званий и состояния. В ссылке ему пришлось нелегко. Но сразу после восшествия на престол Екатерина II прикажет с почестями доставить своего спасителя ко двору и вернет ему все потерянное. Не получит он только одного, о чем мечтал, главного — права управлять новой императрицей. Об этом я еще расскажу в главе «Куда ни бросишь взгляд...».



Екатерина II

Апраксину, наверное, она тоже вернула бы все отобранное. Не пришлось — не дожил. Три года провел он в заключении, сначала в одном бывшем царском дворце, потом в другом — в Подзорном. Его упорно допрашивали, но признаваться фельдмаршалу было не в чем, а оговаривать старого друга, бывшего канцлера, было не в его правилах. Зато нашлось, наконец, время подумать о прошлом. В нем, вроде бы безупречном, был один постыдный поступок: из-за Апраксина пострадал ни в чем не повинный человек, царский лекарь, граф Иоганн Герман Лесток. Его, как теперь Апраксина, оговорили, обвинили в измене. И тогда тоже затеял все Бестужев. Апраксин же его поддержал. По дружбе. Сам-то он против лейб-медика Елизаветы Петровны ничего не имел, к тому же знал, как она ему доверяет: Лесток немало способствовал ее возведению на трон. Но слишком много власти забрал лекарь, уже и в дипломатические дела стал вмешиваться. Бестужев этого не терпел. Вот и замыслил одну из своих интриг. Елизавета оговору поверила. Вчерашнего ее любимца бросили в Петропавловскую крепость. Через пять лет смилостивились — выслали в Устюг. Екатерина, придя к власти, вернула старого, больного Лестока в Петербург. Но имущество его было разграблено... Это второй грех фельдмаршала Апраксина: мало того, что помог оговорить графа, так еще и не отказался принять его дом со всеми драгоценными вещами. Будто плату за оговор...

И вот однажды, возвращаясь из Петергофа в Петербург, Елизавета Петровна заметила на крыльце Подзорного дворца фигуру Апраксина, похудевшего, потерявшего прежний лоск. Спросила бывшего с ней презуса (председателя военного суда. — И. С.), как движется следствие. Тот развел руками: ни в чем не признается фельдмаршал, не знают, что и делать. Елизавета милостиво распорядилась: «Ну, так остается последнее средство: прекратить следствие и оправдать невиновного».

Судейские немедля отправились в Подзорный дворец, а по дороге договорились: как только презус скажет: «При-

ступим к последнему», так сразу и объявить заключенному монаршую милость. И вот: «Что ж, господа, приступим к последнему...» Договорить он не успел — старик внезапно упал и тут же умер. Видно, решил, что собираются приступить к пыткам...

Елизавету Петровну эта история огорчила чрезвычайно. Зла она на Апраксина не держала. А о смерти не то что подробных рассказов, даже упоминаний не терпела. Так что после этого случая в батюшкин дворец — ни ногой. Использовали его как своего рода метеостанцию: стояла перед дворцом «батарея для пушечной пальбы, коею возвещается городу приближающаяся вода при западном ветре».

А в 1803 году «дом противу Екатерингофу на острове» разобрали. Моря никто из преемников Петра особенно не любил.

РАСТРЕЛЯННЫЙ РАСТРЕЛЛИ



Недавно в Интернете прочитала: «Кого вы считаете самым гениальным из архитекторов?» Ну не нелепость ли?! Все равно, что задать ребенку вопрос: кто лучше, папа или мама? В самом деле: Трезини — гений, Росси — гений, Кваренги — гений... А Захаров, а Стасов, а Ринальди, а Монферран?!

Но между тем, пока размышляла о некорректности вопроса, для самой себя на него ответила. Сразу, не задумываясь, не сравнивая, не взвешивая заслуг: Растрелли! Для меня — Растрелли. Не буду даже пытаться отстаивать свое мнение. Конечно же, оно субъективно. Но любовь всегда субъективна...

К счастью, сохранилось многое, что дает возможность убедиться в его непостижимом, в его несравненном даровании: Смольный собор, Зимний дворец, дворцы Строгановых и Воронцовых, загородные императорские резиденции в Петергофе и Царском Селе.

Кажется, ему (нам!) повезло: время пощадило созданное гением. Но это только кажется.

Его шедевры горели, были не раз перестроены по прихоти хозяев, очень богатых, но порой весьма скромно одаренных чувством прекрасного. Интерьеры переделывали в соответствии с менявшейся модой. То, что было построено из дерева, сокрушило беспощадное время. Многие, очень многие уничтожили фашистские бомбы и снаряды, разрушили и разграбили захватчики.

Название этой главы не мною придумано. Так называли руины растреллиевских дворцов те, кто увидел Петергоф и Царское Село после изгнания фашистов. Царскосельский и Петергофский дворцы воссоздали наши современники. Бережно, с предельно возможной точностью и мастерством, но... это уже не те дворцы, к которым прикасалась рука гения. Сотни людей отдали многие годы, целые жизни возрождению творений Растрелли. Работа этих людей — подвиг. А они почитали за великую честь быть причастными к воплощению его замыслов.

Что же касается утраченного навсегда... Начну с того, что можно назвать «запланированными» утратами. Зимний дворец Анны Иоанновны был изначально обречен, потому что, несмотря на солидный размер, был по существу пристройкой к дому Апраксина, состоял из частей, «пригнанных» друг к другу, не имел единого плана, не был приспособлен к приему одновременно нескольких сотен гостей, а значит, мог устраивать разве что Анну, обожавшую роскошь, но ни особым вкусом, ни воображением «не страдавшую». Выполнять функцию главной резиденции самодержцев огромной империи этот дворец не мог ни в коем случае, хотя строил его великий мастер. Но даже он не мог сделать больше, чем допускали требования, предъявленные венценосной, но притом весьма прижимистой заказчицей.

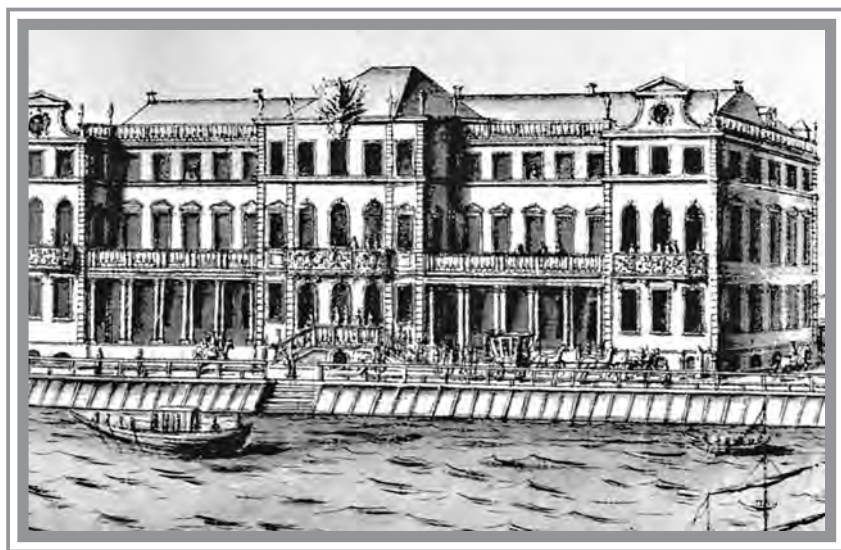
«По своем прибытии императрица Анна велела мне построить большой каменный Зимний дворец в четыре этажа, не считая погребов и мезонинов. Это здание было возведено рядом с Адмиралтейством, против большой площади, так что жилой корпус выходил на реку Большую Неву. В этом здании были большой зал, галерея и театр, также и парадная лестница, большая капелла, все

богато украшенное скульптурой и живописью, как и вообще во всех парадных апартаментах. Число комнат, которые были устроены в этом большом дворце, превышало 200, кроме нескольких служебных помещений, лестниц и большого помещения для караула, дворцовой канцелярии и пр.».

Составляя отчет о своей многолетней работе при русском дворе, Растрелли описывает сделанное без эмоций, тоном беспристрастного регистратора. Не жаловаться, никого не упрекать, никого не винить в неудачах — позиция благородная, позиция настоящего мужчины. А ведь он был человек страстный, на язык далеко не всегда воздержанный. Можно представить, как больно было ему работать (а работал он всегда самозабвенно), когда знал: делает вовсе не то, что нужно бы, что виделось, что хотелось.

Свой первый Зимний дворец (всего на его счету их три) по приказу императрицы Анны он фактически не строил, а постоянно делал пристройки к старому дому генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Дом этот стоял приблизительно на том месте, что и нынешний Зимний дворец.

Лучшего места и не найти, так что привязанность к нему царицы вполне объяснима. А распоряжаться огромным адмиральским



Дом Апраксина

домом она могла по своему усмотрению. Дело в том, что верный сподвижник Петра скончался бездетным. Все свое добро (а было оно немалым: дворцы, земли, золото, драгоценности) разделил между родственниками и теми, кто служил ему верно и преданно, как сам он служил своему императору. Зная, как любил Петр место у самого широкого разлива Невы, на котором стоял его дом, Апраксин решил, что должно оно навсегда остаться собственностью потомков великого государя и попросил царствовавшего тогда Петра II принять этот дом «со всеми в нем уборы» ко двору его величества. Юный император благосклонно согласился, хотя особой ценности в подарке не видел: не собирался жить в Петербурге, столицу пожелал вернуть в Москву.

Другое дело Анна Иоанновна. Что бы о ней ни писали и ни говорили, она прекрасно понимала: ее власть должна держаться не только на кнуте (с этим у нее и Бирона было все в порядке), но и на прянике. Пряником же должна стать ее верность заветам и делам distinguished дядюшки Петра Алексеевича. Пусть и будет эта верность лишь видимостью, лишь декларацией. Так что столицу надобно безотлагательно вернуть в град Петров. Но где жить? Царского дворца в Петербурге нет. Вот и пригодился подарок генерал-адмирала.

Отступление о генерал-адмирале

Тем, кто хорошо знает о характере и делах Федора Матвеевича Апраксина, подарок этот может показаться странным. Ведь старый воин по собственной воле удалился от двора, возмущенный дрязгами, начавшимися после смерти его обожаемого повелителя, в интригах участвовать не желал. К подростку-императору особенно теплых чувств не питал, тем более, что отца его, царевича Алексея, не просто не уважал, но был одним из самых его строгих судей. И вдруг — такой подарок. Кто знает, может, предчувствовал, что скоро власть переменится; может, хотел, чтобы наследники Петра, какими бы они ни были, жили на месте, которое когда-то

выбрал для себя сам великий государь; может, доля наследство между родичами, не мог обойти и Романовых. Он ведь был царским родственником, не кровным, но близким. Его родная сестра Марфа Матвеевна была женой (и любимой женой) родного брата Петра, Федора Алексеевича.



Ф. М. Апраксин

Те, кто, узнав об этом родстве, решат, что ему-то и обязан Федор Апраксин своим восхождением, ошибутся. Для Петра родство, как известно, значило немного. Другое дело — способности. Самая ценная из них — способность самозабвенно трудиться. А уж на каком поприще — дело второе. Важно, чтобы душа к работе лежала и чтобы была эта работа на пользу России.

Может, Петр Алексеевич и взял к себе Федора стольником благодаря родству. Зато уж потом, когда увидел молодого Апраксина в деле, доверился ему без опасений. Вместе и потешное войско набирали, и флотилию в Переславле, на Плещеевом озере, строили. С тех пор уверенно поручал Петр Федору Матвеевичу дела трудные, требующие не только исполнительности, но и самостоятельности, решительности, смелости. Сначала назначил губернатором Архангельска. Надлежало в этом единственном в те времена русском порту наладить судостроение, как коммерческое, так и военное. Потом произвел в главные начальники Адмиралтейского приказа и одновременно назначил азовским губернатором. Пришлось Апраксину, чтобы флот для Азовского моря строить, и верфь в Воронеже организовать, и пушечный завод в Липецке, а в Таганроге и гавань построить, и прибрежные укрепления.

Как известно, чем больше человек делает, тем больше его нагружают. Довольный успехами своего (со-трудника? ученика? сотоварища?), Петр решает испытать, нет ли у того и других талантов, кроме административных, и поручает Апраксину командовать Балтийским флотом. Обнаруживается и еще дар: военный, командирский. Нападение шведов на Кроншлот, Котлин и Петербург новый командующий отразил блистательно. За что был ему пожалован графский титул. Но мало ему морских побед. Во главе десяти тысячной сухопутной армии взял Выборгскую крепость. Государь не замедлил с наградой: орден Андрея Первозванного, высший орден империи, украсил грудь командующего.

Потом были еще походы и еще победы: взятие Гельсингфорса, захват Або и Аландских островов и, наконец, самая славная в те годы виктория — в морском бою у мыса Гангут. После нее произвел Петр победителя в самый высокий флотский чин — генерал-адмирала. Такого звания за всю нашу историю были удостоены всего девять человек. Апраксин — третий, после двоих столь же преданных соратников Петра, Франца Яковлевича Лефорта и Федора Алексеевича Головина.

Высокое положение никак не сказалось на характере Апраксина. Проказлив был не по чину. Не раз во главе отряда смельчаков ходил в Аландские и Стокгольмские шхеры, топил шведские суда, совершал набеги на прибрежные поселения. В общем, держал соседей «в тонусе». Эти выходки генерал-адмирала сыграли немалую роль при подписании Ништадтского мира на самых выгодных для России условиях. Очень уж хотелось шведам избавиться от необузданного и непредсказуемого вояки.

Подчиненные его любили. И было за что: добр, смел, справедлив, гостеприимен, нрав имел веселый. Сам о себе говаривал, что всегда исполнял службу «по силе ума своего радостным сердцем и чистой совестью».

Со смертью повелителя и друга, которого боготворил, жизнь потеряла смысл. Преемники Петра Великого

казались отвратительны, как шакалы, делящие наследство у еще не остывшего тела льва. Он покинул и двор, и Петербург. А вскоре жизнь покинула его...

Так что адмиральский дворец и земля неожиданно-негаданно достались Анне Иоанновне, ставшей царицей. Тоже вполне неожиданно. В 1730 году распорядилась она, чтобы под присмотром полковника Трезини к дому покойного Апраксина пристроили с десятков новых покоев. К осени все было готово, только новая государыня терпеть не могла ездить по грязи и колдобинам, потому принялась ждать санного пути из Москвы. Снег выпал только в январе уже следующего 1731 года. По чистой, ровной белоснежной дороге царский двор добрался до Петербурга в рекордно короткое время — за трое суток.

Дворец Анне Иоанновне понравился: в такой роскоши она никогда не жила. Но, как известно, все познается в сравнении. Бирон видывал и лучшее, так что без труда сумел внушить своей царственной возлюбленной, что даже и перестроенные адмиральские палаты не



Анна Иоанновна

могут доставить всех удобств, каких требует двор императрицы; что нет в них ни одной порядочной залы, где бы прилично было поместить царский трон и принимать соответственно своему положению иноземных послов. Вот тут-то и отдает Анна молодому архитектору Растрелли то распоряжение, о котором он писал в своем отчете и которое я цитировала, начиная рассказ о Зимних дворцах, им построенных. Растрелли оказался в несколько более выгодном положении, чем Трезини, которому пришлось пристраи-

вать к адмиральскому дому несколько новых помещений. Ему предстояло пристраивать целый дворец. Но все-таки не строить, а именно пристраивать. Свободы, размаха он был лишен. С самого начала понимал, что этому Анненскому дому (так его называли петербуржцы) не суждена долгая жизнь: как-то уж больно несуразно выглядел царский дворец, примыкающий одной стороной к Адмиралтейству, другой — к ветхим палатам Рагузинских, третьей выходявший на луг, вокруг которого лепились убогие деревянные строения: сараи, конюшни, избы. Только фасад, смотрящий на Неву, являл собой достойное зрелище.

С воцарением Елизаветы Петровны стало ясно: долго она в таком дворце не проживет. Ей, несравненной красавице, бриллианту, нужна достойная оправа — великолепный дворец, превосходящий совершенством чертоги европейских государей.

Так и случилось. Правда, Елизавета долго колебалась и, как и ее предшественница, склонялась к перестройке существующего дворца. Она вообще часто оттягивала принятие решений. Исследователи приписывают это чудовищной лени императрицы. Самым вопиющим тому подтверждением служит рассказ о том, как, получив от французского короля письмо, извещающее о рождении внука, она все тянула с подписанием ответа. И, правда, на первый взгляд лень просто безграничная. Но если вспомнить одно очень обидное для нее обстоятельство, то станет понятно: вовсе это не лень, а весьма изощренное оскорбление — мол, почему вы считаете, что мне могут быть интересны ваши семейные радости? Елизавета была добра, не гневлива, но обид не забывала. А обидели ее тяжко: родители хотели выдать ее замуж за Людовика XV. Бурбоны отказали. Ее, признанную самой красивой принцессой Европы, сочли недостойной! Только потому, что матушка ее отнюдь не голубых кровей, да и родилась она до вступления родителей в законный брак. Что же, прикажете радоваться появлению в этом высокомерном семействе законного наследника? Не дождутся! Вернее, придется подождать... И ждали. Ровно три года! И решение о постройке нового дворца откладывала не по лености. Взвешивала, считала. Вот уж чего нельзя отрицать, так это того, что странным образом уживалась в ней неумеренная расточительность и мелочная скупость. Окончательное решение в большинстве случаев зависело от того, какое из этих качеств победит.

Думается, Растрелли, хорошо знавший скаредную и вместе с тем широкую, азартную натуру дочери Петра, сумел убедить ее, что строить надо с чистого листа, чтобы дать простор воображению. И она решилась...

Каким счастливым для Петербурга было это решение, понимаешь каждый раз, проходя или проезжая — хоть изредка, хоть каждый день — мимо шедевра Растрелли. Привыкнуть к этому чуду, то есть пройти мимо него равнодушно, невозможно.

Через десять лет архитектор вспоминал: «После того как императрица утвердила проект нового Зимнего дворца и так как было необходимо совершенно снести старый дворец, построенный покойной императрицей Анной в начале ее царствования, ее величество императрица Елизавета приказала мне строить **большой Зимний дворец из дерева**, в один этаж на каменных фундаментах, и это здание было построено на Большом проспекте (Растрелли писал этот отчет в 1764 году, значит, тогда Невский проспект еще называли по привычке Большим, хотя Указ Анны Иоанновны “...впредь именовать Большую проспективу, что следует от Адмиралтейства к Невскому монасты-



Деревянный Зимний дворец

рю, — Невскою проспективою” был подписан еще 20 апреля 1738 года. — И. С.).

Число апартаментов превышало две тысячи комнат, с большим залом, галереей, часовней, а также большим театром в два яруса лож. Все парадные апартаменты, приемные, зал, галерея и пр. были украшены лепным позолоченным орнаментом и несколькими плафонами, помещенными в главных апартаментах».

Многие из этих орнаментов и скульптурных украшений были перенесены в новый дворец из Зимнего дворца Анны Иоанновны, который в это время разбирали.

Добавлю, что поодаль была построена дворцовая каменная кухня. Растрелли в своем отчете о ней умолчал — видимо, потому что, с точки зрения архитектора, она ровно никакого интереса не представляла, а о дальнейшей ее судьбе он не мог и подозревать. Но об этом речь впереди.

А в память о дворце остался только рисунок самого Растрелли да проектные чертежи, но и по ним можно судить: дворец был великолепен. И — огромен. Представим: в Зимнем дворце Анны Иоанновны (четырёхэтажном!) было около двухсот комнат, во дворце Елизаветы Петровны — две тысячи! Он растянулся от Малой Морской почти до самой Мойки, заняв всю территорию Морского гостиного двора петровских времен, где торговали в основном рыбой. В 1736 году рынок сгорел. Дотла. Случилось это весьма кстати: нестерпимый запах все равно заставил бы убрать прилавки рыбаков от Адмиралтейства и Невской перспективы, становившейся к тому времени центром столицы. А вот дворцу, пусть и временному, здесь было самое место.

У многих, читающих о том, что после смерти императрицы Елизаветы осталось пятнадцать тысяч платьев, тысяча пар туфель, два сундука шелковых чулок и столько же перчаток, возникает резонный вопрос: зачем ей столько? То же и с комнатами. Каждый, кто бывал в Эрмитаже, знает: за один раз Зимний дворец (последний, ныне существующий) не так-то легко обойти. А там ведь около тысячи помещений! Всего! Но две тысячи...

А дело в том, что эту женщину, такую жизнерадостную, казавшуюся неизменно веселой и даже легкомысленной, терзали страхи.



Елизавета Петровна

Она никогда не спала в одной комнате две ночи подряд (вот и посчитаем, сколько нужно комнат, если менять их каждую ночь с 1 октября до 30 апреля — в месяцы, которые она проводила в Зимнем дворце). Страхи эти возникли после той ночи, когда она в сопровождении гвардейцев Преображенского полка ночью ворвалась в спальню Анны Леопольдовны, арестовала правительницу с ее несчастным мальшом и захватила отцовский трон. Она считала сама и убеждала всех, что это ее право, без конца повторяла: «Знаете, чья

я дочь!» Что ж, закона о престолонаследии в Российской империи еще не было, так что власть можно было захватить или силой, или хитростью. К тому же права Анны Леопольдовны и маленького Иоанна Антоновича на русский трон тоже были весьма эфемерны. Может быть, другая на ее месте на следующий день забыла бы о тех, кого с такой легкостью удалось лишить власти, или злорадствовала бы. Но Елизавета Петровна была женщина добрая. К тому же памятливая. Не могла забыть ужас в глазах двоюродной племянницы, зашедшегося в крике младенца. Наверное, оправдывала себя, но простить в глубине души все-таки не сумела. А еще была мнительна сверх меры. Ей казалось, что и к ней тоже придут ночью, разбудят, скажут: «Ты больше не царица». Вот и металась из комнаты в комнату, вот и не ложилась спать до утра, доводя до отчаяния придворных, от которых требовала составлять ей компанию в ночных забавах: танцевать до упаду, играть в карты, смотреть спектакли придворного театра, сидеть за ужином, плавно переходящим в завтрак. Но уж когда государыне удавалось заснуть, покой ее оберегали свято: по соседнему мосту (позднее, после ее смерти, когда дворец разберут, а участок на углу Мойки отдадут полицмейстеру Чичерину, мост назовут

Полицейским) запрещалось ездить экипажам, дабы стук колес не разбудил спящую. Иногда мимо дворца запрещали ходить даже пешеходам. Что тут скажешь? Капризница...

Тем не менее была Елизавета настоящей дочерью своего отца и о делах, которые ее интересовали, не забывала. За тем, что и как строят в столице, наблюдала постоянно, бездельничать никому не позволяла. Именно за двадцать лет ее правления превратился Петербург в один из самых дивных городов мира. Не только благодаря гению Растрелли, талантам других зодчих, но и благодаря ее вкусу, амбициям, требовательности и, как сказали бы сейчас, — креативности.

Что было не по ней, а уж тем более портило вид города, пресекала немедленно. «Чтоб по большим знатым улицам никаких вывесок, как нынче их множество разных ремесел видно и против своего дворца Ее Императорского Величества, не было». Не нужно обладать особенно пылким воображением, чтобы представить, что она предприняла бы, увидев «украшающую» сегодня город рекламу. Хотя... по доброте душевной смертную казнь отменила и вырывать женщинам ноздри (что до нее было в порядке вещей) запретила...

Вместе с государыней жили в Зимнем дворце наследник престола (сын ее покойной старшей сестры Анны Петровны) великий князь Петр Федорович и его жена, великая княгиня Екатерина Алексеевна. Интересы ее были другими, чем у царствующей императрицы: много читала, дорожила беседами с опытными людьми, подолгу смотрела в окна — наблюдала, как себя ведут, чем занимаются ее будущие подданные. И вот однажды в окне дома напротив (он принадлежал придворному банкиру Кнутзену) увидела красавца гусара. Он тоже ее заметил... Звали его Григорий Орлов.



Иоанн Антонович



Вид Большой Немецкой улицы к Зимнему дворцу

Их история подтверждает: любовь с первого взгляда случается. Потом было все: и страсть, и готовность пожертвовать всем ради любимого, и раздражение, и предательство. Но именно юноша из окна напротив Зимнего дворца помог Ангальт-Цербстской принцессе стать Екатериной Великой. Впрочем, надо полагать, она нашла бы и других рыцарей, готовых поспособствовать ей захватить трон.

А Елизавета Петровна в 1761 году нервничала, торопила Растрелли. Нет, она не разлюбила свой временный дворец, но ей не терпелось скорее переселиться в новый, который будет поражать великолепием, в котором, она в это верила, к ней вернуться силы и здоровье. Но Растрелли, как ни старался, не мог выполнить ее волю. Он просил только об одном — о точной и своевременной выдаче денег рабочим. Ему обещали. Но вместо положенных ста двадцати тысяч рублей отпускали сорок, в лучшем случае семьдесят. Он даже заболел, но работу не бросал. К осени 1761 года Зимний дворец был окончен. Вчерне.

Императрица пожелала взглянуть на свою будущую резиденцию. Приказала «очистить место, где будет стоять карета для приезда

к дворцу» и сделать подъемный стул, а тот покой, где будет стоять этот стул, обить бумажными обоями (ходить, да еще подниматься по лестницам она, еще недавно такая легкая на ногу, уже не могла). Работой своего придворного архитектора осталась довольна, но повелела, чтобы большая церковь непременно была готова к освящению 25 апреля 1762 года, ко дню ее именин. Растрелли обещал.

25 декабря 1761 года Елизаветы Петровны не стало... Она скончалась в своем деревянном Зимнем дворце на Невском.

После ее смерти дворец опустел и стал понемногу ветшать. В 1765 году началось воровство. Так уж у нас заведено. Удивительно еще, что так долго ждали. Сначала тащили тайком, только мелкие детали убранства. Потом — уже беспардонно: все, что можно унести или увезти. Возмущенная Екатерина решила, что лучше уж отдать ценные архитектурные и художественные детали вельможам, которые в это время возводили свои дворцы. Так, плафон, окна, двери и резные детали были отданы Алексею Григорьевичу Орлову; для дворца генерал-фельдмаршала Захара Григорьевича



*Зимний дворец и набережная со стрелки
Васильевского острова*

Чернышева сняли с крыши железо, вынули стекла из окон, разобрали двенадцать изразцовых печей. Все-таки царское добро не вора́м досталось.

В 1768 году Екатерина распорядилась полностью разобрать дворец. Правда, для одного, отдельно стоящего здания сделала исключение: для той самой каменной кухни, о которой я упоминала, начиная рассказ о дворце. Решила государыня приспособить бывшую кухню под мастерскую скульптора. Предоставила ее приглашенному из Франции ваятелю Этьену Морису Фальконе. Должен был он воплотить ее мечту — поставить памятник Петру Великому, да такой, какого мир еще не видывал. Не случайно отказалась от прекрасного памятника работы Растрелли-старшего. Да, знала: Петр видел модель, она ему пришлась по вкусу. Да, понимала: это самый достоверный портрет, выполненный человеком, близко знавшим ее кумира. Но таких вот императоров и полководцев в римских тогах, с лавровыми венками на головах — не счесть. На площади любой европейской столицы стоят. Лучше, хуже — неважно, важно — похожи. А он ни на кого не должен быть похож! Ни на кого!

Отступление о французских скульпторах

Почему Екатерина доверилась Фальконе? Его рекомендовал сам Дени Дидро. Писал: мало того, что Фальконе академик, так знает о Петре, восхищается им не меньше, чем она сама; книгу Вольтера «История России при Петре Великом» прочитал запоем; как-то, будучи в гостях у него, Дидро, в несколько мгновений вылепил всадника на летящем коне, заявил: «Вот он, Великий Петр, русский вождь!»

Она поверила Дидро. Приглашая скульптора в Россию, была любезна, на комплименты не скупилась. А вот что касается денег... Предложила сумму, какую счел бы оскорбительной любой из его начинающих учеников. Он (академик!) — согласился. Не то, чтобы не нуждался

в деньгах, нет. Только любые меркантильные расчеты отступают, когда художнику предлагают работу, о которой он не позволял себе даже мечтать. Взятся за дело с неукротимой энергией, можно даже сказать — с яростью, так, будто долгие годы не давали ему прикоснуться к любимой работе, и вот, наконец...

Каждое утро берейтор (специалист, объезжающий лошадей, обучающий верховой езде. — И. С.) Афанасий Тележников приводил из царской конюшни в мастерскую скульптора двух орловских рысаков, Бриллианта и Каприза. И начиналось... В мастерской был построен деревянный помост, имитирующий пьедестал, придуманный скульптором (потом такой же будет вытесан из громкамня). На полном скаку Тележников взлетал на коне наверх и на мгновение удерживал того над пропастью. Фальконе делал карандашный набросок. И так каждый день по несколько часов. Много месяцев подряд. Кони уставали. Менялись. Художник и всадник оставались неутомимы. Екатерина наблюдала. Была довольна — сразу поняла: равнодушия, которое ненавидела больше всего, здесь и следа нет.

Но равнодушие еще можно преодолеть. А вот полет воображения художника даже самодержавным монархам не часто удается обуздать. Фальконе оказался неуправляем. Это она считала, что он выполняет ее заказ — воплощает ее мечту. Но он-то знал: это — его мечта и никто не сможет навязать ему свою волю. А пытались постоянно. Не только сама Екатерина, но и Иван Иванович Бецкой, и даже (кто бы мог подумать!) старый друг Дени Дидро. Предлагали изменить то позу, то жест, то одежду. Что-то доказывали, увещевали. Он — будто не слышал. Он был одержим своим героем.

Она настаивала. Он не уступал. Противоречить самодержцам — занятие малоперспективное. Он будет вынужден уехать из России за четыре года до открытия памятника.

Но до этого много чего случилось. И отказ лучших литейщиков Европы (за любые деньги!) отлить этот невероятный памятник. Дружно убеждали: не устоит, рухнет! И встреча с уверенным, решительным и (как выяснилось во время аварии с отливкой) немислимой отваги русским мужиком Емельяном Хайловым. Этот слов на ветер не бросал. Сказал — сделаю отливку, и сделал. И (это уже было катастрофой) подряд три неудачи с головой Петра. В распоряжении Фальконе была и гипсовая маска, снятая Растрелли старшим с мертвого императора, и «восковая персона». Казалось бы, достаточно, чтобы добиться сходства, — он ведь мастер. Но... не получалось. Екатерина беспрекословно заявляла: «Не Он!» Можно было, конечно, считать, что придирается, сознательно мучает строптивного скульптора. Если бы так! Но Фальконе и сам видел: не Он!

И тут на помощь пришла маленькая Мари. Двенадцать лет назад он взял ее, свою подающую надежды семнадцатилетнюю ученицу, с собой в Петербург. Все эти годы она скрашивала его жизнь, поддерживала, смиряла гнев, отчаяние, обиды учителя. И вот теперь предложила: я вылеплю голову. И вылепила. За одну ночь. Он взглянул и сразу понял: «Он!» И Екатерина узнала, восхитилась. Фальконе вспомнил: Дидро называл когда-то Мари мадмуазель Виктоуар (Победа). Тогда он посмеивался над этим прозвищем: Дени — известный шутник. Оказалось, не шутник — провидец.

Надо отдать должное государыне, на этот раз она проявила щедрость: назначила Мари-Анна Колло пожизненную пенсию в десять тысяч ливров (сумма весьма внушительная) и повелела избрать ее членом Императорской Академии художеств. Более того, уговаривала молодую женщину не уезжать из России, уверяла, что без заказов не оставит. Мари осталась верна учителю, уехала вместе с ним в Париж.

Оба они не видели, какой праздник был в русской столице 7 августа 1782 года, когда открывали памятник основателю города.

Екатерина была счастлива. Это был ее памятник, дань преклонения, восхищения, верности. «*Petro primo — Catharina secunda*» — это ведь только на поверхностный взгляд незамысловато: Петру Первому — Екатерина Вторая. Но у этого посвящения есть и второй смысл: Петру первому — Екатерина следующая. А это всего лишь значит, что она вычеркнула всех стоявших между ними монархов, а заодно и скульптора, создавшего памятник, может быть, лучший в мире. Правда, на одной из складок плаща скульптор все-таки написал: «Лепил и отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года». Но императрицата была убеждена и убеждала других: она, только она — его наследница, его продолжение — между ними, рядом с ними не должно быть никого, не должно звучать ни одно имя. А Фальконе? Он всего лишь исполнитель ее воли.



Медный всадник

Отчего часто так горьки судьбы великих творцов, отдавших свой дарованный Богом гений служению России? Был изгнан из России и зарыт неведомо в какой земле незабвенный Франческо Растрелли. В нищете умер создатель величественных, царственных петербургских ансамблей Карло Росси. Огюсту Монферрану отказали в праве быть похороненным в Исаакиевском соборе, который он строил сорок лет, а закончив, тихо скончался — жизнь потеряла смысл. Так и Фальконе. Сделал свое дело — больше не нужен...

После того как памятник водрузили на пьедестал, мастерская скульптора тоже оказалась ненужной. Ее снесли. Исчез последний след деревянного Зимнего дворца Елизаветы Петровны, обреченного уже в силу недолговечности материала, из которого был построен.

По той же причине был обречен и другой дворец, построенный Растрелли. Впрочем, пожалуй, это мое утверждение опрометчиво. Если беречь, если заботиться, поддерживать, ремонтировать — и деревянную постройку можно сохранить. Пример тому — театр в Архангельском (бывшей усадьбе Юсуповых под Москвой). Его строил Валлен-Деламот, современник Растрелли, хотя и младший. Берегли. Вот до сих пор и стоит. Растрелли в очередной раз не повезло. «При принцессе Анне, правительнице Всероссийской, я соорудил большой Летний дворец из дерева, первый этаж которого был выполнен из камня, с новым садом, разбитым согласно моим риункам. Этот большой дом существует в настоящее время, являясь обычной резиденцией монархов во время их летнего пребывания в Петербурге». Это написано уже при Екатерине, которая, несмотря на нескрываемую нелюбовь к барокко и неприязнь к Растрелли, Летний дворец любила.

Дворец вошел в историю как **Летний дворец Елизаветы Петровны**, хотя строил его Растрелли по приказу правительницы Анны Леопольдовны. Дело в том, что Анна только приказала построить дворец, но пожить в нем не успела. Точно так же, как не успела

и Елизавета пожить в своем Зимнем дворце, полноправной хозяйкой которого стала сначала Екатерина II, а вслед за ней все российские монархи.

Летний дворец — одна из самых горестных утрат Петербурга. В нем соединились все свойства, которые позволяют жалеть об утрате. Во-первых, он был прекрасен. Во-вторых, его построил гений. В-третьих, в нем происходили события, оставившие неизгладимый след в истории России.

Красоту дворца засвидетельствовал замечательный рисовальщик и гравер Михаил Иванович Махаев. Он был одним из основоположников русского архитектурного пейзажа. Как ни относиться к любым проявлениям модернизма в искусстве, как ни любить импрессионистов, для стремящихся познать историю лучшими помощниками остаются реалисты. Махаев — не просто реалист. Если пользоваться современной лексикой, он — фотореалист или суперреалист. Уж если он изобразил герб на фронтоне дворца, можно не сомневаться: именно такой герб там и был. И скульптуры, и наличники, и плавный разворот лестниц, даже количество балясин на перилах — все точно. К тому же оживлял он свои пейзажи очаровательными стаффажами, которые создавали выразительный образ времени и места. Стаффаж — это фигуры людей и животных, изображенные в произведениях пейзажной живописи для оживления вида и имеющие второстепенное значение. Второстепенное второстепенным, но аромат времени картине придают именно они. Разглядывая кокетливых дам в фижмах, элегантных придворных, стройных офицеров, изображенных Махаевым, легко представляешь: вот сейчас отворится парадная дверь и из нее легко выпорхнет (или величественно выйдет) сама прекрасная Елизавета, о которой испанский посланник герцог де Лирна писал своему королю: «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высока ростом, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива».

Дополняет то, что мы видим на картине Махаева, описание, оставленное Растрелли: «Это здание имело более ста шестидесяти апартаментов, включая сюда и церковь, зал и галерею. Было

украшено зеркалами и богатой скульптурой, равно как и новый сад, украшенный прекрасными фонтанами, с Эрмитажем, построенным на уровне первого этажа, окруженным богатыми трельяжами, все украшения которых были позолочены».

Позволю себе добавить, что многие сегодня могут недоумевать по поводу трельяжей, поскольку это слово у большинства ассоциируется с предметом мебели. Растрелли имел в виду другое. В садовой архитектуре трельяжами называют решетки для вьющихся растений, беседки или стены, образуемые посаженными у их оснований вьющимися или стелющимися растениями.

Рисунок Махаева, описания, оставленные не только самим зодчим, но и современниками, дают возможность представить это сооружение, величественное и легкое, роскошное и изысканное, стройное и логичное. Но и здесь Растрелли не повезло. В угоду капризам хозяйки ему приходилось нарушать безупречную гармонию дворца — то строить крытую галерею, чтобы не приходилось под открытым небом переходить через Мойку в Летний сад, то пристраивать церковь, то сооружать террасу для всячего сада. Сопротивляться было бесполезно — императрица желала, чтобы ей было удобно. Что ж, хозяйка... Имела право.

В своем любимом дворце она жила с конца апреля по конец сентября. Расстояние от Зимнего дворца (на Невском) до Летнего (он стоял на месте Михайловского замка) — всего ничего. Но каждый переезд был обставлен весьма торжественно: за каретой государыни тянулись экипажи придворных, по пути ее следования выстраивались гвардейцы, гремели военные оркестры, в момент въезда на территорию дворца оглушительно палили пушки Петропавловской крепости и Адмиралтейства, яхты снимались с якорей у Апраксина дома и швартовались у Летнего сада, вечером сверкали фейерверки. Тот же ритуал повторялся и при переезде из Летнего дворца в Зимний.

Вместе с Елизаветой Петровной из Зимнего дворца в Летний перебиралось и великокняжеское семейство. Екатерине здесь нравилось: можно было выйти в сад, хотя бы ненадолго затеряться в его аллеях, скрыться от любопытных взглядов. Она знала, что государыня приказала за ней следить. Это возмущало, обижало, заставляло притворяться. Даже когда скрывать было нечего. А уж когда было...

Отступление о материнской и сыновней любви

В судьбе будущей Екатерины Великой Летний дворец занимает место особенное. Точнее, даже не в судьбе, а в становлении ее характера. Именно в этом, созданном для радостей и утех, дворце она пережила страшные часы, избавившие от последних иллюзий, заставившие трезво оценить окружающих.

В 1754-м, на десятом году пребывания бывшей Ангальт-Цербстской принцессы в России, она, наконец, после дол-



Семейный портрет. Великий князь Пётр Фёдорович с супругой, будущей Екатериной Великой

гих злоключений готовилась родить. О том, что предшествовало появлению на свет законного наследника престола, рассказывать не буду. Это уведет очень далеко от темы книги. Но не рассказать о самих родах и их последствиях нельзя. Хотя бы потому, что именно это событие в итоге предопределило судьбу Летнего дворца. Рожала в небольшой комнате на втором этаже. Вспоминала потом, что все время дуло из окна: то ли его сознательно не хотели закрыть, то ли оно просто плохо закрывалось. Роды были тяжелые. И все равно день, когда услышала: «Сын!», мог, должен был стать для нее счастливым, каким он становится для большинства женщин. Но ее лишили этого счастья. Как только новорожденного обмыли, присутствовавшая при родах Елизавета Петровна унесла мальчика к себе и показала его матери только через шесть недель, и то на несколько минут. Потом большинство биографов будут отмечать, сочувствуя бедному Павлу, что у его матушки не было развито материнское чувство. Возможно. Но что же тут удивительного? Екатерину лишили самого первого, рождающего взаимную любовь контакта с сыном. Это не могло не подействовать на ее психику, как бы она ни гордилась тем, что нервы у нее железные.

Самое страшное началось после того, как императрица покинула комнату роженицы. За Елизаветой последовали все. Молодая мать осталась одна. Никто не принес ей даже стакана воды. За стенкой пировал муж, великий князь Петр Федорович — «счастливый отец». Здесь не место разбираться в истинном отцовстве только что рожденного младенца. Речь сейчас о состоянии матери.

Она слышала пьяные крики, пыталась звать на помощь. Никто не отзывался. Не слышали или ждали, когда она умрет? Тайком заглянула искренне любившая Екатерину служанка. Воды не подала. На просьбу перенести ее в спальню из комнаты, где гулял жуткий сквозняк, ответила шепотом, прижав палец к губам: «Не велено».

Она должна была умереть: сделала свое дело, родила долгожданного наследника — больше не нужна. Она очень хорошо поняла это в те дни, что находилась между жизнью и смертью. Ее спасли не врачи (их к ней не присылали). Ее спасла воля к жизни. Будь она послабее — не поднялась бы. И история России была бы совсем другой. Она ничего не забыла. И не простила. Но вот что удивительно: дворец, в котором пережила боль, разочарование, страх, не разлюбила. Видимо, ей не свойственно было преобразовывать воспоминания о чем-то тяжелом в неприязнь, а то и ненависть к ни в чем не повинным местам, где это тяжелое происходило.

Зато сын ее такой способностью обладал в избытке. Я еще расскажу, как он распорядился снести храм Казанской Божьей Матери (тоже построенный Растрелли), который напоминал ему о триумфе ненавистной матушки. Та же участь и по той же причине постигла и Летний дворец.

Павел не только родился, он вырос в этом дворце. Там любящая Елизавета Петровна выполняла любое его желание. Там окружали его бесчисленные няньки и кормилицы. В своих «Записках» Екатерина вспоминает, в какой ужас пришла, когда ее ненадолго допустили к сыну: «Его держали в невероятно душной комнате, укутанного во фланелевые пеленки, в колыбельке, обложенной мехом чернобурой лисы; при этом покрыт он был атласным ватным одеялом, на меху тех же чернобурок... лицо и тело его были залиты потом, отчего, когда он подрос, малейший ветерок вызывал переохлаждение и заболевание».

Но почти не прекращающийся насморк, который преследовал его до конца дней, — не самый печальный результат подобной заботы. Заласканный, оберегаемый от всего на свете мальчик стал патологически пуглив. Любой шум вызывал у него одну реакцию: немедленно спрятаться под стол, под одеяло — неважно, куда, лишь бы его не видели. Пытаясь отвлечь, ему рассказывали сказки. А они известно о чем. О леших, злых кол-

дуньях и прочей нечисти. В общем, хотели, как лучше, а превратили ребенка в вечно дрожащего труса. У него развилась подозрительность, склонность к галлюцинациям и нервным припадкам. Склонность эта, хотя ее и пытались преодолеть — как спохватившаяся, наконец, Елизавета Петровна, так и Екатерина (когда получила возможность влиять на воспитание сына), осталась навсегда и принесла немало бед и самому Павлу, и его близким, и, в конце концов, стране, когда та оказалась в его власти.

Не эта ли склонность стала и причиной расправы с Летним дворцом?.. Если верить легенде, солдату, стоявшему в карауле при дворце, явился в сиянии прекрасный юноша и сказал оторопевшему часовому, что он, архангел Михаил, приказывает идти к императору и передать, чтобы на месте этого старого дворца был построен храм во



Михайловский замок построен на месте
Летнего дворца Елизаветы

имя архистратига Михаила. Солдату попасть к Павлу Петровичу не было никакой возможности, поэтому он доложил о чудном видении по начальству.

Легенда, конечно, красивая. Только трудно понять, зачем понадобилось архангелу сообщать о своем повелении через какого-то безвестного солдата, когда он мог это сказать прямо Павлу. Уж его-то, наверное, до императора допустили бы. Но оставим это, как и рассказы о других «озарениях» Павла Петровича, на его совести.

Мне-то кажется, что он не мог забыть двух событий, воспоминания о которых постепенно укрепляли его в желании уничтожить стены, которые были свидетелями... Оба эти события — судьбоносны. Первое — прием иностранных послов, спешивших поздравить его мать с провозглашением императрицей. Это было ее торжество. Оно откладывало осуществление его мечты о троне. Надолго, если не навсегда. Второе — сообщение о смерти Петра III. Батюшку, конечно, жалко. Но еще труднее смириться с мыслью: матушкина власть теперь неколебима. Воспоминания терзали его. А тут еще этот дворец! Он напоминал, бередил раны...

Но это — только предположения. Но что бы ни было причиной решения Павла, результат оказался для Петербурга плачевным: Летний дворец было приказано снести, а на его месте поставить Михайловский замок. Причем сделать это немедленно. И сделали.

Что же касается Растрелли, то об уничтожении одного из своих любимых созданий он не узнал — не дожил.

Но в его судьбе (и в судьбе города) была еще одна драма — невоплощение...

Невоплощение — та же утрата. Я не о мечтах, а о вполне реальных проектах, которые могли бы и, судя по дошедшим до нас чертежам и рисункам, **должны были** стать чудом красоты.

Думаю, самая горькая из таких утрат Петербурга — **непостроенная колокольня Смольного монастыря.**

Императрица Елизавета Петровна задумала ставить монастырь на месте Девичьего дворца, где прошла ее юность. Поселил ее там батюшка. Место выбрал красивое, на излучине Невы. И обжитое: еще с древних времен стояло здесь мирное новгородское село Спасовщина. Когда на другом берегу шведы поставили крепость Ниеншанц, новгородцы решили строить укрепления (на всякий случай). Превратилась Спасовщина в форт. И имя получила новое — Сабина. Имя женское, ласковое, но нерусское... А со шведами жили до поры до времени по-соседски: покупали у них припасы, варили для них смолу. В этом деле были здешние жители большими мастерами.

Пришел Петр — и разом все вокруг переменялось. Только в Спасовщине жизнь шла по-прежнему. Не совсем, конечно, — уже не шведы, свои, русские, стали соседями. Но делать приходилось то же, что и раньше, — варить смолу. Теперь — для Адмиралтейской верфи новой российской столицы. Требовалось смолы все больше и больше: строил Петр Алексеевич флот, торопился. Так что старые имена селения как-то быстро забылись, стали его называть Смоляным двором. Государь бывал здесь часто, торопил смоловаров. Заодно и к дочке заглядывал. Ей здесь неплохо жилось, если бы не запах. Запах смолы прилипчивый, пропитал все — одежду, постель, еду. Жаловаться батюшке было без смысла — ему этот запах по душе, как запах моря. С годами и она привыкла. И место это полюбила. Уже была императрицей, когда дала обет: построить на месте Девичьего дворца Новодевичий Воскресенский монастырь. Любопытно: видно, не только запах, но и имя смоляное прилипчиво. Монастырь еще и построить не успели, а называть уже стали просто Смоляным. Так и поныне называют.

Монастырь для Елизаветы Петровны значил больше, чем любой из дворцов. Во-первых, обетный (а была она человеком верующим, глубоко и искренне), во-вторых, годы мигом пролетели: только-только была молодой, а вдруг — уже сорок, к старости жизнь покатила. Вот и решила на исходе дней постричься в монахини, доживать в покое и благочестии. Правда, и от привычного комфорта отказываться не собиралась. Так что для нее, будущей

настоятельница, надлежало построить дом не хуже ее многочисленных дворцов. Для каждой из ста двадцати девиц благородных кровей, которые разделят ее уединенную жизнь, — апартаменты с комнатой для прислуги, кухней и кладовой для припасов. Трапезную, в которой любого гостя принять не стыдно. И, конечно же, храм. Чтобы превзошел красотой все, что есть на земле.

Могла государыня позволить себе такую затею, потому что был у нее человек, способный воплотить любую мечту, — граф Франческо Бартоломео де Растрелли. Про Елизавету часто пишут, что была она женщиной малообразованной, капризной, своенравной и умом не блистала. Может быть. Но что было у нее врожденное чувство прекрасного, безупречный вкус и способность находить и приближать к себе людей не просто талантливых — гениальных, вряд ли кто посмеет оспорить. Одним из таких и был Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (так звали его в России). Именно он превратил новую российскую столицу в блистательный Санкт-Петербург. Итальянец по рождению стал русским по духу, автором нового архитектурного стиля, названного **русским (или елизаветинским) барокко**. Почему елизаветинским? Потому что нет сомнения: если бы не она — капризная, но щедрая заказчица, способная понять, почувствовать и оценить самый смелый замысел зодчего, не было бы ни Зимнего, ни Екатерининского в Царском Селе, ни Большого дворца в Петергофе, не было бы и Смольного собора. Когда Растрелли строил для Елизаветы дворцы, они не раз спорили. Она заставляла его менять придуманное, даже уже сделанное. Он огорчался, не желал отступать и все же бывал вынужден смиряться: она — самодержица, безраздельная властительница огромной державы. Попробуй с ней не согласиться! Но ему часто удавалось настоять на своем, не победить — переубедить.

Со Смольным собором все случилось иначе. Растрелли задумал одноглавый храм европейского типа, схожий с Петропавловским. Все, кто видел чертежи, восхищались. А Елизавета посмотрела и решительно заявила: «Нет!» Повелела строить храм пятикупольный, по православным канонам (так со времен Петра уже не строили). Возражений слушать не пожелала. На этот раз переубедить ее было бесполезно. Растрелли и не пытался. Вдруг понял — она права. Собор должен быть особенным, ни на что по-

строенное до этой поры в Петербурге не похожим. Ездил по стране, смотрел. В дневнике записал: «Я говорю себе, когда работаю: учись у древних зодчих России. Они знали тайну великой и сложной простоты».

Это признание великого мастера дорогого стоит. Большинство ведь считало: учиться надо у итальянцев, у французов, а русские... Не зря же одного за другим приглашают в Россию иноземных архитекторов, привечают, платят в разы больше, чем русским. Растрелли же (впрочем, как до него Доменико Трезини, да и многие после него) сумел почувствовать душу принявшей его страны, сумел стать русским по духу. Не случайно так благоволила ему Елизавета Петровна, вообще-то иностранцев не выносившая.

Он прожил в России с небольшими перерывами пятьдесят шесть лет. А оказался в этой огромной северной непонятной стране волею не самых счастливых обстоятельств. Отец будущего великого зодчего Бартоломео Карло Растрелли был скульптором — талантливым, но не слишком преуспевшим. После смерти Людовика XIV получить заказ на скульптуру, а значит, заработать на пропитание, во Франции было маловероятно. А в это время (шел год 1715-й) российский император строил новую столицу. Он писал в Париж своему посланнику Зотову: «Понеже король французский умер, а наследник его зело молод, то, чаю, многие мастерские люди будут искать фортуны в других государствах, для чего наведывайся о таких и пиши, дабы потребных не пропустить».

Растрелли-старший оказался в числе «потребных». Ему предстоит стать автором знаменитого Самсона (тот Самсон, свинцовый, был «съеден» водой; в 1801 году Михаил Козловский вылепил нового — его украли или уничтожили фашисты; сейчас Большой каскад украшает третий Самсон, воссозданный после Великой Отечественной войны). Станет он автором и первого памятника Петру, сделанного по заказу самого императора: «Сделай мне сидящий на коне патрет! Мы из Италии триста штук скульптур в Россию притащили, а твоя среди них первой быть должна!» А тем временем Растрелли-младший будет учиться. У отца и у любимца Петра, великого Доменико Трезини.

Ему было всего двадцать два года, когда князь Антиох Кантемир доверил ему построить дом для своего отца. Вот впечатления

первого заказчика: «Граф Растрелли родом — итальянец, в российском государстве искусный архитектор, за младостью возраста не столько в практике силен, как в вымыслах и чертежах. Инвенции (от латинского *inventio* — находка, содержащая новую композиционно-техническую идею. — *И. С.*) его в украшениях великолепны, вид зданий казист, одним словом, может увеселиться око в том, что он построил».

С тех пор юный зодчий становится моден, его замечает всеильный фаворит Анны Иоанновны, Бирон, и делает придворным архитектором. Работает Растрелли много и блистательно. Он один из редких творцов, при жизни увенчанных славой.

Ему предрекали: после смерти Анны Иоанновны и свержения Анны Леопольдовны, при новой царице, натерпевшейся от своих предшественниц, ничего хорошего его не ждет. Елизавета Петровна, и правда, не пожелала иметь дело с архитектором, которого привечали ее родственницы-враги. Ему не давали заказов, даже отобрали диплом на графское достоинство.

Но «капризница» Елизавета не была мелочно мстительна, да и глупа не была. Видела: именно Растрелли способен построить то, что прославит ее царствование. И построил. И прославил.

Но вернусь к Смольному собору. Зодчий сделал, как хотела августейшая заказчица: у храма пять куполов. Но это снаружи. Внутри купол один, большой. Четыре маленьких, будто прислонившихся к нему, — звонницы. Так не строил никто. Но не мое это дело писать об архитектурных особенностях собора. Я не могу и не хочу раскладывать радугу на составные части — пропадет волшебство.

Очарование Смольного собора словами передать трудно. Но тот, кто ранним утром не поленится выйти на Шпалерную и пройти по ней от самого Литейного, прикоснется к чуду. Впрочем, даже и необязательно утром. В любое время дня, в любое время года. Сначала далеко в конце улицы возникнет на фоне перламутрового неба легкое бело-голубое облако. Постепенно оно будет обретать четкость очертаний. Но тяжелее не станет. Даже когда подойдешь совсем близко, будет казаться, что вот-вот оторвется от земли и улетит. Улетит туда, где ему и место — на небо. Потому

что (я всю жизнь не могу расстаться с этим чувством) кажется Смольный собор неземным, нереальным — мечтой, волшебством. Но то, что вот уже почти два с половиной века заставляет замирать сердца, всего лишь часть замысленного зодчим. Должна была быть еще колокольня невиданной высоты, в сто сорок метров — вдвое выше московской колокольни Ивана Великого, на восемнадцать метров выше вознесенной над Петербургом Петропавловской. Увидев проект колокольни, Елизавета Петровна пришла в восторг. Приказала отлить для нее колокол на двадцать тысяч пудов, шириной в шесть с половиной метров. Чтобы больше Царь-колокола! Через некоторое время Растрелли увеличил «рост» колокольни до ста семидесяти метров. Так, чтобы быть ей выше не только Ивана Великого, но и знаменитого собора в немецком городе Ульме, самого высокого в мире.

Только высота — не главное в смольнинской колокольне. Главное — стройность. Колокольня должна была быть пятиярусной. Первый ярус — триумфальная арка, вход в монастырь, второй — надвратная церковь, остальные — звонницы, над ними башенка с тремя круглыми окнами, а венчает все главка с крестом. Нечто весьма похожее, только другого масштаба, построил Чевакинский у Никольского собора. Так что представить можно. Кроме того есть чертежи и макет в музее Академии художеств. Даже при взгляде на них от восторга замирает сердце. А если бы она стояла над городом, осеняя его летящим своим силуэтом... Не случилось. Сначала — война с Пруссией, требовавшая все больше денег. Пришлось императрице экономить. А экономят у нас всегда на искусстве. Так уж повелось...

Потом, после победы, Елизавета как-то поостыла к затее уйти в монастырь — стоит ли ей, победительнице непобедимого Фридриха, отказываться от власти, когда у нее все так хорошо получается... Так что монастырь подождет. А Растрелли следует поторопиться с завершением ее главной резиденции. Он торопится. Но продолжает верить: уже совсем скоро удастся начать строить колокольню...

До окончания постройки Зимнего дворца Елизавета Петровна не дожила... Для Растрелли ее смерть стала началом конца. Правда, Петр III, войдя в новый дворец, пришел в такое восхищение, что

тут же приказал наградить архитектора. Но... денег в казне не оказалось. Яков Штелин, академик, директор Отделения изящных искусств при Академии наук, любимый учитель Петра Федоровича, вспоминал, какой выход из положения нашел новый император. «Я должен подарить что-нибудь Растрелли, но деньги мне самому нужны. Я знаю, что сделаю, и это будет для него приятнее денег. Я дам ему свой голштинский орден, он не беден и с амбицией и примет это за особую милость, и я разделаюсь с ним честно, не тратя денег». В день торжественного освящения Зимнего дворца зодчему был пожалован орден святой Анны II степени и звание генерал-майора.

А потом к власти пришла Екатерина. «Архитектора здесь ценят только тогда, когда в нем нуждаются». Это слова Растрелли. Екатерина в нем не нуждается: она терпеть не может барокко, ей ближе строгий классицизм. Да и завершать замыслы не слишком любимой Елизаветы Петровны она не намерена. Так что вчерашнему баловню судьбы приходится расстаться не только с мечтой о колокольне, но и с надеждой на какую бы то ни было работу в России. Хуже того, в Зимнем дворце, одном из самых блестящих его творений, на глазах Растрелли начинаются переделки. Валлен-Деламот, которому благоволит новая императрица, хвастает, что выбрасывает в окна целые стены, построенные Растрелли. Благородному человеку об этом впору бы умолчать... Валлен-Деламот — одаренный архитектор (подтверждение тому — Гостиный двор, величественная Арка складов Новой Голландии, костел святой Екатерины, Академия художеств, Малый Эрмитаж). Но благородство далеко не всегда сопутствует одаренности... Это Джакомо Кваренги хотя и ненавидел барокко, проезжая чуть ли не ежедневно мимо Смольного собора (строил рядом здание Смольного института), снимал шляпу и повторял: «Вот это храм!» Но Кваренги — гений. Он просто отдавал должное другому гению.

Что же касается Валлен-Деламота, то так случилось, что именно ему выпало построить свой, хорошо нам известный **Большой Гостиный двор** вместо того, который на том же месте намеревался построить Растрелли — вернее, задумала Елизавета Петровна. Она пожелала видеть на Невской перспективе не просто удобное и обширное место для торговли всевозможными товарами,

но настоящий дворец торговли, какого во всей Европе не сыщешь. Она вообще обожала строить дворцы: большинство петербургских дворцов построены для нее или в ее время. И этот поручила не кому-нибудь, а несравненному Растрелли. Его проект был великолепен. Как всегда. Елизавета утвердила его без единой поправки. Но строить распорядилась за счет купеческого сословия. Купцам это, понятно, не понравилось, но возражать матушке-государыне не посмели. Только оттягивали выполнение ее воли как могли. И дождались. Как только Елизавета скончалась, убедили новую власть строить скромнее и дешевле. Работу поручили Валлен-Деламоту. Еще один неосуществленный замысел — еще одна утрата. Но при абсолютной уверенности, что постройка Растрелли была бы еще одним петербургским шедевром, нельзя не отдать должное гармоничному, строгому Гостиному двору Деламота.

Наверное, мое утверждение, что непостроенная колокольня Смольного собора — одна из самых горестных утрат нашего города, кому-нибудь покажется спорным. Мол, не было ее, значит, и утратить невозможно. С точки зрения формальной логики — правильно. Но колокольня ведь не миф, она уже существовала на бумаге, в макете, даже фундамент уже уложили. И было ясно — станет она одним из прекраснейших сооружений Петербурга. Так что смею настаивать — утрата.

Правда, сейчас кое-кто утверждает, будто Растрелли сам отказался от строительства колокольни: решил, что она помешает видеть собор со Шпалерной — с главной перспективы. Но это сегодня Шпалерная — главная перспектива. Следует вспомнить: в те времена главным проспектом Петербурга была Нева. Именно на нее были ориентировано все лучшее, что строили в городе. Взгляду на собор с Невы колокольня никак не могла стать помехой. Кроме того, колокольня, по православной традиции, должна стоять к западу от храма. Так что, еще только планируя постройку, Растрелли прекрасно понимал, как они будут соотноситься, храм и колокольня. Поэтому вдруг сделать открытие, что она будет чему-то мешать, просто не мог.

А утраты... Они преследовали зодчего и при жизни, и после смерти. Началось все с **Зимнего дворца**. Страшный пожар 1837 года из всех дивных **интерьеров Растрелли** пощадил только дворцо-



Большая церковь. Интерьер Растрелли

вую церковь и Иорданскую лестницу. Кроме них из подлинных интерьеров мастера до нас дошел всего один — большой Белый двухсветный зал в Строгановском дворце.

Следующей жертвой (на этот раз жертвой ненависти императора Павла к своей покойной матери) стал Летний дворец Елизаветы Петровны (о его судьбе я рассказывала), за ним — **храм во имя Казанской Божьей Матери**.

Так органичен воронихинский Казанский собор на Невском проспекте, что кажется, будто стоял он здесь всегда. Но это не так. До конца XVIII века на его месте был другой храм.



Пожар Зимнего дворца в 1837 году

Перед тем как отставленный от дел, но еще полный сил зодчий отправился в Берлин ко двору Фридриха II с тайной надеждой получить достойную работу, он составил «Общее описание всех зданий, дворцов и садов, которые я, граф Растрелли, обер-архитектор двора, построил в течение всего времени, когда я имел честь состоять на службе Их Величеств Всероссийских, начиная с года 1716 до сего 1764 года». Я уже не однажды цитировала это описание.

Под номером шестьдесят в нем следует такая запись: «На Большом проспекте я построил церковь с куполом и колокольной, всю в камне, в честь св. девы Казанской, которая почитается в этой провинции как чудотворная. Алтарь, равно как и весь интерьер, украшен весьма богатыми лепными позолоченными орнаментами, с бесчисленными прекраснейшими образами, установленными в алтаре. Именно в этой церкви состоялось венчание императора Петра III с ныне царствующей императрицей».

Не знаю, деликатность или осторожность побудила его умолчать о главном: именно в этой церкви Екатерину провозгласили императрицей. Сын этого забыть не мог. Церковь сделалась ему ненавистна. Он приказал ее снести и поставить вместо нее храм по образцу собора святого Петра в Риме. Конкурс выиграл бывший крепостной графов Строгановых, Андрей Никифорович Воронихин. Но это уже совсем другая история...

С семейством Строгановых Растрелли был дружен, построил для них дворец на углу Невского и Мойки. Это лучше других сохранившееся творение великого мастера. По мнению многих специалистов — и самое совершенное. Граф Сергей Григорьевич Строганов, желая как-то по-особенному отблагодарить Растрелли, заказал портрет зодчего прославленному итальянскому портретисту Пьетро Ротари, приехавшему в Петербург по приглашению императрицы. Так что именно благодаря Строганову мы получили возможность всмотреться в лицо гения — породистое, гордое, печальное. А может быть, просто задумчивое...

Что касается творений Растрелли, их рисовали многие. На рисунке Михаила Махаева, сделанном вскоре после окончания строительства Строгановского дворца, запечатлен не только дворец, но и стоящий в некотором отдалении храм: изящный, стремительный силуэт, будто пронзающий небо. У некоторых авторов я встречала утверждение, будто первый храм во имя Казанской Божьей Матери строил Михаил Григорьевич Земцов. Но ведь Растрелли сам назвал его своей работой. Думаю, заподозрить великого мастера в том, что приписал себе чужую постройку, просто невозможно.

Казанский собор, построенный Воронихиным, справедливо признан шедевром. Но и ради него можно ли было уничтожить не просто другой шедевр, но храм, намоленный сотнями верующих? Тем более что хранил он чудотворную икону Казанской Божьей Матери, небесную покровительницу Петербурга. Ее привезли в город по велению Петра в 1710 году. Архимандрит Митрофаний предрек: «Пока Казанская будет в столице, в город не ступит вражья нога». Уже триста лет чудотворная икона охраняет город...

Что же касается места для постройки нового собора, его было более чем достаточно. На том же Невском многие участки в то время еще были свободны.

У меня всегда было чувство, что **страшная участь императора Павла связана с разрушением Казанской церкви**. Большевики, сносившие храмы, были атеистами. С них и спрос другой. Но Павел... Дольше других уничтоженных шедевров Растрелли (до 1962-го) простоял **собор во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице-Сергиевой пустыни**. Монастырь этот в 1732 году основал настоятель Троице-Сергиевой лавры и духовник императрицы Анны Иоанновны архимандрит Варлаам Высоцкий. Был он известен большой строгостью жизни, благочестием и смирением. Царица его искренне уважала. Свое положение при дворе он умел использовать для делания добра. По свидетельству современников, «приемная его, как царского духовника, была постоянно наполнена просителями разных званий и состояний. Если бы просители эти отходили неудовлетворенными, то и собрания скоро бы прекратились». Он помогал многим, а кого-то и спасал от смерти — наказывать провинившихся Анна Иоанновна умела, не соразмеряя вину с наказанием. А вот духовнику своему всячески старалась угодить.

«Указали мы приморскую дачу, которая преж сего была сестры нашей благоверной государыни царевны и великой княжны Екатерины Иоанновны и приписана к Стрельнинскому дому, отдать Троицкаго Сергиева монастыря Архимандриту Варлааму в вечные владения, и на оную дачу дать ему Загородный дом царицы Параскевы Федоровны находился на набережной Фонтанки между Лештуковым переулком и Семеновским мостом против Апраксина переулка». Подписывая этот указ, государыня вовсе не помышляла о создании нового монастыря. Она просто видела, что отец Варлаам тяготится придворной суетой, нуждается в тихом месте для молитвы и размышления. А он с радостью принял подарок: он-то мечтал поставить рядом со столицей монастырь, который прославит имя и дела преподобного Сергия, как прославлены они подмосковной лаврой. Церковь в доме Прасковьи Федоровны (покойной матушки Анны Иоанновны, жены соправителя Петра Великого Иоанна Алексеевича. — *И. С.*) была разобрана, перевезена на приморскую дачу и собрана. В журнале канцелярии Святейшего Синода 6 июня 1735 года записано «доношение» архимандрита Варлаама: «Церковь Успения Пресвятыя Богоро-

дицы на Приморскую того монастыря дачу, отстоящую от Санкт-Петербурга на 24 версте, перевезена и поставлена и мая 12-го дня им Архимандритом освящена во имя преподобного Сергия Радонежского чудотворца...». А уже 5 июля Анна Иоанновна «шествует на молебен» в первую церковь монастыря, которому предстоит прославиться в том числе и разнообразием великолепных храмов. Первым начали строить каменный храм во имя Пресвятой Троицы. Шел уже 1756 год. На троне была Елизавета Петровна. Так что вполне понятно, что строительство поручили Растрелли. Правда, в одних источниках автором называют его, в других — Пьетро Антонио Трезини (однофамильца и земляка великого Доменико Трезини. — *И. С.*), в третьих пишут, что строили Троицкий собор по проекту Трезини, но под руководством Растрелли. Возможно, Трезини и причастен к постройке собора, но почерк мастера трудно скрыть. Так «посадить» купола мог только Растрелли. И добиваться такой нереальной легкости от очень крупных сооружений умел только он. Хорош собор был необыкновенно: белокаменный, стройный (как все, что строил зодчий), гордо и изящно, как будто в общем порыве возносящий к небу шесть своих куполов.

Поразительно: в годы Великой Отечественной войны линия обороны города проходила совсем рядом со Стрельной, но и шедевр Растрелли, и другие храмы пустыни уцелели. Однако в шестидесятых годах началось (похоже, глава государства был одержим идеей показать своему народу фотографию не только последнего попа, но и последнего храма)... Снос Троицкого собора как будто специально подгадали к двухсотлетию храма.

Это был один из немногих случаев, когда народ не безмолвствовал: дивная красота одного из последних творений Растрелли не могла оставить равнодушными даже людей неверующих. Разумеется, голоса защитников храма услышаны не были. Троицкий собор снесли. За ним последовали другие церкви Троице-Сергиевой пустыни. А заодно и могилы. Там хоронили людей достойнейших. Назову только троих: последний канцлер Российской империи Александр Михайлович Горчаков, архитекторы Андрей Иванович Штакеншнейдер и Алексей Максимович Горностаев. А еще Юсуповы, Зубовы, Кочубеи, Голицыны, Кушелевы...

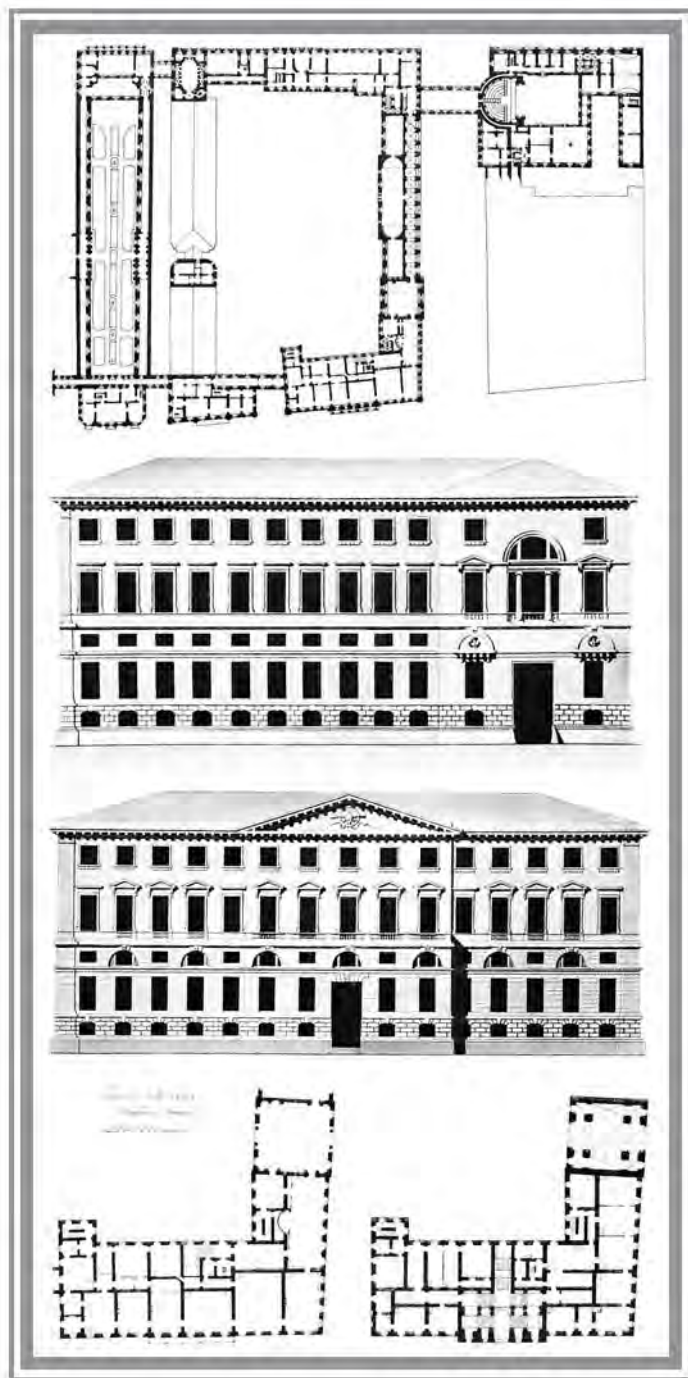
Отступление о жильцах и посетителях Шепелевского дома

Следующая утрата — Шепелевский дом. Проектировал его Растрелли в 40-х годах XVIII века для Дмитрия Андреевича Шепелева. Был тот близок к Петру I, участвовал во второй его зарубежной поездке, удостоился особого доверия императорской семьи. Петр женил Шепелева на дочери пастора Глюка, в семье которого выросла будущая императрица Екатерина I. С тех пор карьера Дмитрия Андреевича пошла в гору: при Елизавете Петровне стал он уже обер-гофмаршалом двора. К тому же императрица поручила ему руководить строительством Зимнего дворца: Растрелли пришлось долгие годы работать с Шепелевым рука об руку. Отношения у них сложились добрые, хотя до нас через века и дошли слухи, что был гофмаршал человеком грубым и нетерпимым.

В конце правления Екатерины II Шепелевский дом был перестроен архитектором Старовым: изменен фасад, перепланированы почти все помещения, надстроен четвертый этаж. А в 1839 году почти столетнюю постройку снесли, чтобы выстроить здание первого публичного музея России, Нового Эрмитажа. Еще одна утрата... Но Новый Эрмитаж с его атлантами стал не только одним из выдающихся сооружений Николаевской эпохи, на шедевры не бедной, но и символом города (пусть тоже только «одним из»). Так что об этой утрате, наверное, можно вспоминать не с болью, а всего лишь с печалью.

Но не так все просто. Шепелевский дом (в первоначальном своем виде) — не просто шедевр Растрелли. С ним связаны судьбы многих, кто сыграл в отечественной истории роли далеко не второстепенные.

«Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу, как теперь, всю до мельчайшей мебели и вещицы», — с тоской вспоминает Гоголь комнату, где бывал многократно, где



Проект постройки Шепелевского дома

всегда встречал понимание и поддержку (то, чего ему всю жизнь так недоставало).

А это — из письма Сашеньки Воейковой будущему хозяину квартиры: «Комнат у тебя четыре, в анфиладе, из коих одна огромная, с прелестным камином, потом две сбоку, потом одна сбоку — с русской печью... прехорошенькие диваны и кресла... все чисто и весело, только ужасно высоко». Эта комната — огромная, с прелестным камином — та самая, которую вспоминает Гоголь. В ней, вернувшись из-за границы, Василий Андреевич Жуковский устроил гостиную и кабинет. Он полюбил Шепелевский дом, правда, говорил иногда своей соседке: «Только жаль, что мы живем так высоко, мы чердашничаем».

Соседка у него была замечательная — фрейлина императрицы Александра Иосифовна Россет. Дело, конечно, не в том, что фрейлина, а в том, что красавица и умница. Недаром Белинский писал о ней: «Свет не убил в ней ни ума, ни души». У Александры Осиповны постоянно бывали Пушкин, Гоголь, Белинский и, конечно же, сосед Жуковский. А у него? Доверимся воспоминаниям соседки (соседи обычно все про всех знают): «С утра на этой лестнице толпились нищие, бедные и просители всякого рода и звания. Он не умел никому отказать, баловал своих просителей, не раз был обманут, но его щедрость и сердоболшие никогда не истощались».

Были и другие посетители. По субботам, когда Жуковский бывал свободен от занятий со своим августейшим воспитанником (наследником престола, будущим царем-освободителем), к нему приходили друзья (Вяземский называл квартиру «олимпийским чердаком»). Это и правда был русский Олимп: Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Крылов, Карамзин, Одоевский, Глинка, Брюллов, Венецианов и многие еще — те, кто был допущен к богам российской культуры. Здесь Пушкин впервые читал «Полтаву» и «Бориса Годунова», Гоголь — «Нос» и «Ревизора», Мицкевич — вступление к «Конраду Валленроду». Здесь Грибоедов рассказывал о Туркменчайском договоре. Здесь обсуждали либретто «Ивана Сусанина»

Глинки. Какой потрясающий музей, аккумулировавший ауру гениальности, мог бы быть в этой квартире!

Жуковский покинул Шепелевский дом в 1839 году, когда наследник престола уже перестал нуждаться в воспитателе. И в это самое время Николай I вел переговоры с баварским архитектором Лео фон Кленце о строительстве Нового Эрмитажа, а значит — и о сносе Шепелевского дома.

Василий Андреевич был последним из знаменитых обитателей обреченного дома, но отнюдь не единственным. Когда в Петербург по приглашению Екатерины Великой прибыла тринадцатилетняя принцесса Луиза Баденская, невеста любимого внука российской государыни, ее поселили именно в этом доме. В день приезда в Россию она писала: «...доехали до Шепелевского дворца... Я бегом пошла по большой, ярко освещенной лестнице... Проследуя, не останавливаясь, все покои, прихожу в спальную комнату с мебелью, обитой темно-красным атласом. Вижу в ней двух женщин и мужчину и быстрее молнии соображаю: “Я в Петербурге у императрицы; явно, что она меня принимает, стало быть, она тут”. И я подошла поцеловать руку той, которая показалась мне более схожей с теми портретами, которые мне были известны... Императрица сказала, что она очень рада со мной познакомиться... Поговорив немного, она ушла, а я, пока не легла спать, чувствовала себя окруженной каким-то волшебством».

Может быть, именно месяцы, прожитые в этом доме, были самыми счастливыми за все двадцать четыре года ее жизни в России. Екатерина умна, великодушна, ласкова. У жениха лицо просто ангельское. А что молчит, дичится, так она и сама едва решается слово вымолвить — смущается. Но это ведь не мешает окружающим восхищаться ею, маленькой Баденской принцессой. Искренняя, открытая, она верила в искренность других. Потом все поняла, узнала цену всему. Но это было уже после Шепелевского дома. Может быть, потому он и остался в ее сердце уголком счастья и покоя. Баденская принцесса Луиза — российская императрица Елизавета Алексеевна — до разрушения своего любимого дворца не дожила.

Не дожил и другой его царственный обитатель, великий князь Константин Павлович. Он прожил в Шепелевском доме недолго. По прихоти отца. Тот поселил в Мраморном дворце, подаренном Екатериной внуку Косте, бывшего любовника государыни, польского короля (тоже бывшего) Станислава Понятовского. Строила она дворец для Григория Орлова, того самого, что сменил Понятовского в ее сердце и постели. Можно представить, каково было свергнутому, фактически бездомному польскому королю жить в доме, который его любимая подарила счастливому сопернику. Такая вот изоциренная форма мести. Вполне в духе Павла Петровича. Прожил Понятовский в Петербурге недолго. Похоронили его в крипте костела святой Екатерины на Невском (почти полтора века спустя останки перевезут в Варшаву и упокоят в костеле святого Яна).

А тогда, в году 1798-м, великий князь Константин Павлович вместе с молодой женой возвращается в свой Мраморный дворец, но Шепелевский дом еще какое-то время продолжают называть Константиновским дворцом.

В 1819 году наступает новая эпоха в жизни дворца. В следующие девять лет по его широкой лестнице на второй этаж будет подниматься весь цвет русской армии — ее полководцы, герои войны 1812 года. Триста тридцать два портрета напишет за это время в огромном двухсветном зале Шепелевского дома, отведенном по распоряжению Александра I под его мастерскую, английский живописец Джордж Доу.

Сохранилась гравюра Райта и Беннета по рисунку Мартынова, на которой изображена эта мастерская, от пола до потолка заставленная и завешанная портретами. Посреди мастерской стоит ее хозяин, почтительным поклоном приветствует гостя. Гость — сам государь Александр I.

Русский император встретил художника во время Аахенского конгресса, на котором победители Наполеона

утверждали новые границы Европы. Там, в Аахене, он случайно зашел в комнату, где незнакомый ему художник писал портрет Петра Михайловича Волконского. Александр был восхищен: с какой быстротой и легкостью появляется на холсте лицо, какое поразительное сходство, как уловил художник совсем не простой характер генерала! Этой случайной встрече мы обязаны появлением Галереи 1812 года, которая сохранила для многих поколений лица спасителей Отечества.

Петербургские художники поначалу встретили иностранного портретиста в штыки. Обида понятна: почему русских героев должен писать иноземец?! Но мастерство Доу, его поразительная способность мгновенно схватывать



Галерея героев войны 1812 года

главное в характере портретируемого, его искреннее восхищение героями, в конце концов примирило с ним коллег. Особенное уважение вызывало его отношение к работе над портретами погибших или умерших уже после войны. Он искал любые сохранившиеся изображения, подолгу беседовал с родными, с сослуживцами, делал наброски, исправлял, пока не добивался абсолютного сходства. Особенно долго работал над портретом покойного генерал-фельдмаршала Баркляя-де-Толли. Этот портрет все считали шедевром. Михаил Богданович на нем — живой.

На торжественном открытии Галереи, ставшем триумфом живописца, Пушкин не был: его еще не вернули из ссылки. Но потом...

Он признавался, что именно Доу помог ему до конца оценить и решающую роль Баркляя в победе над завоевателями, и глубочайшую трагедию полководца.

Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу...
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой...
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой...

Пушкин написал это стихотворение в альбом великой княгини Елены Павловны. Прочитав, она, человек, как немногие, умеющий скрывать свои чувства, не смогла сдержать слез. Ведь слова «все в жертву ты принес земле тебе чужой» — и о ней...

Они — о многих. И, конечно же, о Франческо Бартоломео Растрелли.

Что сделал он для «земли ему чужой» — очевидно. Правда, очевидно и то, что русская земля не была чужой для сына флорентийца и римлянки, родившегося в Париже, как не была она чужой для шотландца Баркляя, для немецкой принцессы Фредерики Шарлотты Марии (российской великой княгини Елены Павловны) и многих, многих других. Доказательство тому — их дела на благо своего нового Отечества.

Что же до жертв... Эпидемия холеры унесла двух обожаемых детей Растрелли, наследника имени и титула Иосифа Якова и малышку Элеонору, еще не умевшую ходить. Еще двое его детей погибли во время эпидемии оспы. Это случилось задолго до того, как взошедшая на престол Екатерина II совершила мужественный поступок, казавшийся современникам безумным: привила оспу себе и сыну и тем самым доказала, что оспа — не приговор.

Растрелли не дали достроить собор — самое полное воплощение его гения, его светлой души. В последние годы жизни его вообще отлучили от работы. О странствиях и мытарствах последних лет писать не буду — все-таки это книга не о Растрелли. Расскажу только о последней утрате.

Вот две фразы из текста, написанного блестящими знатоками архитектуры, сотрудниками Эрмитажа Ю. Денисовым, Н. Силинской и В. Грибановым в 2000 году в связи с трехсотлетием Франческо Бартоломео Растрелли: «Скончался Растрелли, как можно предположить, в апреле того же 1771 года, так как 29 апреля последовал Указ о выплате пенсии зятю умершего архитектора Растрелли Бертолиати. Могила зодчего неизвестна».

Вот она, благодарность потомков...

Правда, существуют как минимум три версии утраты могилы. По одной из них могила уничтожена в 30-х годах XX века, когда большевики старательно изгоняли из памяти народа деяния не только Романовых, но и всех, кто был к ним близок. Но к Растрелли это относиться никак не может, хотя числился он придворным архитектором и был любимцем двух императриц, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Но ведь именно боль-

шевики в 1923 году переименовали площадь перед Смольным собором, назвав ее площадью Растрелли (до этого она была Екатерининской). Якобы похоронен он был на **кладбище у Сампсониевского собора**, которое сравняли с землей и устроили на его месте сад имени Карла Маркса с танцплощадкой и аттракционами.

С одной стороны, правда — на могилах действительно устроили сад с танцплощадкой. Сейчас он уже не носит имя основоположника научного коммунизма, но там точно так же, как и раньше, гуляют мамы с детишками, пьют пиво молодежь, играют на гитарах подростки. И никто не задумывается, что у них под ногами — кости соотечественников, честно и самоотверженно служивших России.

На этом кладбище хоронили солдат, инвалидов петровских войн (деревянная церковь, а потом и прекрасный каменный собор, доживший до наших дней, были поставлены в честь победы под Полтавой); потом начали хоронить иноверцев — лютеран, католиков. Здесь нашли упокоение архитекторы Доменико Трезини, Андреас Шлютер, Жан-Батист Леблон, Георг Иоганн Маттарнови, живописцы Луи Каравак и Стефано Торелли, медик Лаврентий Блюментрост.

Опасаясь, что не все эти имена знакомы читателям, я скажу о каждом хотя бы несколько слов, хотя все они достойны рассказов подробнейших и почтительнейших. Имя Доменико Трезини, думаю, знают все. Он был первым зодчим Петербурга. Великим зодчим. Петропавловский собор, Петровские ворота крепости, Двенадцать коллегий, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры, Летний дворец Петра, Сампсониевский собор, рядом с которым его похоронили, — все это творения любимца Петра Великого Доменико Трезини. И еще многое, что до нас не дошло.

Из построек Шлютера, которого современники называли северным Микеланджело, сохранился только Монплеизр.

Леблон был автором первого генерального плана Петербурга (1717 год), проектировал образцовые дома для жителей столицы разных сословий и состояний, много работал в Петергофе и Стрельне.

Маттарнови участвовал в постройке Кунсткамеры, Меншиковского дворца и Летнего дворца Петра в Летнем саду.

Каравак писал портреты Петра I, Екатерины I и их детей, потом был придворным художником Елизаветы Петровны; плафоны его работы украшали ее Летний и Зимний дворцы.

Кисти Торелли принадлежат великолепные парадные портреты Екатерины II, плафоны в Зимнем и Мраморном дворцах.

Блюментрост был лейб-медиком Петра и первым президентом Петербургской Академии наук.

В общем, ясно, чьи могилы благодарные потомки сравнивали с землей. Но Франческо Бартоломео Растрелли среди похороненных на уничтоженном кладбище не было.

Я это знаю абсолютно достоверно от дочери последнего настоятеля собора, отца Василия Петропавловского (он был арестован в начале тридцатых и погиб в лагере под Владивостоком). Был он человеком блестяще образованным, знал историю, почитал людей, служивших России. Потомков у большинства похороненных на кладбище не осталось, так что ухаживал за могилами сам отец Василий и его семья, помогали и прихожане. Старшая дочь Надежда всегда убирала могилы, сажала цветы вместе с отцом. Он ей рассказывал все, что знал, о каждом, кто был похоронен рядом с храмом. На одной могиле всегда почему-то сажали только белые цветы. Вряд ли отец Василий мог знать, какие цветы любил лежащий там человек, ведь погребен он был в 1744 году, но ему почему-то казалось... Он восхищался работами этого человека, особенно памятником Петру у Михайловского замка и «восковой персоной», с благоговением поминал его сына. Фамилия покойного была Растрелли, но звали его не Франческо Бартоломео, а Карло Бартоломео, и был он отцом великого зодчего.

Вторая версия гласит, что похоронен Растрелли-младший в латвийском городке Елгаве, что могила его заброшена, но разыскать ее можно. Допускаю. Но проверить, к сожалению, не сумела. Однако точно известно, что довольно долго уволенный в Петербурге от дел архитектор прожил в Елгаве (тогда — Митава), столице герцогства Курляндского, при дворе вернувшегося из ссылки Бирона. Когда-то заказ Бирона на строительство дворца в Рун-

дале был первой самостоятельной, без отцовской опеки, работой молодого архитектора. Дворец герцога и православная церковь в Елгаве стали его последними работами... И единственными — за пределами России. Собственно, Курляндия не была за границей и во времена Растрелли, и в куда более близкие к нам времена. Но все же — Европа. Во всяком случае, сами жители Курляндии считали себя европейцами. А уж что думала на этот счет Европа...

По третьей версии, Растрелли доживал свой век и умер именно в Европе — в Швейцарии, в Локарно. Потомки как-то растворились во времени и пространстве, ухаживать за могилой стало некому. А швейцарцы... Кто такой для них Растрелли?

Сведения о постройках Растрелли до Европы (и до Швейцарии в том числе) просто не дошли. Вернее, дошли с некоторым опозданием — через двести пятьдесят лет. Произошло это, в общем-то, случайно. Знаменитая итальянская автомобильная фирма «Фиат» праздновала в канун нового века свое столетие и в честь этого события открыла в Турине грандиозную выставку «Барокко Европы».

Россия привезла в столицу Пьемонта макет Смольного монастыря. Организаторы выставки были потрясены (и это итальянцы, чья архитектура, по общему признанию, не имеет равных в мире). Макет стал главным экспонатом выставки, его изображение поместили на афишу и обложку каталога. Посетители получили возможность сравнить работы архитекторов эпохи барокко из всех европейских стран. Выставка объехала многие столицы мира, и везде Растрелли называли несравненным, неповторимым, недосыгаемым.

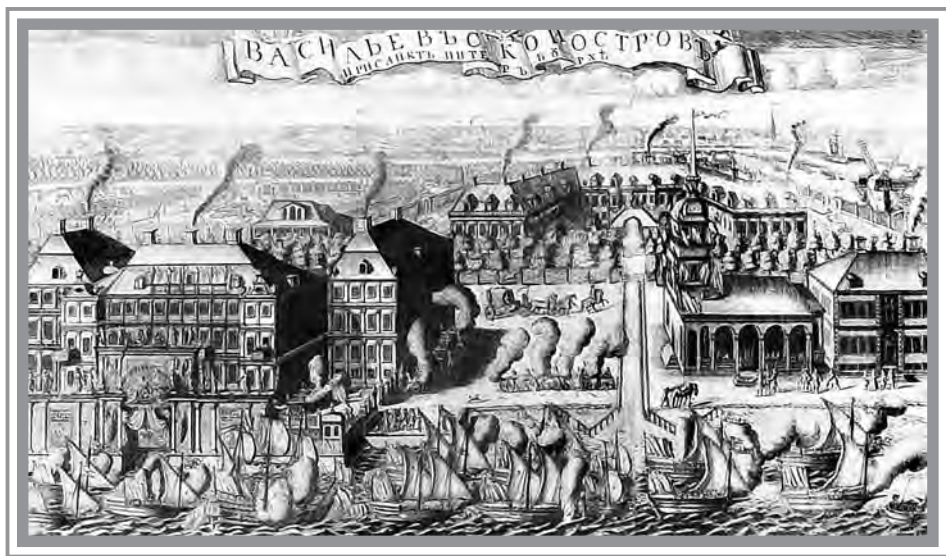
Прошло триста лет со дня его рождения, и, наконец, он завоевал европейскую славу. Мечтал ли о ней? Кто знает...

СТРАНИЦЕЙ ГОГОЛЯ ЛОЖИТСЯ НЕВСКИЙ...



«**Н**ет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все... Всемогущий Невский проспект!» Это Николай Васильевич Гоголь написал. В 1834 году.

Как раз к тому времени и сложился облик проспекта. Почти окончательно (об этом «почти» — дальше). И уже успел познать утраты. О двух из них, Летнем дворце Елизаветы Петровны и церкви Рождества Богородицы, чаще именовавшейся Казанской, я уже писала. Не все современники соглашались с автором прославленного «Невского проспекта». Не все согласятся и сегодня. Для кого-то нет ничего лучше набережных Невы, или Дворцовой площади, или ансамблей Росси. Но что Невский — одно из самых прекрасных мест в Петербурге, в этом отказать ему невозможно. Мы давно (еще до Гоголя) привыкли считать: Невский — главная улица города.



Васильевский остров. Гравюра Зубова

Но я знаю одного человека, который с таким утверждением едва ли согласился бы. Более того, мог бы и разгневаться. А в гневе он, рассказывали, бывал страшен. Я имею в виду основателя города, государя Петра Алексеевича.

Он ведь как замышлял? Центру города, **Его** города, быть на Васильевском и Березовом (Городовом) островах. И едва ли мог предполагать, что кто-то или что-то помешает его замыслу воплотиться. В определенном смысле он сам и помешал: начал застраивать левый берег Невы, да еще на том берегу и поселился. Ну а за ним, понятно, и другие потянулись...

Однако главное — Адмиралтейство. Оно ведь было и верфью, и крепостью. Правда, как и Петропавловская крепость, ни одного выстрела по врагам не сделало: не сумели шведы подняться так высоко по Неве, не попали под перекрестный огонь двух крепостей, которыми готов был встретить их молодой город. Но своих-то людей Адмиралтейство к себе притягивало. И моряки рядом селились, и рыбаки, и корабли. А где рабочий люд, там и торговцы, так что вскоре не только на Троицкой площади торговали съестным, но и рядом с Адмиралтейством.

А прямую, как стрела, перспективу, которая, в конце концов, спутала планы императора, не кто-нибудь самовольно проложил — начертал он сам, Петр Великий. Она должна была соединить кратчайшим путем два жизненно важных для города сооружения: Адмиралтейство, где должно было построить могучий российский флот, и монастырь, который поставили во имя небесного покровителя столицы святого благоверного князя Александра Невского.

Не все, наверное, знают, что Петр сам выбрал покровителя своей столице. Почему именно его? Существует мнение, будто потому, что родился с Александром Ярославичем в один день. Только думаю, мотивы у него были куда серьезней. Его привлекала личность новгородского князя. Ведь летописец рассказывал: «Глас его якы труба в народе, и лице его акы лице Есифа (Иосифа Прекрасного. — *И. С.*)... сила бе его часть от силы Самсоня; дал бе ему Бог премудрость Соломоню, и храбрьство же акы цесаря Римскаго Еуспасьяна, иже бе пленил всю Подъиюдейскую землю... Также и сий князь Олександр бе побежая, а не победим». Вполне понятно, что был он для Петра образцом, может быть, даже идеалом. Ну, а кроме того, общий у них враг — шведы. Их Александр побеждал. Покровительством своим и ему, Петру, поможет.



Невская просека



Вид Адмиралтейства и Дворцовой площади во время шествия слонов

Только в одном ошибся Петр Алексеевич: был уверен, что именно там, где поставил обитель, куда повелел перенести мощи святого, победил Александр Ярославич шведских захватчиков. Поздно узнал, что Невская битва была в другом месте, в устье реки Ижоры, а не Черной речки, на которой строят монастырь (Черной тогда называли речку, которая уже давно зовется Монастыркой). Там бы и надлежало стоять обители. Но стройка уже шла — менять место было поздно. Да и слишком далеко Усть-Ижора от столицы, на пятьдесят верст выше по Неве. Так что монастырь продолжали строить на прежнем месте. Но и Усть-Ижора, где на самом деле разбил князь Александр воинство ярла Биргера, не осталась забытой. Именно там коленопреклоненный Петр встречал мощи святого на их пути из Владимира в Петербург. Там государь повелел: «На сем месте, при устье реки Ижоры святой Александр Ярославич, великий князь российский, одержал над шведами победу», там и поставить церковь во имя спасителя Отечества.

Так вот, Александро-Невская обитель и Адмиралтейство отстояли на примерно равные расстояния от Новгородского тракта, а он единственный связывал территорию, которая только еще станови-

лась городом, с остальной Россией (сейчас на месте того тракта Лиговский проспект). Так что просеку Петр повелел рубщикам вести навстречу друг другу, чтобы, когда сойдутся, открылся бы вид от Адмиралтейства на монастырь, от монастыря — на Адмиралтейство.

Задумано было красиво. Но... не получилось. Не удалось выйти к Новгородской дороге в одной точке. Всего-то на несколько метров ошиблись.

Вот, вопреки замыслу императора, и делает бывшая просека, а нынешний Невский проспект, поворот. Он-то и не дает увидеть от Адмиралтейства Александро-Невскую обитель. Потому и стали, хоть и неофициально, делить проспект на два — Невский (от Адмиралтейства до Знаменской площади — правда, тогда ни самой площади, ни имени не было, был просто поворот) и Старо-Невский (от поворота до Александро-Невского монастыря). Обе части прямые, стройные, но друг на друга совсем не похожи, хотя нумерация домов у них единая, и официальное название одно — Невский проспект.

Но общее имя — еще не значит общая судьба. В истории города Невский — главный герой, Старо-Невский — вполне второстепенный. И дело не только в том, что Невский весь, целиком (местами даже далекий от безупречности, хотя в большей своей части совершенный) — архитектурный шедевр. На Старо-Невском — ни

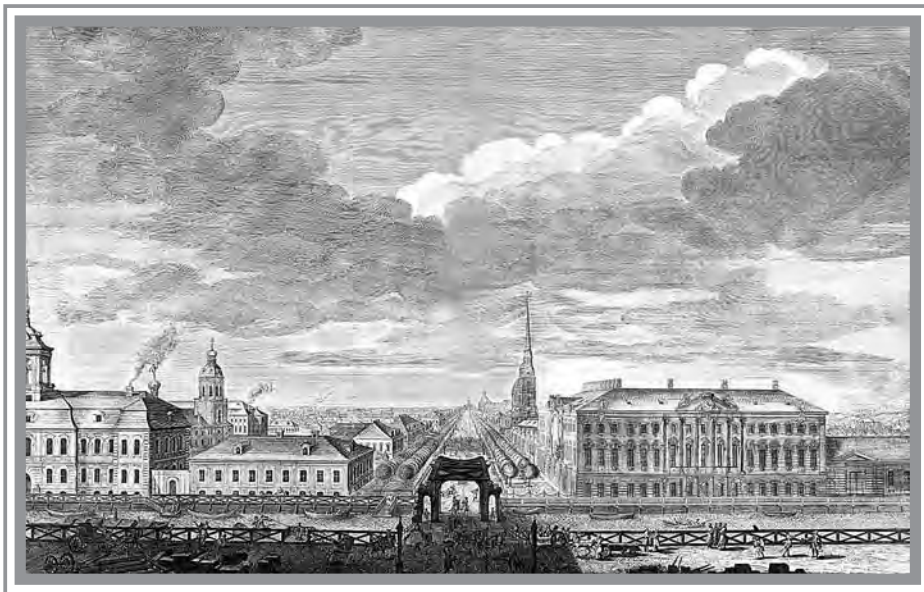


Александро-Невская лавра

одного архитектурного шедевра. Это не делает его менее респектабельным, и все же он достаточно зауряден. Дело в другом: именно на Невском проспекте все (за редким исключением) великие люди России — писатели, художники, музыканты, политики, ученые — жили подолгу или останавливались проездом, работали или навещали друзей. И не оставляет чувство, будто каждый из них оставил здесь свой след, свое легкое дыхание. Такую концентрацию таланта, ума, творческой энергии вряд ли можно найти где-нибудь еще, по крайней мере, в России.

Аура гениальности до сих пор витает над Невским проспектом... Трагических утрат архитектурных шедевров на главном проспекте города на удивление немного. О двух я уже рассказала, о третьей, Знаменской церкви, речь впереди. Перестройки, снос одних и сооружение других домов Невский не миновали. Но были они вызваны просто течением времени, а не жадной разрушения и самоутверждения. На Невском другие утраты.

Вот дом на углу Большой Морской, известный как **дом Чичерина** (в советское время здесь был кинотеатр «Баррикада»). Генерал-полицмейстер Петербурга Чичерин получил этот завидный уча-



Невская перспектива



Дом Чичерина

сток от Екатерины II после того, как разобрали Зимний дворец Елизаветы Петровны. Императрица так щедро одарила не блиставшего талантами Николая Ивановича за то, что в свое время тот всячески поддерживал Григория и Федора Орловых, служивших в роте Измайловского полка, которой командовал его родной брат Денис Иванович Чичерин (он тоже не был обойден благодарностью — стал губернатором Сибири). Назначить-то Екатерина Чичерина на высокий пост назначила, но бездарного руководства полицией, особенно в дни страшного сентябрьского наводнения 1777 года, даже из благодарности терпеть не пожелала. Правда, уволенный полицмейстер успел построить себе великолепный дом. Сам он занимал парадные покои на третьем этаже, квартиры второго сдавал внаем, а первый этаж — в аренду.

Имя и дела полицейского начальника вполне заслуженно забыты, а дом сохранился и продолжает украшать Невский проспект. Но это только кажется...

После того как дом снова, почти век спустя, оказался частной собственностью, новый владелец, сохранив (и на том спасибо!) фа-

сад, перестроил все внутри. И исчезло то, что создавало атмосферу совершенно особую, будоражило память и воображение. Дело в том, что именно в этом доме располагался поначалу знаменитый Английский клуб, один из центров общественной и политической жизни столицы (потом он неоднократно менял адреса, арендовал помещения на Малой Морской, 17, на набережной Мойки, 54, 58, 64, пока не обзавелся собственным домом на Дворцовой набережной, 16). Открыт Английский клуб был по личному соизволению императрицы Екатерины (интересно бы узнать, как она относилась к тому, что женщин в это элитное «собрание приятных собеседников» не допускали?). Стать членом клуба считалось особой честью. Принимали только по рекомендации и после тайного голосования. Тот, кому отказали, в глазах света был навсегда опозорен. Так случилось, к примеру, с Булгариным.

А вот Пушкина приняли единогласно.

То, что в доме № 15 бывали члены Английского клуба Багратион, Ермолов, Милорадович, Горчаков, Сперанский, Чаадаев, Баратынский, Жуковский, Карамзин, Крылов, тоже интересно. И будет интересно всегда. Вряд ли можно упрекать нового владельца дома в том, что уничтожил память о них. Такое ему вряд ли по силам. Более того, не уверена, что ему хоть что-то говорят все эти имена. Но дело в том, что старые стены помнили. Или это всего лишь романтическая иллюзия? А память способны хранить только люди? В сердцах. Но все же, все же, все же...

Все же уверена — стены помнят. Очень давно, студенткой первого или второго курса, в середине дня я оказалась в Эрмитаже (регулярно сбегала туда с неинтересных лекций, как когда-то из школы сбегала в кино). Знала Эрмитаж еще не слишком хорошо и вместо того, чтобы решительно, как уже успела привыкнуть, пройти к своему обожаемому Тициану, оказалась в комнате ослепительной красоты. Гранатово-красное прихотливо контрастировало и одновременно неразделимо сочеталось с белым и золотым, сверкало, переливалось, отражаясь в зеркалах, — создавало атмосферу вечного праздника, торжества. Но почему-то вдруг стало тяжело на душе... Я прошла в соседнюю комнату. Там покрытые нежным изысканным резным орнаментом стены ослепляли золотым сиянием. Золотая гостиная. А та, первая комната — будуар. Покои импе-

ратрицы Марии Александровны, жены Александра II. Находиться там было невыносимо. Казалось, сами стены источают боль.

Потом, когда я узнала, какие страдания выпали на долю этой женщины, с каким достоинством она переживала трагедию, способную свести с ума, я поняла: стены действительно способны хранить энергию сильных страстей. Если бы, оказавшись там впервые, знала о судьбе хозяйки этих дивных комнат, можно было бы объяснить мое состояние игрой воображения. Но ведь не знала. Ведь этот поток тоски и отчаяния был сначала. И только потом — знание...

Посетители и жильцы дома № 15 по Невскому тоже страдали и радовались, отчаивались и надеялись, ссорились и доказывали способность к дружбе и самопожертвованию — жили. Энергию их чувств, их поступков, их помыслов, верю, хранили разрушенные по прихоти нового владельца стены. Все-таки это не иллюзия. Не этим ли объясняется магия воздействия мемориальных музеев? Ее-то уж наверняка испытал каждый. Про себя я давно уже называю дом Чичерина домом с привидениями.

У Чичерина его купит генерал-прокурор князь Алексей Борисович Куракин, потом он будет еще неоднократно менять хозяев, последними собственниками станут небезызвестные братья Елисеевы, чье имя сохранилось в памяти старожилов благодаря принадлежавшему им роскошному магазину на Невском, 56 (о нем речь впереди).

А пока — о князе Куракине и его прославленном протезе.

Отступление о князьях Куракиных

Род Куракиных — один из самых древних боярских родов России. Происходят Куракины от Великого князя Литовского Гедимина. Его потомки сначала были приглашены в Великий Новгород, потом при великом князе Василии Дмитриевиче перешли на службу в Москву. От них и пошли княжеские роды Хованских, Щенятьевых, Голицыных и Куракиных. Московские государи Куракиным благоволили и доверяли. Один из князей даже управлял Москвой в отсутствие Ивана Грозного. Другой оборо-

нял Москву от набегов крымского хана. А Борис Иванович Куракин был свояком Петра I (оба были женаты на сестрах Лопухиных). Даже разрыв и вражда с первой женой не отвратили императора от Бориса Ивановича — ценил его дипломатический талант и порядочность. И в самом деле был князь Куракин одним из образованнейших людей своего времени, пользовался уважением не только в России. Ему удалось оказать бесценную услугу Отечеству и государю, удержав Англию от нападения на Данию, союзницу Петра. Если бы разразилась англо-датская кампания, в которой неизбежно пришлось бы участвовать и России, Северная война могла продлиться еще непредсказуемо долго, а это — кровь русских солдат...

Но то дальние предки человека, о котором мне предстоит рассказать. Родителями же его были гофмейстер двора князь Борис Александрович и княгиня Елена Степановна, урожденная Апраксина, дочь того самого злополучного генерал-фельдмаршала, о скоропостижной смерти которого в Подзорном дворце я уже рассказывала. Имел Алексей Борисович и старшего брата Александра, во многом определившего судьбу младшего. Братья Куракины рано лишились родителей, и судьба распорядилась так, что Александр стал товарищем детских игр, а потом и ближайшим другом будущего императора Павла. Настолько близким, что после смерти Александра Борисовича давно уже вдовствующая императрица Мария Федоровна, распорядившись похоронить его в церкви в своем любимом Павловске, поставила памятник с лаконичной надписью: «Другу супруга Моего».

Но до этого еще далеко. Куракина отправляют учиться в Лейден, славившийся своими выдающимися профессорами и весьма эффективными методами обучения. В Лейдене в конце XVIII века сложилась целая колония молодых русских аристократов, с большим или меньшим старанием изучавших математику, латинский язык, философию, физику, историю, право, логику, этику, французский, немецкий и итальянский языки, танцы, фехтование. Лейденские выпускники были отлично подготов-

лены не только к светской жизни, но и к государственной службе. Уже будучи вице-канцлером Российской империи, Александр Борисович признавал, что учеба в Лейдене помогла ему стать «просвещенным гражданином, полезным для своего Отечества». Не случайно он настоял, чтобы младший брат тоже прошел обучение у тех же профессоров, что недавно учили его самого. Младшему, Алексею, наука тоже пошла на пользу. Но сначала — о старшем.



А. Б. Куракин

Со своим августейшим другом князь Александр неразлучен. Поддерживает его, помогает пережить смерть первой жены, Натальи Алексеевны, сопровождает в поездке в Берлин ко двору Фридриха II для знакомства с новой невестой, благосклонность и полное доверие которой ему удастся завоевать буквально с первого дня (и сохранить навсегда). Сопровождает он наследника с супругой и в путешествии по Европе (под именем графов Северных).

Особенное впечатление на молодого князя произвела французская королева Мария-Антуанетта, которая радушно принимала русских гостей. Забегая несколько вперед, расскажу, что, вынужденно оказавшись в своем саратовском имении, он с тоской вспоминал эту прекрасную женщину, к тому времени уже давно обезглавленную. Филипп Филиппович Вигель, известный мемуарист, которому мы обязаны подробнейшими воспоминаниями о людях и обстоятельствах конца XVIII — начала XIX века в своих «Записках» рассказал о жизни князя Куракина в годы ссылки: «Он наслаждался и мучился воспоминаниями Трианона и Марии-Антуанетты, посвятил ей деревянный храм и назвал ее именем длинную, ведущую к нему аллею».

А оказался Александр Борисович в своем имении Куракино, которое, надеясь вернуться в Петербург, переименовал в Надеждино, в общем-то, по недоразумению: его неосторожный ответ на письмо сторонника Павла и противника Екатерины попал в руки императрицы. Она была возмущена. Оправдаться не удалось.

Екатерина Великая скончалась 6 ноября 1796 года. И в тот же день (!) Павел распорядился вернуть друга в Петербург, назначил его вице-канцлером Российской империи.

Преданность Куракина-старшего (как, впрочем, и его младшего брата) другу юности не подлежит сомнению. По воспоминаниям современников, «изображения Павла Петровича находились у него во всех комнатах». И это не было показным изъявлением преданности, это было преданностью искренней. Именно поэтому Александр Борисович тяжело переживал утрату дружбы императора Павла, ставшую результатом интриг Федора Васильевича Раstopчина, своего давнего и неизменного недоброжелателя и соперника в борьбе за доверие Павла Петровича. Куракин был лишен звания вице-канцлера и выслан из столицы.

Любопытно, что опала, постигшая старшего брата, не коснулась младшего, хотя его быстрое восхождение

по чиновной лестнице было, безусловно, предопределено дружбой старшего брата с наследником престола, а потом императором. К тому же торжество Раstopчина оказалось недолгим. Меньше чем через три года его уволили со всех должностей, Куракина же вернули в Петербург, и он снова занял пост вице-канцлера. Кроме того, как сказали бы сегодня, «в порядке возмещения морального ущерба» получил он орден Андрея Первозванного и сто пятьдесят тысяч рублей на уплату образовавшихся долгов.

Вечером 11 марта 1801 года Александр Борисович Куракин был среди тех, кто ужинал в Михайловском замке вместе с императором Павлом. В последний раз...

Новый государь поручил Александру Борисовичу, как человеку, самому близкому к покойному отцу, разобрать бумаги Павла Петровича. При вскрытии завещания обнаружилось, что князю Куракину завещан орден Черного Орла, особенно дорогой Павлу потому, что его носил сам Фридрих II, и шпага, принадлежавшая графу д'Артуа (речь идет о графе д'Артуа, который, покинув Францию после казни Людовика XVI в 1793 году, гостил в Петербурге при дворе Екатерины II. В 1824 году ему предстояло стать королем Франции под именем Карла X, а в 1830-м отречься от престола. А вообще графы д'Артуа — ветвь Капетингов, основанная в первой половине XIII века Робертом I, сыном французского короля Людовика VIII).

Александр I не оставляет Куракиных своим расположением. Доверяет Александру Борисовичу руководство Государственной коллегией иностранных дел, назначает послом в Вене, а потом — в Париже. Там за роскошные наряды русского посла станут называть не иначе как «алмазный князь». На его званые обеды будет собираться «весь Париж» — лучшие не кормят даже в самых богатых домах французской столицы. Более того, князю Куракину удастся изменить веками сложившийся во Франции обычай подавать на стол все блюда одновременно. С его легкой руки будет принят и доживет до наших дней «service a la russe» — русский способ сервировки стола,

когда блюда подают на стол в порядке их перечисления в меню. Но это так, мелочи, украшающие жизнь.

А что до серьезных дел, то именно Куракин подписывает со стороны России Тильзитский мирный договор. Именно он неоднократно предупреждает Александра о неизбежности войны с Наполеоном, о необходимости как можно энергичнее готовиться к этой войне и одновременно не оставлять попыток поладить с Бонапартом. Сам он этих попыток не оставляет до последнего. Когда же становится ясно, что предотвратить войну он не в силах, князь Куракин подает прошение об отставке. Членом Российской Академии и членом Государственного Совета Александр Борисович остается до конца дней. Как и его младший брат, тот самый, который купил у генерал-полицмейстера Чичерина дом № 15 по Невскому проспекту.

Алексей Борисович, конечно же, своей блестящей карьерой обязан старшему брату — вернее, дружбе того с Павлом Петровичем. Но этого было бы недостаточно, если бы не ум, добросовестность и верность долгу.

Все у него складывалось вполне благополучно: звание камер-юнкера получил вполне своевременно, в восемнадцать лет (вспомним, как страдал Пушкин, которого этим званием «облагодетельствовали», когда ему было тридцать четыре года). Вслед за братом Алексей поступил в Лейденский университет, учился с интересом, особенно увлекала его юриспруденция. Федор Федорович Вигель, мемуарист, известный своим безжалостно злым языком, вынужден был отдать должное Куракину-младшему: «Своими юридическими познаниями положительно выделяется среди всех своих сверстников, не исключая и тех, которые прошли такую же, как он, школу в том же самом Лейдене».

Вернувшись в Россию, князь Алексей сделал головокружительную карьеру — дослужился до генерал-прокурора. Впрочем, понятие «дослужиться» подразумевает длительность и усилия. Куракину этого не понадобилось. Достаточно было знаний, деловитости и... брата. Но все воспоминания свидетельствуют, что Алексей

Борисович служил по-настоящему, а не просто числился по своей должности. Не случайно, став императором, Александр I включает его в состав Непременного совещания. В него входили двенадцать человек. Все — представители знати, все молоды, образованны, увлечены либеральными идеями. Собирались эти доверенные люди «для рассуждения о делах государственных». Цель свою видели в том, чтобы «поставить силу и блаженство империи на незыблемом основании закона». Правда, правом законодательства Непременный совет наделен не был, мог только советовать. Вот однажды Алексей Борисович и посоветовал государю издать указ о запрете продавать крестьян без земли. Молодой император был в восторге, но... после длительного и бурного обсуждения дело кончилось запрещением печатать в газетах объявления о продаже людей...

В 1802 году были учреждены министерства и Комитет министров, а Непременный совет распущен за ненадобностью. В 1810 году Александр учредит Государственный Совет (он просуществует до 1917-го). Братья Куракины станут членами этого учреждения — скорее почетного, нежели дееспособного. Но Алексей Борисович успеет послужить и министром внутренних дел, и генерал-губернатором Малороссии. И везде оставит о себе добрую память.

А еще он станет членом Верховного суда над декабристами. Рядом с ним на заседаниях суда будет сидеть человек, всем ему обязанный. Когда станут читать приговор — не сумеет сдержать слез. Имя этого человека Михаил Михайлович Сперанский. Тот самый Сперанский, которого декабристы (разумеется, без его ведома) в случае победы восстания прочили в первые президенты Русской республики. Тот самый скромный молодой учитель из Александров-Невской лавры, которого по воле случая заметил, отличил и надежно устроил на государственную службу генерал-прокурор Куракин. Тот самый сын бедного провинциального священника, которому открыл он дорогу в царский дворец — в большую политику.

Если бы Алексей Борисович Куракин не сделал ничего для страны полезного, а всего лишь «открыл» Сперанского, одно это должно было бы обеспечить ему благодарную память. О Сперанском много писать едва ли стоит: его жизнь, его дела достаточно известны. Расскажу только, как познакомились два человека, чьи пути, казалось бы, не должны были, да просто не могли пересечься. А случилось это в доме, с которого я начала рассказ. Он достаточно просторен даже для вельможи, которому просто не обойтись без нескольких десятков слуг. Так что (исключительно для собственного удобства) генерал-прокурор поселял там же и своих секретарей.

Однажды утром очередной секретарь принес князю письма, которые ему было поручено написать за ночь. Князь прочитал и был поражен: какой стиль, какая ясность, какая убедительность! Ничего подобного его заурядный секретарь написать просто не мог! Но кто? Секретарь не сразу признался (боялся потерять место). Оказалось, что у него заночевал приятель, учитель семинарии при Александро-Невской лавре, они засиделись за полночь, и когда секретарь спохватился, что не выполнил задание начальника, приятель предложил помочь. И помог... Князь тут же вызвал к себе семинарского учителя. Тот держался со спокойным достоинством, без всякого подбострастия. Это подкупало, внушало уважение. Генерал-прокурор решил устроить экзамен: поручил новому знакомцу написать одиннадцать деловых писем, коротко рассказав, кому и о чем. Утром Сперанский письма принес. Были они выше всяких похвал. Князь предложил молодому человеку место в своей канцелярии.

Так началось одно из самых стремительных восхождений в нашей не бедной головокружительными карьерами истории. Куракин привел Сперанского на одно из первых заседаний Непременного совета, и тот сразу стал его сотрудником, причем сотрудником незамеченным. Для пылких молодых аристократов, умеющих прекрасно говорить, эффектно полемизировать, но, увы, не слишком умеющих работать, Сперанский стал

счастливой находкой. Его работоспособность была просто сверхчеловеческой — годами он работал без отдыха по восемнадцать-девятнадцать часов в сутки.

Молодой император скоро оценил достоинства нового сотрудника. Вскоре покровительство князя оказалось Сперанскому больше не нужно. Тем не менее Куракин продолжал следить за судьбой своего протеже, искренне радовался и, что скрывать, гордился, когда узнавал о его успехах на посту статс-секретаря Министерства внутренних дел, когда слышал, что Наполеон назвал Сперанского «единственной светлой головой в России». Хотя и понимал: похвалы Наполеона способны вызвать взрыв зависти у не удостоившихся даже быть замеченными сановников. И оказался прав...

После того как французский император во время переговоров в Тильзите во всеуслышание сказал Александру: «Не угодно ли вам, государь, поменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?»», зависть к Сперанскому превратилась в ненависть, а ненависть «вдохновила» на интриги, которые в результате побудили императора лишить своего любимца всех постов и отправить в ссылку.

Князь не отвернулся от Сперанского, когда того постигла опала. Он же первым приветствовал возвращение своего протеже в столицу и назначение на пост государственного секретаря, самый высокий в то время пост после императора в чиновной иерархии Российской империи. Трудно сказать, сочувствовал ли Куракин планам либеральных преобразований, разработанных Сперанским, разделял ли надежду на создание в стране правового, а значит, конституционного государства. Но что, будучи знатоком права, один из немногих мог бы по достоинству оценить титанический труд Сперанского по составлению «Полного свода законов Российской империи» в сорока пяти томах, по кодификации (систематизации. — И. С.) всех законов, принятых, начиная с царствования Алексея Михайловича, сомнению не подлежит. Наверняка приветствовал бы Алексей Борисович и создание Высшей школы правоведения — генерал-

прокурор сознавал, как необходимы стране грамотные юристы.

Увы, о том, что удалось сделать Сперанскому в последние годы жизни, его покровитель не узнал — он скончался в 1829 году.

Сперанский пережил князя ровно на десять лет. В 1839 году за выдающиеся заслуги перед Отечеством Николай I возвел его в графское достоинство, но графом гениальный сын бедного провинциального священника успел пробыть всего сорок один день...

А в доме, который князь Куракин продал еще в 1800 году, жизнь тем временем идет своим чередой. Там поселяется военный генерал-губернатор Петербурга граф Петр Алексеевич Пален. Поселяется незадолго до того, как совершит поступок, который впишет его имя в историю, — организует заговор против Павла I и станет одним из участников цареубийства. Из этого дома он уедет в ссылку, в свое курляндское имение Гросс-Экау. Навсегда.

Нового государя, для которого фактически освободил трон, граф Пален переживет. И еще успеет услышать о новом заговоре, и о суде над заговорщиками. До приговора не доживет.

Не обошло дом № 15 и одно из главных, как кажется, предназначений Невского проспекта — быть просветителем. В нем, как и в большинстве (!) домов главной улицы российской столицы, нашлось место для типографии и книжной лавки. Здесь, в типографии Адольфа Александровича Плюшара, впервые были напечатаны «Ревизор» Гоголя, «Поездка в Ревель» Бестужева-Марлинского, первый русский перевод «Фауста», семнадцать из намеченных к изданию сорока томов «Энциклопедического лексикона» — первой русской энциклопедии. После выпуска семнадцатого тома семейство Плюшар, к сожалению, разорилось. Судьба среди петербургских издателей и книгопродавцев не исключительная. Такая участь постигала многих, для кого издание и продажа книг были не только и не столько способом заработать деньги, сколько духовной потребностью. Самое яркое подтверждение тому — конец жизни

самого знаменитого российского книготорговца и просветителя, вернее, просветителя и книготорговца, Александра Филипповича Смирдина. Не коснутся финансовые бури, пожалуй, только одного издателя — Маврикия Осиповича Вольфа, которого называли первым русским книжным миллионером, а Николай Семенович Лесков и вовсе возвел в сан царя русской книги.

Если сравнить сегодняшний Невский проспект с тем, каким он был в середине XIX века, бросится в глаза весьма скромное количество книжных магазинов в сегодняшней культурной столице России. Кстати, возможность сравнивать абсолютно объективно мы получили благодаря книгоиздателю и книгопродавцу по фамилии Прево. Именно ему пришла в голову мысль издать панораму Невского проспекта — подробную зарисовку всех без исключения домов по обеим сторонам улицы, своего рода групповой портрет. Эту кропотливую, но невероятно увлекательную работу Прево поручил Василию Семеновичу Садовникову, талантливому акварелисту, уже приобретшему имя, но остававшемуся крепостным княгини Натальи Петровны Голицыной — той, что стала прообразом старой графини в «Пиковой даме». Наталья Петровна нрав имела крутой, но надменна бывала только с равными по положению, а тех, кого почитала ниже себя, покоряла приветливостью. Тем не менее никакие просьбы дать волю одаренному художнику (а просили многие) не смягчали ее сердца. Он стал свободным через несколько дней после ее смерти. Панорама сделала Садовникову имя. Его избрали действительным членом Академии художеств. К нему не раз обращались и Николай I, и Александр II с просьбами нарисовать интерьеры Зимнего дворца.

А «портрет» Невского проспекта, строго реалистический и вместе с тем исполненный мягкого лиризма (сочетание само по себе достаточно редкое), дает возможность сравнивать. Вот, к примеру, дом № 20 — тот, в котором и была задумана панорама, дом Голландской церкви. Он практически не изменился. Только одно отличие: мимо этого дома на панораме Садовникова проходит Пушкин... Бывают утраты, с которыми смириться невозможно. Но чаще всего это — не стены. Это — люди.

Я назвала далеко не всех, кто бывал в том странно притягательном доме № 15. Так что оставляю за собой право, пусть и сомни-

тельное, называть дом Чичерина домом с привидениями. В самом деле стоит только представить, кого видели эти стены, кто поднимался по этим лестницам, кто смотрел в эти окна, чувствуешь себя вовлеченной (пусть как маленькая, едва заметная песчинка) в такой круговорот событий и судеб... Чувствуешь себя свидетелем вечности.

В истории этого дома все вехи петербургской жизни. Как город и главный его проспект из аристократического превращается в капиталистический, так и дом. Переходя из рук в руки, он попадает, в конце концов, к братьям Елисеевым. Вместо Английского клуба и Благородного собрания в доме Чичерина (так его продолжали называть даже после революции) обосновалось Купеческое собрание. Открылись меблированные комнаты Мухиной, комфортабельные и очень дорогие, по карману только заезжим промышленникам и купцам.

Но дом продолжает притягивать знаменитостей. В меблированных комнатах останавливается во время столичных гастролей Собинов. Может себе позволить. Как только поправляются материальные дела Шаляпина, он немедленно переезжает в дом № 15. Там его частенько навещает Куприн.

После октябрьских событий 1917 года Елисеевы покидают Петербург. Разумеется, с надеждой вернуться. Приглядывать за домом остается их старый буфетчик Ефим. Ума не приложу как, но до 1919 года ему удается не впускать в дом новых хозяев жизни. Но осенью двери елисеевского особняка распахиваются перед человеком, которого не впустить невозможно. Имя этого человека — Алексей Максимович Горький. Он ищет помещение для Дома искусств («Диска»), которому надлежит стать островком покоя (конечно, относительного) и благополучия (тоже не абсолютно) для молодых талантливых писателей — будущей литературной элиты новой страны. Дом Чичерина Горького вполне устраивает: мест, причем удобных, хватит всем. Обстановка изысканная. «Диск» станет не только общественным центром, но и общежитием. Писатели будут получать усиленный паек и дрова (город зимой 1919-го замерзал). Горький добился всего, даже казавшегося невозможным. Но иногда дров все-таки не хватало, приходилось топить книгами из великолепной купеческой библиотеки.

О том, что получилось из этой гуманной горьковской затеи, писала в романе «Сумасшедший корабль» Ольга Форш. Но как бы там ни было, Дом искусств многим помог. Кому-то — просто выжить. Кому-то — серьезно работать. В этом доме нашли приют Осип Мандельштам, Мариэтта Шагинян, Виктор Шкловский. Немного позднее к ним присоединились «Серапионовы братья»: Михаил Слонимский, Константин Федин, Николай Тихонов, Михаил Зощенко, Всеволод Иванов, Вениамин Каверин. Александр Грин написал в Доме искусств маленькую, немудреную повесть «Алые паруса», и она обессмертила его имя. Михаил Зощенко именно обитателям дома, волнуясь, прочитал свой первый рассказ; Владимир Маяковский читал «150 000 000». Читал больше двух часов. Впервые. «Аплодисменты были сумасшедшие», — записал в дневнике Корней Чуковский. Приезжали к молодым литераторам Блок и Кони, не раз заходил Горький. Обстановка была неофициальная. Много спорили. Не очень-то слушали друг друга. А если и слушали, то далеко не всегда слышали...

Через десять лет после того, как началась новая жизнь, в доме № 15 открыли кинотеатр. Назвали трогательно, не без сентиментальности: «Светлая лента». Кино тогда было немым. Сопровождала демонстрацию фильмов неприятная музыка в исполнении более или менее профессиональных пианистов. Пригласили тапера и в «Светлую ленту». Был он студентом консерватории. Звали — Дмитрий Шостакович. Играл какую-то странную, ни на что не похожую музыку — отвлекал от происходившего на экране. Послушали-послушали и решили уволить — от греха подальше. А вскоре и кинотеатр переименовали. Назвали «Баррикадой». Вполне в духе времени. Уже не капиталистического и, конечно же, не аристократического.

К слову, на Невском в начале XX века было около ста кинотеатров — едва ли не в каждом доме. Примерно та же картина, что в веке XIX с книжными магазинами. Чаще всего кинотеатры оборудовали в уже существующих домах: выкупали целый этаж, ломали стены. Бывало — строили специальные здания. Так, для кинотеатра Picadilli (позже — «Аврора») снесли старый жилой дом (№ 60) и построили новое специальное здание. (Снесенный дом был вполне зауряден, так что горевать о нем как об утрате едва

ли стоит.) В здании «Пассажа» (дом № 48) открыли знаменитый кинематограф The Royal Star, позже Soleil. Но самой шикарной была «Паризиана» (дом № 80). Фойе украшали тропические растения, раздвигающийся потолок создавал иллюзию разводных петербургских мостов, драпированный занавес тяжелого шелка напоминал о театре.

Сейчас я насчитала на Невском семь книжных магазинов и пять кинотеатров. Утраты? Что касается кинотеатров, в которые еще два десятка лет назад стояли длинные очереди, то их если не исчезновение, то резкое сокращение вызвано причинами экономическими и щедрыми дарами технического прогресса: зачем идти в кинотеатр, когда тот же фильм можно посмотреть дома на DVD? С книгами — другое. Хотя существующие магазины, на мой взгляд, достойны только похвал, а иногда и восхищения, их, по сравнению со временами Гоголя (с тех времен я начала отсчет, с ними и продолжаю сравнивать), удручающе мало. Нет спроса? Это тревожный сигнал — признак интеллектуальной, культурной, духовной деградации. Но, судя по тому, что «Дом книги» и «Буквоед» всегда переполнены покупателями, это не так. Будем утешать себя тем, что тогда магазины были маленькие, сейчас — огромные, так что о деградации пока говорить рано...

Что же касается утрат материальных, то начинать, наверное, нужно было с дома № 1. Но о нем я расскажу в другой главе и по несколько иному поводу. А пока о тех зданиях, появление которых в свое время вызвало весьма сильные чувства у петербуржцев. Начну с дома Вавельберга (он не возмутил, а только ошеломил своей непохожестью ни на что привычное).

Похож-то он, конечно, был, но не на наше, родное, а ни больше ни меньше на Палаццо дождей. Строить в нашем климате то, что так естественно под южным солнцем! Да еще облицовывать таким мрачным серым гранитом! Причуда... Но Михаил Ипполитович Вавельберг мог позволить себе любые причуды — он был богат, очень богат. Банкирский дом «Гуне Нусен Вавельберг» был основан в 1848 году и процветал. Всегда. В 1912-м его преобразовали в Русский Торговый Банк. Это было признание общегосударственной значимости детища банкиров Вавельбергов. Переезд в новый, такой внушительный дом еще выше поднимал престиж банка.

Место в начале Невского Михаил Ипполитович присмотрел давно, но на покупку решился не сразу: дело затратное, нужно все взвесить, чтобы не прогадать. Наверное, многих занимает, почему дом Вавельберга (сейчас его чаще называют «домом “Аэрофлота”», хотя оба эти названия к сегодняшнему дню, увы, отношения не имеют) значится под двумя номерами: **7** и **9**. Ответ прост: для того, чтобы его построить, **снесли два здания**, а менять нумерацию по всей правой стороне Невского после того, как вместо двух домов появился один, сочли нецелесообразным.

А два снесенных (утраченных) дома были типичны для Невского проспекта конца XVIII — начала XIX века: классические, строгие, со скромной, но безупречной по вкусу отделкой фасадов — в общем, на главной улице столицы они были, что называется, своими. Принадлежали дома коренным петербуржцам, родным братьям Семену и Сергею Прокофьевичам Бердниковым. Оба были статскими советниками и к тому же недурными художниками. В подтверждение рассказанного раньше добавлю: в доме одного из Бердниковых располагался книжный магазин Петра Алексеевича



Дома братьев Бердниковых

Ратькова. Как же приличному дому без книжного магазина! И еще одна любопытная подробность биографии дома № 9: в нем (до сноса) арендовала помещение редакция самого популярного русского сатирического журнала «Сатирикон». В нем сотрудничали Саша Черный и Тэффи, Кустодиев, Коровин, Александр Бенуа, а редактором (начиная с девятого номера) был Аркадий Аверченко.

Проектировать и строить новую резиденцию, свою и своего банка, Вавельберг пригласил модного в начале XX века архитектора Мариана Мариановича Перетятковича. Прославился тот постройкой «Спаса-на-Водах» (собор снесен), храма Лурдской Божьей Матери в Ковенском переулке, дома страхового общества «Саламандра» на Гороховой, 4.

Закончив работу, в интервью, данном представителям петербургских газет, Перетяткович сказал: «Я имел в виду не специально Палаццо дождей, но вообще готический стиль, тот, который встречается в северной Италии — в Болонье и во Флоренции. Верхняя часть дома выстроена в характере раннего Возрождения. Вообще я не задавался целью дать буквальную копию Палаццо дождей».

Заказчик работой остался доволен. В основном. Неудовольствие вызвала у него надпись на дверях: «Толкать от себя». Он сурово взглянул на архитектора: «Это не мой принцип. Переделайте. Напишите: „Тянуть к себе” Трудно сказать, он это всерьез или просто продемонстрировал профессиональное чувство юмора. Во всяком случае, работу принял, оплатил и въехал в новый дом вместе с семьей и банком. Правда, пользоваться «палаццо дождей» банкиру Вавельбергу оставалось всего пять лет. Приближалась революция...

Был разрушен и **дом № 14**, почти напротив дома Вавельберга. Его даже чуть раньше хозяина банкирского дома купил Степан Петрович Елисеев, один из знаменитых братьев, о которых еще придется упоминать. Купил не для себя, а чтобы с выгодой продать. И продал. В 1915 году. Петроградскому отделению Московского купеческого банка. Старое здание снесли, проектировать новое поручили Владимиру Александровичу Щуко, архитектору тоже весьма популярному. К работе-то он приступил. И проект обещал быть незаурядным, но... война. Не до строительства. А уж революцию купеческий банк, естественно, не пережил.



Дом Вавельберга. Наши дни

Дом, который снесли ради строительства нового банка, ничего особенного собой не представлял, но выглядел вполне достойно. Тоже был здесь своим. Стоял с 1760 года. Первым его хозяином был придворный кофейных дел мастер Мышляковский. Что был за человек, не знаю, но, учитывая, что Екатерина Великая без кофе просто жить не могла, должно быть, преуспевал — со слугами она была щедра. Но тут я ошиблась. Или что-то изменилось в жизни кофейных дел мастера, чем-то он государыне не угодил. Во всяком случае, единственное архивное упоминание о Мышляковском, какое удалось найти, выглядит так: «Кафешенк Петр Мышляковский заложил дом в Сохранную казну за 6000 рублей» (казна эта принадлежала Московскому воспитательному дому, о котором я скоро расскажу. — *И. С.*). В результате дом перешел в другие руки и еще неоднократно менял хозяев до того, как его купил Елисеев. Добав-

лю только, что много лет в доме № 14 размещался книжный магазин издателя и книготорговца Карла Леопольдовича Риккера.

Судьба купленного под строительство банка и без сожаления снесенного дома № 14 сложилась иначе, чем судьба его соседей. Почти четверть века участок пустовал. В 1939 году было решено построить на нем школу. Сказано — сделано (время было такое): школу построили скоростным методом, за пятьдесят четыре дня. Первое время люди даже ходить мимо побаивались — вдруг рухнет? Так быстро не строят! А она до сих пор стоит. И Невского проспекта хоть и не украшает, но и не портит. И знают ее все. Не только те, кто живет в нашем городе, но и те, кто приезжал сюда хоть раз.

На стене этой школы в 1962 году по предложению поэта-фронтовика Михаила Александровича Дудина воспроизвели блокадную надпись (таких было много, ни один блокадник никогда их не забудет): «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Под надписью — мемориальная доска: «В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города сохранена эта надпись». У мемориальной доски всегда цветы. В мороз, в дождь, в жару. Всегда.

Если пойти по теперь уже неопасной стороне улицы в сторону Фонтанки, бывшей в XVIII веке границей города (называлась она в те времена Безымянным ериком, нынешнее свое имя получила от фонтанов Летнего сада, которые снабжала водой), то издали увидишь огромный шар, вознесенный над зданием на углу Невского и Екатерининского канала. Появились и само здание, и этот шар, вызывавший у одних недоумение, у других восхищение, в самом начале XX века.

Немецкая фирма «Зингер», производящая швейные машинки, купила самый, пожалуй, престижный участок земли на Невском проспекте, снесла стоявший там с последней четверти XVIII века дом и поручила весьма модному архитектору Павлу Юльевичу Сюзору спроектировать дом, который своей выразительностью и необычностью должен был стать рекламой продукции фирмы. Столь дорогая реклама не была бессмысленной тратой денег: «Зингер» завоевывал российский рынок, поистине необъятный.

Кстати, расчет оправдался: трудно найти даже сейчас (через сто с лишним лет!) семью коренных петербуржцев, в которой не было бы старой швейной машинки. И, что самое удивительное, большинство этих раритетов исправно работает.

Фирма «Зингер» стремилась в начале века покорить весь мир, не только Россию. В то самое время, когда ей удалось завладеть возделанным участком на Невском проспекте, в Нью-Йорке фантастическими темпами возводили небоскреб для офисов «Зингера». У владельцев фирмы была затея построить точно такой же и в Петербурге. Но им внятно объяснили, что об этом не стоит и мечтать и никакие деньги не помогут: в российской столице можно строить здания не выше двадцати трех с половиной метров до карниза. Пробовали возмущаться, но отцы города оставались непреклонны: не врятятся наши порядки — не стройте!



Дом аптекаря Имзена. Панорама Невского проспекта

Кстати, попытка «Зингера» осчастливить наш город, причем именно главный его проспект, небоскребом, была первой, но не последней. В 30-е годы XX века на заседании Ленгорисполкома всерьез обсуждали предложение американских бизнесменов «ликвидировать Гостиный двор и воздвигнуть на его месте первый в Советском Союзе небоскреб». Так что список утрат едва не пополнился...

Раз уж речь пошла об экзотических проектах наших близких и дальних соседей, не могу не вспомнить о предложении, сделанном стране, голодной и измотанной войной, в начале двадцатых годов того же минувшего века: продать Исаакиевский собор. Да, да, разобрать, погрузить на суда и отправить в Америку...

А из конфликта между немецкой фирмой и властями российской столицы выход нашел архитектор Сюзор: шестиэтажное здание вместесмансардойукладывается ввысотный регламент (городские



Дом компании «Зингер» («Дом книги») на Невском проспекте. Наши дни

власти удовлетворены), но стройная башня, устремленная к небу, создает ощущение высоты (заказчики в восторге). А главное: легкая башня не перекрывает привычные вертикали (это важно уже для всех петербуржцев, да и для самого Сюзора).

В глобусе, венчающем башню, архитектор тоже сумел совместить дорогую сердцам хозяев «Зингера» идею покорения продукцией фирмы всего земного шара и констатацию греющего сердца петербуржцев факта: именно в этом месте, по расчетам астрономов (ну, может быть, и не точно в этом, но где-то совсем рядом), проходит условная линия Пулковского меридиана.

Ценителей строгого петербургского стиля несколько раздражала пышность декора дома «Зингера», но скоро с нею смирились. Может быть, потому что был этот дом далеко не худшим образцом архитектуры своего времени, что строили его с уважением к тому, с чем ему предстояло соседствовать.

Что же до здания, которое ради этого пришлось разрушить, то даже для тех, кто дорожил стариной (а в Петербурге таких всегда было много), его утрата не была трагедией. Убедиться в этом можно и сегодня: сохранилась фотография Карла Буллы, на которой его можно разглядеть во всех подробностях. Строгий, хотя и не перегруженный декоративными излишествами (что есть достоинство), но совершенно невыразительный, не имеющий собственного лица стандартный трехэтажный дом, известный в Петербурге как дом аптекаря Имзена. И в нем тоже, как в большинстве домов на Невском, — книжная лавка. А еще — нотный магазин и мастерская «Светопись Левицко-го». Об этой мастерской и ее хозяине стоит рассказать подробнее.

Сергей Львович Левицкий первым в России занялся изготовлением фотопортретов и добился мирового признания. Авторитет его был так высок, что его приглашали экспертом по светописи на три Всемирные выставки. Журнал «Русская старина» рассказывал: «В 1856 году в Петербурге собрались со всех концов России наши лучшие писатели. Кто явился из-под твердынь Севастополя, кто из ополченных батальонов, туда же спешивших, но остановленных вестью о мире (только что закончилась Крымская война. — *И. С.*), кто из ссылки и невольного уединения в деревне, кто из провинциальной глуши или из большой деревни — Москвы. Даровитейший и ныне старейший художник-фотограф С. Л. Ле-

вицкий, двоюродный брат одного из талантливых отечественных писателей (имеется в виду Александр Иванович Герцен. — И. С.) и добрый приятель едва ли не всего Олимпа русской литературы радушно предлагал свое искусство для воспроизведения портретов собравшихся».



Перспектива Лиговского проспекта

Большинство фотографий знаменитых писателей, художников, общественных деятелей конца XIX — начала XX века сделал Левицкий. А еще он делал фотопортреты четырех поколений династии Романовых. Все фотографии, которые сейчас используют в кино, в книгах, — его работы. За это был удостоен звания фотографа Их Императорских Величеств и наделен исключительным правом художественной собственности на портреты императоров и императриц. Именно положение придворного фотографа избавило Левицкого от неприятностей, связанных со сносом дома, где много лет располагалась его мастерская. За некоторое время до этого для него по личному распоряжению Александра III был построен «образцовый фотографический дом» неподалеку от старого ателье (Казанская улица, дом № 3).

Что же до снесенного дома № 28, который многократно за свою долгую жизнь менял хозяев, то несомненный интерес представляет человек, для которого он был построен.

Шел год 1776-й. Екатерина Великая проникалась все большим доверием и симпатией к своему духовнику, протопресвитеру Иоанну Иоанновичу Панфилову. Она сама выбрала его на эту весьма значительную должность, сама назначила членом Синода. Это был вовсе не женский каприз: отец Иоанн отличался редкой ученостью, склонностью к западному образованию (как и сама императрица), к тому же обладал чувством юмора и легким, живым характером — с ним можно было поговорить на любую тему, да и посоветоваться в трудной ситуации. К тому же утомлять государыню ханжескими наставлениями был не склонен. Когда духовник попросил участок земли на Невском, Екатерина отказать не могла. Судя по всему, с деньгами на строительство дома у отца Иоанна было не блестяще. Это можно заподозрить из записки императрицы своему секретарю Храповицкому, написанной как раз во время завершения строительства: «Адам Васильевич! Отец духовник у вас не будет ли просить... шесть тысяч с возвратом на Москве. Держите ухо востро! Желая вам силы льва и осторожности змия!»

Однако трудности, надо полагать, были временными. Пришла я к такому выводу потому, что Панфилов числится в списке попечителей Московского воспитательного дома, организованного Екатериной и Иваном Ивановичем Бецким для детей-подкидышей.

Это было одно из самых благородных их совместных начинаний. Оно спасло жизни тысяч (!) обреченных на гибель незаконнорожденных (или считавшихся незаконнорожденными) младенцев. Правила, разработанные основателями дома, предписывали принимать «не спрашивая притом у приносящего, кто он таков и чье-го младенца принес, но только спросить: не знает ли он, крещен ли младенец, и как его имя».

От попечителей требовались «здравый смысл, чувствительная совесть, душа прямая и в честности твердая, воспламеняемая истинным усердием, коего не могли бы никогда потушить никакие частные виды и никакое лицемерие», а кроме этого — материальная помощь опекаемым. Так вот, отец Иоанн такую помощь оказывал постоянно.

Кроме того, часто бывая в Москве (по традиции, возникшей еще при Василии III, отце Ивана Грозного, духовником государя был настоятель Благовещенского собора Кремля; монархи перебрались в Петербург, а традиция осталась. — *И. С.*), Панфилов занимался еще и воспитанием питомцев, следуя указанию своей духовной дочери. Екатерина ведь считала: «Правила воспитания суть первые основания, приуготовляющие нас быть гражданами». А все, кто занимался воспитательным домом, точнее, воспитательными домами, потому что, по подобию московского, были созданы такие приюты и в других городах (хозяин дома № 28 по Невскому проспекту основательно этому содействовал), хотели вырастить именно граждан. В уставе было сказано: «Все питомицы и питомцы, дети их и потомки навсегда остаются вольными и ни под каким видом закабалены или сделаны крепостными быть не могут... каждый сможет во всем Государстве жить, где хочет, как вольный человек». И императрице, и Бецкому, и Панфилову было ясно, что в воспитательный дом часто приносят вовсе не незаконнорожденных, а детей крепостных. Родители отказываются от своих младенцев в надежде, что те вырастут свободными людьми. Ни государыня, ни ее помощники этому не препятствовали, напротив, всеми возможными силами помогали. Почему-то об этом способе освобождения от рабства не принято упоминать...

Честно говоря, я сомневалась, нужно ли писать о **снесённом доме № 28**: его никак нельзя причислить к шедеврам архитектуры, а зна-

чит, и к утратам, о которых стоит грустить. И все-таки решила написать, просто, чтобы напомнить о людях, которые жили в этом доме и память о которых не должна исчезнуть вместе с ним. Кроме того, Невский проспект — явление абсолютно уникальное: с середины XIX века он изменился так мало (если не считать надстроек), что любое изменение — событие. Поэтому позволю себе очень кратко рассказать еще о двух переменах, которые больше походят на приобретения, чем на утраты, и о двух настоящих горьких утратах.

Начну с построек, которые очевидно превосходят те здания, что ради них были снесены. Прежде всего это **дом № 21**. Первый дом на этом участке был построен еще в 1740 году. Неоднократно перестроен. На панораме Садовникова это заурядное, скромное, но вполне симпатичное трехэтажное здание. После того как его в последней четверти XIX века купил богатый меховщик Мертенс, оно было надстроено еще одним этажом. В доме хватало места и для апартаментов хозяина, и для самого роскошного в городе мехового магазина, и для фабрики. Но внешне выглядел он маловыразительно и как-то старообразно. И Мертенс принимает решение построить новый дом, который подчеркнул бы современный вкус хозяина. Разработку проекта поручает архитектору Мариану Станиславовичу Лялевичу, одному из признанных мастеров неоклассицизма (после событий 1917 года он уедет из России и через много лет будет расстрелян фашистами во время Варшавского восстания).

И Лялевич с задачей справляется прекрасно. Используя новые инженерные решения, деликатно сочетая приемы классицизма и ар-нуво, он строит фасад, состоящий из трех огромных застекленных арок. Они неожиданны на Невском, но не противопоказаны ему — более того, эффектно замыкают перспективу Большой Конюшенной улицы. И заказчик доволен: покупатели не смогут заподозрить, что в таком ультрасовременном здании им предложат вещи устаревших фасонов.

Дом № 56, известный как Елисеевский магазин, — тоже дом-реклама. Кто посмеет подумать, что в такой роскошной обстановке торгуют некачественными товарами! Кстати, это был как раз тот, непривычный сегодня для нас случай, когда реклама полностью соответствовала истине: в магазине братьев Елисеевых осетриной «второй свежести» не торговали никогда. Что же касается

роскошной обстановки, то, на мой взгляд (в свое время подобного взгляда придерживались многие петербуржцы), это варварская, купеческая роскошь, чуждая нашему городу. В Петербурге ведь и купечество отсутствием вкуса не страдало. Гостиный двор, Серебряные ряды, Никольский, да и большинство старых петербургских рынков восхищают строгой изысканностью форм, лаконичной скромностью деталей — несуетливым достоинством. Кричащая роскошь Елисеевского магазина поначалу шокирует, но скоро к ней привыкают, тем более, что жалеть о снесенном ради его постройки доме никому не приходит в голову: дом был зауряден, скучен, украшением проспекта никогда не был, да и никто из людей выдающихся в нем не жил. Что, конечно же, странно — уж очень привлекательно место, на котором он стоял. А магазин — что ж, он радует. Не только изобилием и качеством товаров, но и неожиданным соседством: на втором этаже магазина Елисеевы устраивают театральный зал. Это рекламный трюк, но — неожиданный, а потому привлекательный. Поначалу в театральном зале при магазине выступают антрепризы «с раздеванием». Для публики определенного сорта — весьма притягательная приманка. Но со временем эту площадку «при магазине» займет замечательный театр, который возглавит один из самых талантливых режиссеров и сценографов XX века — Николай Павлович Акимов.

Сегодня только человек искушенный, перейдя Аничков мост и направляясь к Московскому вокзалу, заметит, что проспект изменился — будто невидимая граница отделила ранний, классический Невский от его несколько менее элегантного, хотя и великолепно продолжения.

А до середины XIX века, по свидетельству Анатолия Федоровича Кони, «начиная от Надеждинской, называвшейся тогда Шестилавочной, проспект имел вид запущенной улицы какого-нибудь провинциального города. Гладкие фасады старомодных домов были выкрашены охрою, в нижних этажах ютились грязные засоренные лабазы, вонючие мелочные, шорные и каретные лавки...». Единственной жемчужиной за Фонтанкой оставался дворец Белосельских-Белозерских.

Но стоило начаться движению по Николаевской железной дороге, стоило появиться вокзалу — и эта еще недавно захолустная часть

Невского проспекта стала стремительно превращаться в едва ли менее престижную, чем старая, — от Адмиралтейства до Фонтанки. В 1858 году газета «Санкт-Петербургские ведомости» писала: «Каждого петербургского жителя, без сомнения, поражает ежедневно одно странное, необъяснимое обстоятельство: непрерывная, лихорадочная постройка новых домов...». Почему же это обстоятельство показалось журналисту необъяснимым? На самом деле все просто: вкладывать деньги в недвижимость было самым выгодным способом преумножения капитала.

Строительный ажиотаж охватил столицу. Строили в основном большие доходные дома в расчете извлечь максимальную прибыль. Старые перестраивали, в крайнем случае, надстраивали одним-двумя этажами. С той же целью. Примеры тому хотя бы дома 76, 78, 80 (по обеим сторонам перекрестка с Литейным). Два первых — надстроены, последний в 1913 году перестроен под кинотеатр «Паризиана». Подобных примеров множество: капитализм уверенно вторгнулся в жизнь главной магистрали столицы. Жажда наживы не миновала и аристократов, владевших домами на Невском: приказала надстроить свои дома (сама жила во дворце) графиня Строганова. Но то, что Невский несколько «подрос», едва ли можно считать утратой. А если при этом слегка подурнел (что случалось нечасто), что поделаешь — болезни роста.

Утратами мне представляется потеря трех домов за Фонтанкой. Но не потому, что они были такими уж архитектурными шедеврами, хотя построенные были в строго классическом стиле, выглядели достойно, но — заурядно. А вот людей, владевших этими домами и бывавших в них, заурядными никак не назовешь.

Отступление о лейб-медике трех императоров

Первый из этих домов — № 63. Классический двухэтажный особнячок: центр выделен небольшим ризалитом, завершен скромным треугольным фронтоном, окна первого этажа почти на уровне земли. На улице какого-нибудь тихого уездного городка он выглядел бы очаровательно, но

на Невском... Впрочем, хозяин наверняка понимал, что после его смерти дом снесут и построят на его месте какую-нибудь громадину. Знал он и о том, что земля под его обреченным домом дорожает буквально с каждым днем. Это было для него важно: все свое состояние и этот уютный дом тоже он завещал на устройство клиник Медико-хирургической (Военно-медицинской) академии — тридцать лет он был президентом этой академии.



Дом Виллие

Во внутреннем саду академии стоит памятник. Высокий постамент, на его сторонах герб и два бронзовых рельефа: первое собрание Медико-хирургической академии в 1808 году и Бородинское поле, на котором врачи оказывают помощь раненым. На постаменте — бронзовая фигура сидящего в кресле человека с пером и свитком в руках, у его ног книга «Военная фармакопея». Этот человек и есть владелец дома № 63 на Невском, Яков (Джеймс) Васильевич Виллие.

Узнать, как выглядел его дом, дал нам возможность прекрасный, хотя, несмотря на это, и полузабытый художник Федор Федорович Баганц. Его акварельные пейзажи непарадного Петербурга так же достоверны и тщательны, как работы Садовникова. Но, конечно же, его, как любого незаурядного художника, отличает собственное видение, собственная манера. Пейзажи его удивительно теплые, человеческие. Взгляд не проходит мимо казалось бы несущественных мелочей: табличек с названиями улиц,

распахнутых ставен, скромного декора фасадов, уличных вывесок. Такие вывески присутствуют и на доме № 63. Владелец этого дома родился в Шотландии, в двадцать два года приехал в Россию и шестьдесят четыре года верой и правдой служил своей второй родине. Начал полковым военным врачом. Хирург он был от Бога, потому его заметили и пригласили в Петербург. В 1799 году Павел I назначает его своим лейб-медиком. Ему предстоит заботиться о здоровье еще двух монархов, Александра I и Николая I. Все трое доверяли ему абсолютно. По рекомендации Александра Павловича Яков Виллие был удостоен титула баронета Британской империи.

Что касается его официальной биографии — она блестяща: в двадцать восемь лет уже главный медицинский инспектор армии, в течение двадцати четырех лет — директор медицинского департамента Военного министерства, создатель и издатель первого в России медицинского журнала. Все это — одновременно с президентством в Медико-хирургической академии. Другая сторона его заслуг, человеческих и профессиональных, — организация военно-медицинского дела в русской армии, личное участие во всех войнах, которые вела Россия в Александровскую эпоху. На Бородинском поле вел себя героически — помогал раненым под огнем противника. Судьба была милостива к нему — вражеские пули его не задели. После битвы при Прейсиш-Эйлау Яков Васильевич оперировал тяжело раненного Баркляя-де-Толли и спас ему жизнь.

А вот спасти жизнь своим царственным подопечным доктору Виллие не удалось. Понятно, что он не мог защитить Павла Петровича от заговорщиков, да и не присутствовал при убийстве. Но именно он подписал свидетельство о смерти императора от апоплексического удара. Что заставило его пойти против истины? Убеждение, что власть Павла может принести стране много бед? Сочувствие Александру Павловичу? Или просто страх? Кто знает...

Не сумел он спасти и Александра, которого, судя по записям в дневнике, искренне любил. Даже диагноза государю поставить не сумел (как, впрочем, и другие весьма опытные врачи, бывшие рядом с больным в Таганроге). В записях лейб-

хирурга много загадочного, дающего повод тем, кто сомневается в смерти Александра и утверждает, что он ушел из Таганрога и окончил жизнь в облике простого русского мужика Федора Кузьмича. Уже первая запись вызывает недоумение. В день приезда императора в Таганрог (Виллие приезжает с ним вместе) лейб-медик записывает: «*Nous arrivames a Taganrog ou finit la premiere partie du voyage*» (Мы приехали в Таганрог и закончили первую часть путешествия). И затем под чертой ставит слово *finis*. Не буду углубляться в лингвистические исследования глагольных форм, которые смущают историков и заставляют думать, что записи делались постфактум. Если странные глагольные формы — не просто ошибки Виллие, не идеально владевшего французским, то зачем ему все это понадобилось? По чьей просьбе или приказу писал он дневник задним числом? Кого пытался оправдать? Или запутать?

Виллие был в числе тех немногих, кто сопровождал государя в поездке из Таганрога в Крым. Из этого логично сделать вывод, что, не желая даже на короткое время расставаться с врачом, Александр заботился о своем здоровье. И вдруг — такая легкомысленная поездка в Георгиевский монастырь. В одном мундире, без шинели, в сопровождении только лишь фельдъегеря. Результат — простуда, ставшая роковой.

По свидетельствам императрицы и Петра Михайловича Волконского, Александр своему врачу доверял и очень его любил. Судя по характеру записей в дневнике, даже если они были сделаны после трагедии, очевидно: лейб-медик отвечал государю самой искренней приязнью. «Ночь прошла дурно. Отказ принять лекарство. Он приводит меня в отчаяние. Страшусь, что такое упрямство не имело бы когда-нибудь дурных последствий». «Как я припоминаю (не подтверждение ли это, что писал он задним числом? — И. С.), сегодня ночью я выписал лекарства для завтрашнего утра, если мы сможем посредством хитрости убедить его принимать их. Это жестоко, нет человеческой власти, которая могла бы сделать этого человека благоразумным. Я — несчастный».

«Когда я говорю о кровопускании, он приходит в бешенство и не удостоивает говорить со мной». «На другой день говорит: “Я надеюсь, вы не сердитесь на меня за это, у меня мои причины”». «Что за печальная моя миссия объявить ему о его близком разрушении в присутствии ее величества императрицы, которая пришла предложить ему верное средство: sacramentum (причащение. — И. С.)».

Все последние ночи проводил Виллие у постели больного. Он и Елизавета Алексеевна. Из дневника: «Ее величество императрица, которая провела много часов вместе со мною, одна у кровати императора все эти дни, оставалась до тех пор, пока наступила кончина в 11 часов без 20 минут сегодняшнего утра».

Якову Васильевичу снова, как после гибели императора Павла, приходится подписывать «Акт о кончине». Под этим



Императрица Елизавета
Алексеевна

актом четыре подписи: «Член Государственного Совета, генерал от инфантерии генерал-адъютант князь Петр Волконский (давний и преданный друг государя. — И. С.); член Государственного Совета, начальник главного штаба, генерал-адъютант барон Дибич (человек, которому император безусловно доверял. — И. С.); баронет Яков Виллие, тайный советник (гражданский чин II класса, соответствующий воинскому званию генерал-лейтенанта. — И. С.) и лейб-медик; Конрад Стоффреген, действительный статский советник (гражданский чин III класса, соответствующий званию генерал-майора. — И. С.) и лейб-медик (врач императрицы Елизаветы Алексеевны, преданный ей и готовый выполнить любую ее просьбу. — И. С.)».

Слух о том, что Александр вовсе не умер, а, тяготясь властью, ушел с посохом в неведомую даль, чтобы спустя много лет появиться в Сибири под именем старца Федора Кузьмича, то затихает, то появляется снова вот уже без малого двести лет. Кто знает? Можно с уверенностью сказать только одно: чтобы он мог уйти, ему должны были помогать, по меньшей мере, три человека: жена, друг и врач. Елизавета Алексеевна пережила супруга всего на несколько месяцев, князь Волконский умер в 1852 году. Виллие прожил после этого еще семь лет. Он оставался единственным, кто мог абсолютно достоверно ответить на вопрос: умер император Александр или ушел странствовать. Не ответил, не проговорился.

Может быть, никакой тайны и не было, была просто смерть, которую не мог одолеть даже такой замечательный врач, каким, без всякого сомнения, был Виллие? Подтверждение тому служит хотя бы тот факт, что не слишком доверчивый Николай I назначил его своим лейб-медиком. Уж если бы сомневался, что для спасения брата было сделано все, наверняка не доверил бы свою жизнь тому же врачу.

И все-таки однажды доктор Виллие сказал нечто, порождающее новые сомнения, правда, другого рода. Князь Владимир Барятинский писал: «В декабре 1840 года в Петербург приехал английский дипломат лорд Лофтус. В своих записках Лофтус упоминает о встрече с Виллие, а также и о том, что Виллие рассказывал одному общему их другу следующее: когда императору Александру с его согласия поставили пиявки, он спросил императрицу и Виллие, довольны ли они теперь? Они только что высказали свое удовольствие, как вдруг государь сорвал с себя пиявки, которые единственно могли спасти его жизнь. Виллие сказал при этом Лофтусу, что, по-видимому, Александр искал смерти и отказывался от всех средств, которые могли отвлечь ее. Вероятно, Виллие сказал еще что-нибудь своему соотечественнику, так как лорд Лофтус пришел к заключению, что смерть Александра всегда останется необъяснимой тайной».

Так оно и случилось. Разгадку тайны владелец утраченного дома № 63 по Невскому проспекту унес в могилу..

На противоположной стороне Невского, почти напротив дома Виллие, стоял большой четырехэтажный дом, исчезновение которого тоже можно считать утратой. Его не снесли до основания, как это произошло с домом № 63. Его просто перестроили, но так капитально, что узнать невозможно совершенно. Только место то же, и номер тот же: 80.

Выглядел он куда более презентабельно, чем скромный домик напротив. Высокий, четырехэтажный, небольшой центральный ризалит завершен фронтоном, подчеркнут обширным балконом на втором этаже, сближенными окнами. Центральные окна второго и третьего этажей украшены скульптурой. Под карнизом фриз с рельефным орнаментом, изящным и деликатным. Описываю этот дом так подробно только благодаря акварели того же Баганца, таковой же живой, теплой, как та, на которой изображен дом Виллие.

Отступление о Кассандре или председателе комитета министров Российской империи

Владела этим домом женщина замечательная — Екатерина Николаевна Блудова (урожденная Тешина). Рано овдовев, всю нерастраченную любовь обратила она на сына. Воспитать его человеком порядочным и успешным стало главной ее целью. Что касается второго, то это ей удалось совершенно. Судите сами: начинал Дмитрий Николаевич со службы в архиве иностранных дел, последние годы жизни был главой правительства России и президентом Российской академии наук. А между этими двумя этапами были еще должности статс-секретаря, министра внутренних дел и министра юстиции, главноуправляющего II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, члена Государственного совета и председателя его комитета законов. Возможно, я перечислила и не все посты успешного административного деятеля.



Д. Н. Блудов

тора, но главные его достижения не забыла. Осталось только сказать, что Николай Павлович, в царствование которого Дмитрий Николаевич достиг самых выдающихся своих успехов, высоко ценил деятельного и ответственного чиновника и возвел его в графское достоинство.

Что же до первого, то есть порядочности, то обожаемый сын Екате-

рины Николаевны образцом ее был не всегда. Но она не дождала до дней, когда он позволил себе отступить от ее заветов. Она скончалась на пятьдесят третьем году, оставив своего двадцатидвухлетнего мальчика на попечение ближайшей подруги графини Анны Павловны Каменской. Была та женой фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского, сначала незадачливого военного генерал-губернатора столицы, а потом по трудно объяснимым причинам назначенного главнокомандующим русской армией в войне с Наполеоном 1807 года. Объяснить это можно только давлением Аракчеева и тем, что выбора у Александра Павловича просто не было: после поражения при Аустерлице Кутузову он не доверял. В общем, факт остается фактом: назначил. Хотя давно было очевидно: Бантыш-Каменский — не полководец, не стратег. В лучшем случае — старательный исполнитель. Но и этим в противостоянии Наполеону он не блеснул. Поняв, что с руководством войсками справиться не в силах, поступил весьма экстравагантно: просто покинул армию. В итоге был уволен со службы и отправлен в свое имение.

Дмитрию Николаевичу Блудову повезло: то, что его покровителем был провинившийся фельдмаршал, на карьере молодого чиновника не отразилось. Правда, скорее всего потому, что был у него покровитель куда более могущественный. Не по официальному положению, но по заслугам перед Отечеством и по абсолютному доверию, с которым к нему относился государь. Этот покровитель — Николай Михайлович Карамзин.

Незадолго до кончины, когда Николай I пожаловался знаменитому историографу, что вокруг него «никто не умеет написать двух страниц по-русски, кроме одного Сперанского», Карамзин посоветовал обратить внимание на Блудова и его товарища Дмитрия Васильевича Дашкова: сказал, что эти юноши могут быть в высшей степени полезны на государственном поприще. Император внимание обратил и еще раз убедился в проницательности Карамзина. Дарование Блудова в полной мере проявилось, когда он писал царские манифесты, когда готовил два новых издания Свода законов Российской империи, когда писал первый Уголовный кодекс России — «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» и, конечно же (уже при Александре II) — в подготовке великого дела освобождения крестьян. Награда была самой высокой из всех возможных — орден Андрея Первозванного. Другие награды перечислять не буду. Поверьте, было их немало.

То, что граф Блудов был одним из самых талантливых и работоспособных чиновников как Николая I, так и Александра II, сомнению не подлежит. А вот каким он был человеком? Судя по всему — разным.



Н. М. Карамзин

Известный публицист, активный деятель освободительной реформы Александр Иванович Кошелев, работавший под началом графа, писал: «Добра делал он очень много, был доступен для всякого и готов выслушивать каждого, кому он мог чем-либо быть полезным». Кошелева считают одним из самых добросовестных мемуаристов, так что доверять ему можно, тем более что опубликованы мемуары после смерти Блудова и нет никаких оснований подозревать их автора в лести.

О Блудове я помнила (со школьных ли лет, со студенческих?) совсем немного: суд над декабристами, реакционные убеждения, но и «Арзамас»... Вот и попыталась разобраться. Лучшие всего это помогают сделать письма. Это в детстве я знала твердо: читать чужие письма нельзя. И не читала. Пока не была вынуждена нарушить табу: не читая писем Некрасова, не смогла бы написать курсовую. Оправдывала себя: ведь не тайком читаю, они ведь опубликованы. Ну, а потом... С годами черствеешь... Письма Блудова Жуковскому я читала, уже не испытывая ни малейшего чувства вины.

«Здравствуй, Светлана (прозвище Жуковского в «Арзамасе». — И. С.), мне захотелось, захотелось так сильно сказать тебе... что-нибудь, например, что я люблю тебя и обнимаю, как люблю, то есть от всего сердца». Дмитрий Николаевич пишет, что привык жить сердцем, а здесь (в это время он в Лондоне, служит поверенным в делах Российской империи. — И. С.) оно вянет, потерял здоровье и бодрость и доверенность к себе; его поддерживает сознание, что он друг Карамзина, Тургенева, Батюшкова, одним словом — арзамасец. Он назвал своего мальчика Вадимом (Жуковский посвятил Блудову балладу «Вадим» из поэмы «Двенадцать спящих дев». — И. С.): «Это мой род завещания моим детям о сей вечной, незабвенной дружбе».

Что дружба действительно вечна и незабвенна, Блудов доказал делами. Именно его попечением после смерти Николая Михайловича Карамзина был доработан и издан последний том «Истории государства Российского».

Именно Блудов возглавил комитет, готовивший посмертное издание сочинений Василия Андреевича Жуковского. Вот несколько записей из дневника литературного критика Александра Васильевича Никитенко (бывшего крепостного, будущего академика): «Получил высочайшее повеление о назначении меня членом комитета под председательством Дмитрия Николаевича Блудова для рассмотрения посмертных сочинений Жуковского, которые хотят издать». «Был у графа Блудова. Он очень приветлив. Говорил о Жуковском с большим уважением... Меня порадовала его живость и теплота отношения ко всему, что касается ума, знания и поэзии». «Вечером в субботу приглашал меня к себе граф Блудов вместе с бароном П. К. Клодтом, князем Вяземским и Тютчевым для обсуждения проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского».

И еще факты, говорящие о достоинствах Дмитрия Николаевича. Добившись больших успехов на дипломатическом поприще, заслужив уважение и доверие Иоанна (в России его звали Иваном Антоновичем. — И. С.) Каподистрии (тот называл Блудова «перлом русских дипломатов»), он не смог сработаться со статс-секретарем Нессельроде и готов был покинуть службу, дабы не изменять своим представлениям о чести и долге русского дипломата.

Ему повезло: прикомандировали к Министерству внутренних дел. А может быть, как раз и не повезло. Если бы не это новое место службы, едва ли назначили бы делопроизводителем Следственной комиссии по делу декабристов. И ему пришлось составлять доклад «О злоумышленных обществах». Николай I доклад одобрил и труд Блудова лег в основу приговора, вынесенного Верховным Уголовным Судом. Многие посчитали этот доклад позорным. Уничтожающей критике подверг его Николай Иванович Тургенев в книге «Россия и русские», изданной в Париже через двадцать с лишним лет после событий. Тургенев обличал крепостничество и абсолютизм, но, надо сказать, с позиций вовсе не радикальных; писал о необходимости ограничить самодержавие, о том, что чиновни-

ки тормозят выполнение любых, даже самых необходимых для развития России реформ. Он никогда не был радикалом. Блудов это знал (они многие годы приятельствовали), но в своем докладе так рассказал о роли Николая Ивановича в подготовке восстания, что того приговорили к смерти. Приговор был смягчен Николаем, а Александр II вернул Тургеневу все чины и награды, положенные ему по рождению (но не право на собственность).

Николай Иванович считает доклад Блудова причиной крушения жизней многих достойнейших людей: «Я всегда очень хладнокровно смотрел на неожиданный перелом, последовавший тогда в моей жизни; но в то время, когда я (в Лондоне. — И. С.) писал (книгу «La Russie et les Russes». — И. С.), люди, которых я почитал лучшими, благороднейшими людьми на свете и в невинности коих я был убежден, как в моей собственной, томились в Сибири... Иные из них ничего не знали о бунте... За что их осудили? За слова и за слова... Допустив даже, что эти слова были приняты за умысел, осуждение остается неправильным, противозаконным». «Какая участь постигла Пестеля, которого следствие и суд признали наиболее виновным? Положим, что все приписываемые ему показания справедливы. Но что он совершил, что сделал? Ровно ничего. Что сделали все те, кои жили в Москве и в различных местах империи, не зная, что делается в Петербурге? Ничего! Между тем казнь, ссылка и их не миновали. Итак, эти люди пострадали за свои мнения или за слова, за которые никто и ответственности подлежать не может, когда слова не были произнесены во всеулышание».

Тургенев повел себя как рыцарь: не стал предавать гласности свои обвинения до того, как с ними ознакомится Блудов. Послал ему рукопись. Тот не ответил... Да и что мог ответить, ведь его стремительный карьерный взлет сразу после суда над декабристами, в котором он сыграл столь неблагоприятную роль, не мог остаться незамеченным? Он был награжден и обласкан императором, кое-кто видел в нем едва ли не героя. Другие же... Вряд

ли ему было приятно читать у Гоголя (знаток литературы, он понимал: все, написанное Гоголем, — на века): «Всему свету известно, что русский народ охотно давать свои имена и прозвища, совершенно противоположные тем, которые дает при крещении поп. Они бывают метки, да в светском разговоре неупотребительны. Впрочем, все зависит от привычки и от того, как какое имя обходится. Кому, например, неизвестно, что у нас люди, дослужившиеся первых мест, такие носят фамилии, что в первый раз совестно произносить их при дамах. Однако ж теперь и дамы произносят их — и ничего. А носильщики этих фамилий, как бы не о них речь, ничуть не конфузятся и производят их даже от Рюрика, между тем как может быть их же крепостной человек им прислужился».

Александра Осиповна Смирнова-Россет вспоминала: «Александр Тургенев упрекал Блудова у г-жи Карамзиной. Блудов — сама доброта и совсем не злопамятный, протянул Тургеневу руку, а тот ему сказал: “Я никогда не пожму руку, подписавшую смертный приговор моему брату”. Вы можете представить себе общее смущение. Я присутствовала при этом. Г-жа Карамзина покраснела от негодования и сказала Тургеневу: “Г. Тургенев, граф Блудов — близкий друг моего мужа, и я не позволю оскорблять его в моем доме”. Когда бедный Блудов вышел со слезами на глазах, Тургенев сказал: “Перемените ему фамилию, а то просто гадко, от блуда происходит”. Катерина Андреевна сказала ему: “Ваши шутки теперь весьма неуместны”».

Описанный инцидент произошел в 1831 году, когда Тургенев после пятилетнего отсутствия ненадолго приехал в Россию.

Можно представить, какую неловкость испытала при этой сцене Екатерина Андреевна Карамзина. Ведь это Карамзин «обессмертил» имя родоначальника Блудовых. Значительная часть восьмой главы первого тома «Истории государства Российского» посвящена рассказу о предательстве и братоубийстве: в борьбе за Киевский

престол князь Владимир устранил своего старшего брата Ярополка с помощью предателя — прельщенного заманчивыми посулами воеводы Блуда, ближайшего сподвижника Ярополка. О происхождении рода Блудова от предателя Блуда говорится и в переписке братьев Тургеневых, и в книге «Россия и русские». Несомненно, не на блуд, а на Блуда намекал Тургенев и в салоне Карамзиной.

Но обе дамы — и автор мемуаров, и жена историкографа — откровенно сочувствуют Блудову. Чем он заслужил расположение двух замечательных (пишу это без тени иронии) женщин своего времени? Во-первых, преданный друг Карамзина, о предательстве с его стороны и помыслить невозможно. Такой же друг их общего друга Жуковского. А что касается того злополучного приговора... Он как благонамеренный подданный исполнял волю государя. К тому же все это в прошлом, сколько можно упрекать? Самое поразительное, что и Жуковский не изменил своего дружеского отношения к Блудову, хотя делал все, чтобы хоть немного облегчить участь декабристов. Часто это грозило ему опалой, но он не прекращал попыток. А Блудов в его глазах был как бы непричастен к судьбе ссыльных...

Как бы ни был Жуковский привязан к Пушкину, даже тот не мог поколебать его дружбы с Блудовым. А Пушкин предостерегал и об отсутствии у того «бескорыстной любви» к Василию Андреевичу, и об «односторонности его вкуса», язвительно называя Блудова «маркизом» и доказывая, что тот без всяких на то оснований присваивает себе право быть законодателем вкуса. Пушкин писал об этом еще до декабрьского восстания, так что подозревать, будто причина неприязни — уже свершившееся предательство, нет оснований. Скорее — пронизательность, провидение.

Вот он снова пытается открыть старшему и нежно любимому другу глаза на Блудова: «“Телеграф” запрещен. Уваров представил государю выписки, обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его жур-

налу (выписки ведены... по совету Блудова)». Но и этот факт, несовместимый с понятием чести, почему-то не производит на Жуковского, человека безупречного благородства, никакого впечатления. Может быть, обладал Блудов какой-то магической способностью очаровывать людей? Для многих оставался он непререкаемым авторитетом как в делах творческих, так и в личных.

Протоиерей Иоанн Иоаннович Базаров, духовник Жуковского (и духовник особ царствующего дома), один из самых близких людей поэта в заграничный период его жизни, вспоминал: «В числе знаменитых русских того времени мне случилось встретиться с графом Блудовым... в семействе Жуковского во Франкфурте. Помню, как он стыдил его за то, что дети его тогда не говорили по-русски: “Вот посмотрите, наш русский бард, наш Гомер, который читает свою “Одиссею” среди семьи своей, и семья его не понимает... его не поймут ни жена, ни дети, как бы звучно он ни читал им эту эпопею”». Жуковский был смущен. И сразу принялся исправлять упущение. Детей успел обучить русскому языку. С женой — не получилось...

Трепетное отношение к русскому языку Блудову всегда было свойственно. Возможно, это генетическое, ведь он — близкий родственник двух выдающихся поэтов своего времени — племянник Гавриила Романовича Державина и двоюродный брат Ивана Ивановича Дмитриева, сейчас основательно забытого, а в свое время чрезвычайно почитаемого. Он и сам был одаренным литератором, просто заниматься творчеством не оставалось времени — «мешали» государственные заботы. Незнание родного языка его всегда возмущало. Именно от него стало известно, что некоторые декабристы просили допрашивать их по-французски: понять вопрос и выразить свою мысль на русском они затруднялись. Блудов с иронией спрашивал: «На каком языке эти народные заступники объяснялись бы со своим народом?»

Я так подробно рассказываю об этом человеке, чтобы вызвать у читателей желание разобраться в характе-

ре достаточно сложном, как, вообще-то, характеры большинства людей; чтобы предостеречь от однозначных оценок (не только и не столько Блудова, но всех исторических персонажей, которых очень часто рисуют одной краской, навязывая сначала школьникам, а потом и вполне взрослым людям однобокое, примитивное представление о личности человека и его роли в истории). С этим мы сталкиваемся постоянно, и это становится причиной множества заблуждений, в том числе и опасных — история ведь имеет свойство повторяться. Вот поэтому мне и представляется самым продуктивным столкновение разных, часто кажущихся несовместимыми, мнений о человеке, в полном соответствии с гегелевской триадой: тезис — антитезис — синтез. И тогда сложное, непонятное становится яснее.

Так вот, в доме непростого человека, способного быть и верным другом и предателем (в квартире второго этажа, той, что с балконом), и собиралось литературное общество, которое вошло в историю под именем «Арзамас». Организовано оно было в ответ на злобные выпады против преобразователя русского литературного языка Николая Михайловича Карамзина и его молодых последователей со стороны общества «Беседа любителей русского слова», объединявшего фанатичных приверженцев старины. Во главе «Беседы» стоял адмирал Шишков, человек, лишенный таланта и эрудиции, не знавший даже древнерусского языка, за который ратовал. Борьба между партиями приняла крайне острый характер: приверженцы Шишкова пустили в ход доносы, клевету и карикатуры. Карамзинисты тоже не оставались в долгу, хотя до подлостей никогда не опускались. Оно и понятно: в «Арзамас» вошли люди, давно связанные дружескими узами, принадлежавшие к одному поколению, к одному кругу — к интеллектуальной элите своего времени. Среди них были и братья Тургеневы. Пушкин писал: «“Арзамас” для меня нечто вроде Лицея — он дал нам Арзамасское братство». Точно так же относились к «Арзамасу» и Тургеневы. Так что

их возмущение и обида на Блудова, товарища юности, вполне понятны.

Члены «Арзамаса» принимали имена из баллад Жуковского. Так, Блудов получил имя Кассандра, да к тому же еще и звание «Государственного секретаря Бога вкуса». Правда, история обретения Блудовым этого имени не вполне обычна. Пушкин вспоминал: «Блудов произнес шуточную погребальную речь члену „Беседы” и Российской Академии переводчику Захарову. Через шесть недель Захаров умер. Блудова нарекли Кассандрой». Вяземский (он звался Асмодеем) писал будущему председателю комитета министров Российской империи: «Преподобная Кассандра! Моли Бога о нас! Разумеется, Бога ума и вкуса». На всей жизни «Арзамаса» лежал отпечаток шутовства. Эмблемой общества служил жирный гусь, потому что именно отменными гусями славился город Арзамас. Трапеза венчала все арзамасские заседания, на провинившихся накладывалась епитимья: за ужином они лишались своего куска гуся.

Больше рассказывать об «Арзамасе» не буду — о нем достаточно написано. А вот почему собирались арзамасцы чаще всего на Невском, 80, небезынтересно. Дело не в том, что дом был велик и пригоден для любых собраний. Дело в том, что это был семейный дом. А среди членов общества было всего двое женатых, Блудов и Уваров (у него тоже иногда собирались, но не слишком охотно). Имевший семью Карамзин был почетным членом общества и лишь иногда приезжал из Москвы. Дом Блудова был теплым, гостеприимным. Атмосферу не просто дружескую — семейную создавала хозяйка Анна Андреевна. Когда она улыбалась, казалось, легкое сияние исходило от прелестного лица. Когда говорила, чарующий голос заставлял замолкать всех, а люди на собраниях «Арзамаса» собирались пылкие и уж никак не молчаливые. Муж ее обожал. Он добивался ее руки одиннадцать лет (часто ли такое случается?!). Ему было шестнадцать, когда при дворе он увидел фрейлину государыни княжну Анечку Щербатову. Сказать, что она была хороша, значит не

сказать ровно ничего. Это был ангел. Недаром находили в ней поразительное сходство с императрицей Елизаветой Алексеевной, а ведь ее называли самой красивой женщиной Европы. В общем, Дмитрий был потрясен. Анечка тоже, как ни странно, не осталась равнодушна. А странным это может показаться по одной причине. Ему, как я уже писала, было шестнадцать лет, ей двадцать четыре. О женитьбе не могло быть и речи.

Через несколько лет, достигнув положения в свете, Блудов делает предложение. Княгиня Антонина Воиновна Щербатова отвечает решительным отказом. Была она надменна, амбициозна, кто бы ни сватался к дочери, всех считала недостойными. Но другие, погоревав, побранив несостоявшуюся тещу, утешались. Блудов — ждал. И делал карьеру. Головокружительную. Это и сломило, наконец, сопротивление княгини Щербатовой. Дмитрий и Анна пошли под венец. Ему было двадцать семь лет, ей — тридцать четыре. У них будет пятеро детей. Он переживет ее на шестнадцать лет...

Невдалеке от уничтоженного дома Блудовых, на углу Невского и Фонтанки, напротив дворца Белосельских-Белозерских стоял еще один дом, о котором нельзя не рассказать. В первые годы существования Петербурга этот участок принадлежал дочери Петра I Анне Петровне, матери будущего императора Петра III, в ранней молодости погибшей от простуды. После замужества и отъезда в Голштинию земля ей оказалась не нужна и долго пустовала. Первые постройки появились здесь во второй половине XVIII века и были весьма непритязательны. В 1820 году **дом № 68** приобрел купец Федор Иванович Лопатин, человек богатый и оборотистый. После того как по его заказу архитектор Василий Егорович Морган перестроил корпус, выходящий на Фонтанку, в доме Лопатина образовалось больше восьмидесяти квартир и он стал самым большим доходным домом Петербурга. С этого-то момента и начинается его заслуживающая внимания история.

Было в этом доме (или в месте, на котором он стоял) что-то таинственное, буквально притягивающее к нему людей пишущих. Началось с того, что у Лопатина поселились редактор «Современника» Иван Иванович Панаев и Андрей Александрович Краевский, редактировавший «Отечественные записки». Нежных чувств они друг к другу не питали, и их решение поселиться в одном доме выглядит странным (если, конечно, не верить в мистическую притягательность дома). Вслед за ними в дом Лопатина потянулись литераторы (здесь уже никакой мистики — естественное желание оказаться поближе к хозяевам журналов, печататься в которых было весьма престижно). В разные годы здесь жили Некрасов, Гончаров, Языков, Григорович, Тургенев, Писарев. Одно время, когда его связь с Лелей Денисьевой стала явной, снимал у Лопатина квартиру Тютчев (до дома, где жила Леля с только что родившейся дочерью, было несколько минут ходьбы).

После того как рядом с коллегами поселился Виссарион Григорьевич Белинский, дом стали называть «литературным». Под этим именем он и остался в истории. И уже не было оснований говорить о чем-то магическом, привлекающем сюда литераторов. Для всех было очевидно: Белинский и есть этот мощный магнит. В его кружок входили все известные петербургские писатели, часто приезжали москвичи, Герцен и Огарев.

После беседы с «неистовым Виссарионом» каждый получал такой заряд творческих сил, что всякие сомнения в своих возможностях (а они неизбежно свойственны любому таланту) рассеивались, и писатели, такие разные, буквально набрасывались на работу. Его приговор считали окончательным и обжалованию не подлежащим. Он был строг в оценках, даже суров, но... Достаточно вспомнить,



В. Г. Белинский

как часто жестко и обидно критиковал Николая Алексеевича Некрасова, которого искренне любил. А когда прочитал стихотворение «В дороге» — был счастлив. Бросился Некрасову на шею: «Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный!»

И еще один талант открыл Белинский. Несколько вечеров в его квартире читал, краснея от смущения, свою «Обыкновенную историю» молодой Иван Александрович Гончаров. Через несколько дней Белинский написал о нем: «...лицо совершенно новое в нашей литературе, но уже занявшее в ней одно из самых видных мест». И Гончаров поверил в себя...

А Федор Михайлович Достоевский вспоминал: «Воротился я домой уже в четыре часа светлой, как днем, петербургскую ночью. Стояло прекрасное теплое время и, войдя в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович с Некрасовым бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут (накануне Достоевский дал Григоровичу почитать только что законченную рукопись “Бедных людей”. — И. С.). Они пробыли у меня с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, главное — о Белинском. “Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите — да ведь это человек-то, человек-то какой!” — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками.

Некрасов отнес рукопись Белинскому тем же утром. “Новый Гоголь явился!” — закричал Некрасов, входя к нему с “Бедными людьми”. “У вас Гоголи-то как грибы растут”, — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении: “Приведите, приведите его скорее!” ...И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему... Он заговорил пламенно, с горящими глазами: “Да вы понимаете ли сами-то, что это вы такое написали!” ...Я припоминаю ту минуту в самой полной ясности, и никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом».

И такими минутами Белинский одарил многих и многих, кто стал славой отечественной литературы. С его благословения, с его помощью и поддержкой. «Достоевский, Некрасов, Тургенев, Толстой, Григорович, Гончаров, Панаев суть дети Белинского, его

вскормленники». С этими словами современника не просто охотно, но с гордостью соглашались все, кто удостоился чести быть названным в этом списке.

Дом № 68 долго еще хранил дух того прекрасного времени. Долго. Что бы ни менялось вокруг. Он был неподвластен самым роковым переменам.

Но... 6 сентября 1941 года два фашистских самолета прорвались в Ленинград и сбросили несколько фугасных бомб. Одна из них попала в дом № 119 по Невскому проспекту (Старо-Невскому). Это был первый разрушенный дом, тридцать восемь человек погибли и были ранены. Цифра эта тогда казалась огромной. Никто и представить не мог, что ждет ленинградцев впереди...

Литературному дому ждать оставалось недолго. Ночь 28 ноября 1941 года. Воздушный налет. Прямое попадание. Наутро вышел на Невский композитор Валериан Михайлович Богданов-Березовский, живший неподалеку. На следующий день он запишет в дневнике: «Нельзя было равнодушно пройти мимо свежих развалин разрушенного фугасной бомбой дома на углу Невского и Фонтанки... Висящие балки, вывороченные взрывом наизнанку комнаты с остатками мебели, распахнутыми дверными створками в огромном, безобразно зияющем проломе трехэтажной стены при тусклом мерцании еще непотушенного пожара. Стуки заступов и лопат работающей спасательной бригады...».

Пройдет время, и этот безобразно зияющий пролом закроют плакатом. Художник Иосиф Александрович Серебряный, фронтовик, вернувшийся, как горько шутили тогда, с передовой на передовую, нарисовал девушку с нежным (блокадным) лицом. Ей бы шелковое платье, каблуки. А она в сапогах, в рабочей спецовке. Двумя тоненькими руками приподнимает носилки, на них кирпичи и мастерок — будто просит, предлагает, приказывает: помогите! И текст, обращенный ко всем ленинградцам: «А ну-ка, взяли!» Они тогда «взяли». И восстановили свой город. В том числе и этот дом, о котором принято говорить, что он единственный на Невском был разрушен во время войны.

На самом деле это не совсем так. Литературный дом — единственный, пострадавший настолько, что его не удалось воссоздать, пришлось строить совершенно новый фасад. А серьезно пострадал не

только он. Был изуродован снарядами и взрывной волной дом № 27, бомба разрушила центральную часть дома Энгельгардта (№ 30), украшенную колоннадой. Но их после снятия блокады удалось восстановить в первоизданном виде.

В первые же месяцы войны (раньше, чем дом № 68) бомба разрушила несколько корпусов Гостиного двора, другая попала в Аничков дворец, снаряды — в Сергиевский, в Казанский собор попало три тяжелых снаряда, в крыше и куполе было тысяча шестьсот (!) пробоин. Осенью 1942 года двухсотпятидесятикилограммовая бомба упала на Аничков мост. Если бы в самом начале войны Клодтовских коней не сняли с пьедесталов и не закопали в саду Аничкова дворца, они бы наверняка погибли. А 12 января того же 1942-го зажигательная бомба упала на Гостиный двор, в пересечение Невской и Садовой линий. Начался пожар. И люди, истощенные, едва стоявшие на ногах (не только пожарные, не только работники милиции, но и случайные прохожие), не дали пламени охватить весь Гостиный двор и, главное, перекинуться на Публичную библиотеку. Сегодня это кажется невероятным, кажется подвигом, а тогда... Они просто спасали свой город, его несравненную красоту.

О блокадном городе, его героях и жертвах (не только о людях, но и о домах) можно и нужно рассказывать бесконечно, но эта книга — о другом. Так что ограничусь стихами Александра Петровича Межирова, поэта, воевавшего на Ленинградском фронте и не однажды бывавшего в осажденном городе:

Вновь убеждаюсь в этом:
Даже тогда — в грязи и золе
Невский был самым красивым проспектом
Из всех проспектов на всей земле...
Без стопа, без крика снося увечье,
Которое каждый снаряд несет,
Он был красив красотой человеческой,
Самой высокой из всех красот.

А с литературным домом связана одна романтическая история (как раз о красоте человеческих чувств). Летом 1941 года молодой архитектор Борис Журавлев добровольцем ушел на фронт. Воевал под

Гатчиной. Там же оказалась и студентка театрального института Нина Браташина, тоже боец-доброволец. Она вынесла раненого Бориса из-под огня. Успели сказать друг другу всего несколько слов — его увезли в госпиталь. Но это была любовь с первого взгляда... Искали друг друга. Не нашли. Каждый думал, что другой погиб. Но после войны встретились. Случайно. И больше уже не расставались. После победы был объявлен конкурс на строительство нового фасада Литературного дома. Победили Борис Николаевич Журавлев и его товарищ Игорь Иванович Фомин. Когда было решено поставить на крыше дома две скульптуры — рабочего и колхозницы, — Журавлев предложил: позировать будем мы с женой. И позировали. Скульптуры до недавних пор стоят по краям фронтона, напоминая кому-то композиции великого Кваренги, кому-то — историю любви архитектора и его жены. Так было до раннего утра 6 января 2011 года. Нет, их не сбросили. Их поместили в специально подготовленную конструкцию и в ней спустили на землю. Правда, как-то так случилось, что не уберегли, — раскололи. Новые хозяева литературного дома обещают, что они вернуться на место после реставрации — когда само здание полностью снесут, а потом «воссоздадут». Полностью снесут... А ведь в самом начале работ заверяли, что к главному фасаду даже не прикоснутся. Не прошло и месяца, а он уже крошился под отбойными молотками... И это при том, что разрешение было получено только на «демонтаж аварийных конструкций с сохранением стен лицевых фасадов». Кстати, «аварийность» дома № 68 тоже вызывает большие сомнения. Печальный опыт показывает, что застройщики (читай: новые хозяева города) отменно научились добиваться признания аварийными тех сооружений, которые мешают им осуществлять свои планы. А фасад мешает: не разобрав старый фундамент, невозможно устроить подземный паркинг. А какая без него гостиница! Между тем кое-кто уже суетливо подсчитывает, какие прибыли она принесет. Место-то уж больно «сладкое»... А те, кто по тем или иным причинам (более или менее неприглядным) оправдывает снос всего здания вместе с фасадом, заявляя, что и дом жалеть не стоит: он же — новодел, и доска мемориальная не на месте висела (вход в квартиру Белинского был с Фонтанки). Но дом-то был один, и называют его все-таки не домом Белинского,

а Литературным домом. К тому же не стоит забывать: Виссарион Григорьевич неоднократно менял квартиры в доме Лопатина.

Рассказ об утратах Невского проспекта я закончу Знаменской площадью, уже многие годы именуемой площадью Восстания. Старо-Невского не касаюсь: он не избежал изменений, но, на мой взгляд, ни одно из них нет оснований считать печальной утратой. А вот о площади этого, к сожалению, не скажешь.

История этого участка Невского поначалу была не слишком богата событиями. Главной его достопримечательностью был Слоновый двор. Первый слон в Петербурге появился еще в 1714 году. Его прислал персидский шах в подарок императору Петру. Государь приказал построить для невиданного животного Зверовой двор неподалеку от своего жилища, напротив почтового двора, который находился тогда на месте Мраморного дворца. Царское семейство часто навещало слона, дети и взрослые с интересом наблюдали за диковинным существом.

Но когда императрица Анна Иоанновна узнала, что шах Надир отправил ей в подарок уже не одного, а четырнадцать слонов, пришлось призадуматься, где их разместить. Вот и построили на том месте, где теперь гостиница «Октябрьская», громадные сараи из дубовых бревен с камышовыми крышами. Сараи и прилегающий к ним обширный двор обнесли крепкой высокой изгородью, на ворота повесили доску с надписью: «Слоновая Ея Императорского Величества охота». Позаботились и о месте для купанья слонов (выбрали для этого Фонтанку, в ней вода была самая чистая и мягкая), укрепили все мосты на Невской перспективе — к тому времени они поизносились и могли не выдержать тяжести огромных животных.

Делали это не зря. Стадо слонов проходило по Невскому довольно часто — Анна Иоанновна была большая охотница до всякого рода экзотики. Вот и выезжала, величественно восседая на слоне в домике-паланкине, расшитом бисером. Вслед за ней шествовала свита. Особо приближенные — тоже на слонах. Медленно, торжественно процессия двигалась по Невскому к Адмиралтейскому лугу, пугая и восхищая толпящихся по всему пути обывателей.

После того как последний слон благополучно завершил свой земной путь, ничего интересного на этом участке Невского не проис-

ходило до того времени, когда на месте, где сейчас станция метро «Площадь Восстания», по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны в 1765 году не построили маленькую деревянную церковь в честь Входа Господня в Иерусалим. Событие это — одно из самых ярких в последние дни земной жизни Иисуса Христа. После воскрешения Лазаря (а случилось это за шесть дней до Пасхи) Иисус в сопровождении учеников и многочисленных свидетелей чуда, готовых следовать за ним куда угодно, отправился праздновать в Иерусалим. Въехал он в город верхом на осле, как было сказано пророками: «Царь твой грядет, сидя на молодом осле». Люди приветствовали его, веря, что пришел он, чтобы освободить народ. Срезали ветви пальм и устилали ими его путь. Вошел он в храм, изгнал из него торговцев и менял, после чего начал исцелять слепых и немощных. Иудейские первосвященники негодовали: необыкновенное почитание, которое вызывал Мессия в народе, лишало их паствы. Тогда-то и решили они убить Иисуса.

Елизавета Петровна считала, что в честь этого события в городе обязательно должен быть храм. Построили его только через три года после ее смерти — все денег не хватало, но завещанные ею реликвии сберегли и передали в храм. Там они и оставались до 20-х годов XX века — до варварского изъятия церковных ценностей (об этом мне еще предстоит рассказать). Особенно дорожили священники и прихожане двумя дарами государыни: большим напестольным серебряным крестом с драгоценными камнями и иконой Знамения Пресвятой Богородицы в серебряной вызолоченной ризе с восемью бриллиантовыми венками. Это была одна из самых любимых икон Елизаветы Петровны. И еще одна икона была дарована новому храму — старинный образ Знамения Пресвятой Богородицы, писанный еще в 1175 году, вскоре после того, как икона Знамения спасла от разорения и гибели Великий Новгород.

Было это в 1170 году. Войска владимирского князя Андрея Боголюбского и его союзников осадили богатый и независимый Новгород. Силы были неравны, и новгородцам ничего не оставалось, кроме как молиться о чуде. На третью ночь осады был новгородскому архиепископу Илие дивный глас, повелевший ему взять из церкви Спаса на Ильине улице икону Богородицы и обойти с нею крепостную стену. И вот архиепископ выносит икону на кремлев-

скую стену. Стрелы неприятеля летят навстречу. Одна из них вонзается в святой лик, и из глаз Богоматери катятся слезы... Ужас охватывает нападающих, они бросаются в бегство. Ободренные новгородцы вступают в бой — и побеждают. В честь победы в братоубийственной междоусобице и установлен праздник этой иконы. Богоматерь Знамение принадлежит к иконописному типу, именуемому Оранта, что значит «молящаяся». На груди ее изображение Божественного младенца, руки подняты и раскинуты в стороны, ладони раскрыты — таков традиционный жест заступнической молитвы. Так вот, именно эти особо почитаемые иконы и привели к тому, что церковь стали называть в народе не Входиерусалимской, как задумывала императрица, а Знаменской.

Скоро она перестала вмещать прихожан: город к концу XVIII века быстро разрастался, застраивался, а храмов в этом районе — бедном, населенном в те времена в основном рабочим людом — было мало. В 1794 году позади деревянной церкви (она стояла по красной линии проспекта) начали возводить каменный храм. Строить его доверили Федору Ивановичу Демерцову, человеку незаурядного дарования и необычной судьбы. О нем у меня будут серьезные причины рассказать в следующей главе, а пока — о первой построенной им церкви. Внешне она была строгой, сдержанной, но не аскетичной: входы (их было три) представляли собой лоджии, декорированные колоннами ионического ордера, к ним вели широкие пологие лестницы. Традиционное русское пятиглавие было отсечено от основного объема здания широким многопрофильным карнизом; над ним поднимались купола: один — мощный, его широкий барабан украшали колонны коринфского ордера; четыре малых купола составляли с главным, большим великолепно скомпонованную монолитную группу, придавали белоснежному храму торжественность и монументальность. В этом легко убедиться и сегодня: Знаменская церковь осталась на фотографиях, почтовых открытках, кадрах кинохроники.

В противовес сдержанному внешнему облику интерьер храма был наряден и эффектен: блеск беломраморных колонн и пилястров с золочеными капителями, позолоту иконостаса, живопись купола и сводов освещал свет, льющийся из двенадцати высоких окон большого барабана. Казалось, здесь всегда светит солнце.



Знаменская церковь

Долго еще, даже и после того как был построен Николаевский (сейчас — Московский) вокзал, Знаменская церковь оставалась единственной прекрасной жемчужиной среди жалких и неухоженных соседей. Анатолий Федорович Кони (выдающийся юрист, обер-прокурор уголовно-кассационного департамента Правительствующего Сената — высшая прокурорская должность в Российской империи, сенатор, член Государственного Совета), сетуя на то, какое удручающее впечатление получали люди, приезжающие в столицу впервые, писал: «Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила. Это Лиговка, на месте нынешней Лиговской улицы. На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка — небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка — будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него высокий кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом книзу. У будочника есть помощник, так называемый подчасок. Они оба ведают безопасностью жи-

телей и порядком на вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться из ближайших окрестностей будки. Будочник — весьма популярное между населением лицо...».

Вряд ли стоит сожалеть о том, что все это утрачено. Разве что о будочнике, который ведал безопасностью и порядком и не отлучался со своего места...

Площадь давно уже приобрела вполне респектабельный вид, хотя так и не стала в один ряд с прославленными петербургскими площадями. В 1909 году ее украсили — поставили в центре памятник Александру III. Памятник в своем роде замечательный. Уверена, что его снос был ошибкой, причем не только градостроительной, но и идеологической (если попытаться встать на позицию советской власти): вряд ли изображенный скульптором Паоло Петровичем Трубецким всадник мог вызывать нежные чувства к монархии. Скорее — наоборот. Так что большевики могли спокойно оставить его на месте.

Добавлю только, что с этим памятником все получилось как-то не так. Много лет он стоял во дворе Русского музея — в ссылке. Но когда из ссылки решили вернуть, не нашли лучшего места, чем дворик Мраморного дворца. Мало того, что ему там тесно, что он стилистически несовместим с изысканным шедевром Ринальди, так есть еще один момент, чисто человеческий, которым не следовало пренебрегать: Александр Александрович и хозяин дворца Константин Николаевич, родной дядя императора, друг друга терпеть не могли. Более того, племянник, сместив дядюшку со всех должностей, обязанности по которым тот исполнял блестяще, приблизил смерть великого князя.

Понимаю, думать о том, какие чувства могло бы вызвать у Константина Николаевича появление у входа в его дворец памятника нелюбимому племяннику, с позиций рациональных людей наверняка нелепо. И все же... Как-то это не по-людски. По отношению к памяти обоих.

Но вернусь к Знаменской площади, к ее главному украшению и главной утрате. Мама рассказывала мне, как была удивлена, когда ее повели к Знамению, а не в приходский храм нашей семьи, собор Владимирской Божьей Матери. Начала капризничать: собор ей нравился, она к нему привыкла. К тому же — совсем близко от дома. Бабушка строго сказала: «Туда мы больше ходить не будем. Там —

обновленцы». В подробности не вдавалась, да ребенку было и не понять. Впрочем, что обновленцы — это плохо, уяснила раз и навсегда. В 20-е и в начале 30-х годов XX века Знаменская церковь всегда была переполнена: сюда стали ходить и ездить многие, кто не принял обновленчества, которое при поддержке власти обосновалось в большинстве еще действующих церквей. Еще действующих... Их оставалось все меньше. Знаменскую много раз порывались закрыть. И закрыли бы, если бы не один ее неизменный прихожанин. Звали его Иван Петрович Павлов — великий ученый, первый русский нобелевский лауреат. И глубоко верующий человек. Он даже ездил в Москву, просил руководство страны не закрывать храм. Впрочем, просить он не очень-то умел, скорее — требовал. Отказать ему не посмели. Обещали... Иван Петрович скончался 27 февраля 1936 года. Уже в начале марта храм закрыли. В 1940 году снесли. На его месте построили наземный вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Говорят, архитекторы пытались сделать нечто, хотя бы отдаленно напоминающее погубленную церковь. Может быть, и пытались. Только получилось напыщенно и претенциозно. Впрочем, после недавнего явления очередного стеклянного монстра в створе Невского и Знаменской (улицы Восстания) здание станции метро можно счесть нетленным шедевром архитектуры. Говорить об этом новом сооружении сейчас не хочется. Можно только посоветовать тем, кто, приезжая в наш город, с Московского вокзала выходит на Невский и смотрит вперед, в сторону сияющей Адмиралтейской иглы, просто перевести взгляд чуть влево — тогда новостройка не попадет в поле зрения и одна из самых прекрасных панорам города предстанет перед ними во всем своем строгом величии. И Адмиралтейская игла будет звать и манить, как звала и манила долгие (или все же короткие?) три века. Не нужно сопротивляться. Лучше пойти по Невскому проспекту. Не по магазинам, не по ресторанам, даже не по театрам или музеям. Нет. Просто по тротуарам, которые помнят...

«Невский проспект есть всеобщая коммуникация». Это Гоголь сказал. Без малого двести лет назад. Может, и правда?

Вот мелькнула у поворота с Мойки крылатка. Какая легкая походка... Пушкин! Куда он повернет? К «Вольфу и Беранже»? Или к книжной лавке Смирдина?

Вот у входа в лавку учтиво раскланиваются, уступая дорогу друг другу, два немолодых господина. Карамзин! Жуковский!

Вот легкой рысью поспешает в сторону Аничкова дворца холеная тройка, сверкает на солнце серебряный шлем седока. Прямая спина. Пронизывающий холодный взгляд. Сам император Николай Павлович возвращается из постылого Зимнего дворца в свой «Аничков рай». С ним только кучер и адъютант. Никакой охраны.

А вот тучный старик, тяжело опираясь на трость, сворачивает на Садовую. Иван Андреевич Крылов. Тридцать два года изо дня в день ходил он этим маршрутом на службу, в Публичную библиотеку.

А это уже совсем недавно, на памяти ныне живущих... Из-за угла Рубинштейна появляется огромного роста красавец. Сергей Довлатов. Кажется таким уверенным, спокойным. Кажется...

А там, на другой стороне, — такая знакомая фигура. Иосиф Бродский. Он тоже любил Невский.

«Боже, сколько ног оставили здесь следы свои!»



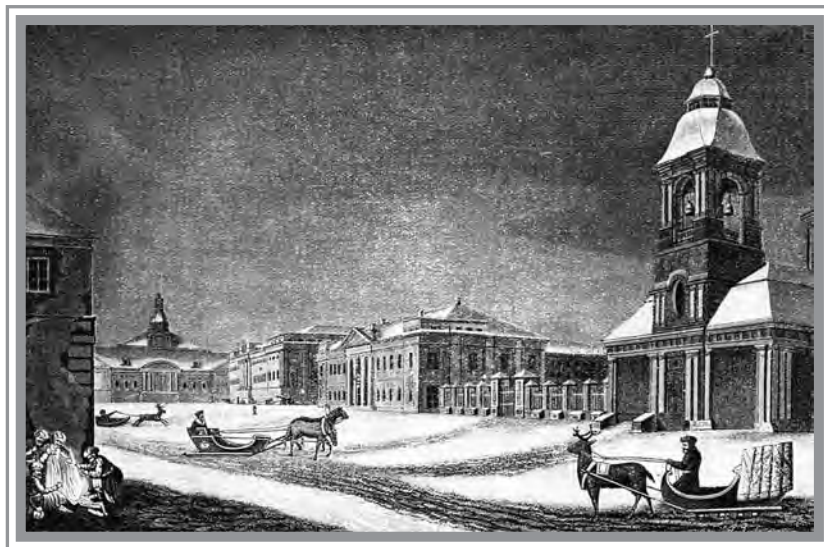
Транспорт на Невском проспекте. 1901 год

УТРАТЫ ЛИТЕЙНОЙ ЧАСТИ



Участок, ограниченный Невой, Фонтанкой, Большой перспективой и Лиговским каналом, называли когда-то Литейной частью. Сейчас это центр города. А тогда — глухая окраина. Единственная постройка — «литейный анбар». В нем, маленьком, мазанковом, льют первые пушки для российского флота. Флота-то еще толком нет, но пушки лить сам император приказал, и место для литейного двора сам выбрал — понятно, на берегу Невы: доставлять пушки в Адмиралтейство по воде сподручней.

Начало работать литейное производство, второе после верфи промышленное предприятие нового города, в 1711 году. И почти сразу стали строить большой каменный Литейный дом (сейчас на его месте въезд на Литейный мост). С 1713-го и строительством, и производством руководил генерал-фельдцейхмейстер Яков Виллимович Брюс.



*Литейный двор в конце XVIII века.
С гравюры Мальтона. 1798 год*

Отступление о придворном чародее

Мне случалось читать, будто в петровской России не было своих инженеров, потому приходилось их приглашать из-за границы. Первым в списке таких приглашенных обычно называют Брюса. Думается, подход это формальный и для Якова Вилимовича обидный. Начнем с того, что никто его в Россию не приглашал. Он родился в Москве, там жило уже не первое поколение Брюсов. Да, происходил он из знатного и древнего шотландского рода, среди его далеких предков были короли, но по существу, по духу, по преданности родине был он человеком абсолютно русским. Так вот, этому первому русскому инженеру, ученому, государственно-му деятелю, полководцу да просто своему близкому другу и поручил Петр наладить литейное дело. И не прогадал.

Брюс не по чужим рассказам знал, как много значит артиллерия. Он ведь участвовал в Крымских и Азовских походах Петра, видел, что не всегда исход боя зависит от мужества и отваги солдат, да и от таланта полководцев тоже. Понимал, что без артиллерии победы в Северной войне не видать, и все знания, весь талант инженера и организатора положил на создание отечественной артиллерии (наемники, даже самые честные, так не работают). На его плечи друг-император возложил груз неподъемный — создавать новые, все более совершенные образцы оружия, строить литейные и пороховые заводы, следить за их работой, обучать мастеровых, вовремя снабжать оружием несколько действующих армий, закупать необходимую технику и материалы за рубежом. А еще обучать артиллеристов (они должны быть значительно более образованны, чем офицеры и солдаты других родов войск). Каким-то загадочным образом он успевал все. Не тогда ли и возникла легенда, будто Брюс не иначе как колдун? Обычному человеку уследить за всем, разобраться во всем — не по силам...

А еще он умел воевать. Геройски. Помните, у Пушкина:

За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В временах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

За Полтавскую баталию Яков Брюс был удостоен высочайшей награды России — ордена Андрея Первозванного. Впрочем, путь его не был усыпан розами. Отнюдь. Через пять лет после Полтавы — пять лет неустанных «трудов державства» — был он обвинен в хищении каз-

ны. Не нам, спустя почти три столетия, судить, были Брюс виновен. Пользоваться государственной казной как собственным карманом было у птенцов гнезда Петрова в порядке вещей, но все же, судя по косвенным сведениям, на Брюса это не похоже. Тем тяжелее было пережить опалу. Петр ведь не раз и не два прощал Меншикова, пойманного, что называется, за руку... Ну, отлупит палкой — и продолжай, Данилыч, в том же духе. Он и Брюса простил. Правда, палкой не бил — уважал. Но ждать прощенья заставил долго — почти два года. Зато сразу искупил наказание высокими назначениями — сделал сенатором и президентом Берг- и Мануфактур-коллегий, да к тому же привлек к составлению воинского артикула. Чтобы понять, какая огромная ответственность вновь легла на плечи Брюса, нужно знать, что это такое — коллегии. Так вот, это нечто похожее на министерства (они появятся в России только в 1802 году, при Александре I).

Берг-коллегия ведала горнорудной промышленностью: поиском, добычей, переработкой полезных ископаемых, строительством новых заводов, обучением мастеровых. Кроме этого Брюс организовал первую в России лабораторию для пробирного исследования руд и металлов.

Мануфактур-коллегия отвечала за развитие всей российской промышленности и создание мануфактур, которые объединяли в одной мастерской ремесленников разных специальностей, чтобы в одном месте можно было выполнить законченный цикл производства какого-то продукта. В то время это была самая передовая форма организации производства.

Мало того, что Брюс успевал все по своим должностям, он еще не оставил и обучение артиллеристов. Его ученики блестяще покажут себя в будущих войнах.

Заслуги Якова Вилимовича не остались незамеченными — Петр возвел его в графское достоинство. Но самой большой наградой было абсолютное доверие государя. Он не считал зазорным попросить совета в тех делах, в которых, по его мнению, Брюс его превосходил. Прежде

всего это касалось науки. Брюс был одним из самых образованных людей своего времени, причем образованных всесторонне. Его знания математики, физики, естественных наук, в особенности астрономии и, разумеется, классической механики и линейной оптики, на которых она базируется, поражали современников. Он никогда не упускал возможности узнать новое. Пребывая в Англии в составе Великого Посольства, беседовал с самим Исааком Ньютоном, а потом больше года учился у одного из его самых одаренных учеников. Эти занятия не прошли даром. Петр действительно получил «своего» ученого в дополнение к тому, что уже имел в том же лице «своего» знатока артиллерии. Надежного, преданного.

Сразу после смерти императора Брюс подал в отставку. Екатерина в знак благоволения произвела его в генерал-фельдмаршалы, но со службы отпустила. Похоже, понимала: никому, кроме своего любимого государя, этот гордый, независимый человек служить не будет. Брюс уехал в Москву и, наконец, смог целиком посвятить себя науке. Впрочем, он еще и руководил Навигацкой школой. Потребность передавать свои знания молодым в нем не угасла. Навигацкая школа помещалась в знаменитой Сухаревой башне. Там Брюс создал первую в России обсерваторию. Вот тут-то с новой силой и поползли слухи, что, мол, живет в этой, ни на что не похожей башне, чародей-чернокнижник. Неопровержимым тому подтверждением сочли так называемый Брюсов календарь, в котором содержались ответы на все вопросы, какие только могут возникнуть у человека, а еще — пророчества, не хуже, чем у Нострадамуса. Календарь этот много раз переиздавали, дополняли, переделывали, но продолжали именовать Брюсовым, хотя и первоначально издан он был всего лишь «под надзором Якова Вилимовича Брюса», а составлял его известный в ту пору издатель Василий Онуфриевич Киприянов.

После выхода календаря слухи усилились. Рассказывали, будто однажды летом на глазах у гостей Брюс заморозил пруд и предложил покататься на коньках. И ката-

лись! Будто темными ночами летает он над Москвой на железном коне. И ведь свидетели находились. Божилась: своими глазами видели! Будто... Да много всякого! Но главное — умеет оживлять мертвых и омолаживать стариков. Уверяли, что сам волшебник будет жить вечно. А когда умер, нашли объяснение: прежде чем омолодиться, должен он был себя умертвить. Над мертвым нужно было произвести какие-то таинственные манипуляции. Научил старого слугу, что и как делать, а тот возьми и перепутай порядок действий, вот и не сумел оживить барина.

Незадолго до смерти Брюс передал Академии наук несколько ящиков «куриозных вещей» — часть коллекции, которую собирал всю жизнь. Это были в основном разные редкие приборы и технические приспособления. Но большая часть коллекции, представляющая несомненный научный интерес, осталась в Сухаревой башне. Императрица Анна проявила завидную расторопность: приказала перевезти в Академию все оставшиеся «куриозы» и, главное, библиотеку покойного (прямых наследников у него не осталось, все его достояние переходило к племяннику, сыну старшего брата Романа Вилимовича, бывшего когда-то первым обер-комендантом Петербурга). Библиотека была по тем времена выдающаяся: около тысячи шестисот томов на четырнадцати языках, в основном книги научные, в том числе труды по эзотерике, астрологии, восточным религиям. Это укрепило публику в убеждении, что любимец Петра был чародеем.

Но нам-то интересна другая его ипостась: основоположника русской артиллерии, а еще — одного из создателей нашего города. Я уже писала, что именно Брюс руководил строительством и работой Литейного дома. Так вот, Петр указал место на берегу Невы, где следует поставить этот дом. А уж дальше... Поставили дом «спиной» к реке, «лицом» к лесу, на котором предстояло вырасти городу.



Литейный дом и оба арсенала

Чтобы связать Литейный дом с другими концами строящейся столицы, по приказу и под присмотром Брюса прорубили просеку, ведущую к Большой першпективе. Так началась история Литейного проспекта. Что же до Литейного дома, то, судя по довольно многочисленным сохранившимся изображениям, был он весьма импозантен: стройная башня в центре и высокая ломаная кровля делали его похожим скорее на дворец, чем на промышленное здание. Его снесли уже в последней четверти XIX века, когда передвинули плашкоутный Воскресенский мост на то место, где сейчас мост Литейный, который вскоре и построили. Открыть въезд на мост с Литейного проспекта, который уже успел стать одной из центральных магистралей столицы, было необходимо, так что Брюсов **Литейный дом** был обречен. И это, несомненно, была утрата. Хотя и неизбежная. Чего нельзя сказать о других утратах Литейного проспекта — уничтожать или уродовать многие великолепные здания необходимости решительно не было никакой. Литейный двор предопределил не только появление одного из главных проспектов города, но и его предназначение: рядом строили

многое, потребное артиллерийскому ведомству. Были постройки чисто утилитарные, были — выдающиеся. Именно таким оказался **Старый Арсенал** (стоял он на участке дома № 4 по Литейному).



Старый Арсенал. Начало XIX века

Великолепие этого здания дало основание приписывать его постройку (во всяком случае, проект-то наверняка) самому Василию Ивановичу Баженову, хотя на самом деле его начинал строить немецкий инженер фон Дидерихштейн, а заканчивал архитектор Карл-Иоганн Шпекле, совершенно незаслуженно забытый и даже лишенный права называться автором лучшей своей постройки. А был он, между прочим, учеником самого Растрелли и заслужил такой вот отзыв учителя: «...оба брата (великий зодчий имел в виду Карла-Иоганна и его брата Пауля. — *И. С.*) как в рисовании чертежей, так и на практике достаточное искусство имеют, тако же и в поступках себя оказывают как честным и добрым людям надлежит». После отъезда Растрелли из Петербурга работал Карл-Иоганн архитектором в канцелярии Главной артиллерии и фортификации и имел чин майора.

Уроки мастера Шпекле усвоил: фасад Старого Арсенала был величествен и гармоничен, портик центрального ризалита торжественно строг. Рельефы и арматура на фасадах, скульптуры в угловых нишах делали его украшением не только Литейного проспекта, но и одним из самых выразительных сооружений города. Простоял Старый Арсенал почти сто лет, но в 60-х годах XIX века решили разместить в нем Окружной суд. Для этого зачем-то понадобилось уничтожить весь великолепный классический декор, заменив его барельефом, изображающим суд Соломона, и многообещающей надписью на фронтоне: «Правда и милость да царствуют в судах». Это стало началом конца одного из шедевров петербургской архитектуры. Второй этап этой растянувшейся на годы гибели наступил в дни февральского переворота, именуемого «бескровной демократической революцией в интересах всего народа». Мятежные толпы подожгли тогда департамент полиции, охранное отделение, Литовский замок, многие полицейские участки. Не избежал той же участи и Окружной суд. О том, что ненавистное учреждение размещено в памятнике архитектуры, никто, разумеется, не думал. О восстановлении сожженного здания и речи не шло: Временному правительству было не до него, большевики, захватившие власть через восемь месяцев, одним из первых декретов (от 16 ноября 1917 года) все старые суды упразднили. С восторгом, с уверенностью в собственной правоте. «Долой суды-мумии, алтари умершего права, долой судей-банкиров, готовых на свежей могиле безраздельного господства капитала продолжать пить кровь живых, — писал Луначарский, не самый кровожадный из вождей революции, — да здравствует народ, созидающий в своих кипящих, бродящих как молодое вино, судах, право новое — справедливость для всех, право великого братства и равенства трудящихся».

Обгоревшие руины простояли на Литейном проспекте рядом с Сергиевским собором двенадцать лет. В 1929 году их разобрали. Храму тоже недолго оставалось ждать своей участи...

На их месте построили символ «нового права» — Большой дом. Но об этом чуть дальше.

А почти напротив Старого Арсенала (пока его еще не коснулись переделки) вырос Новый Арсенал, ничуть не уступающий своему величественному *vis-a-vis*. Более того, появление **Нового**

Арсенала завершило создание стройного ансамбля разновременных, но перекликающихся между собой построек, способного достойно соседствовать с создававшимися в это время первыми грандиозными ансамблями города. На рисунках Степана Филипповича Галактионова (во все времена в Петербурге, к счастью, находились замечательные художники, оставившие нам документально точную память об облике города), рисовавшего Литейную улицу в 1821 году (тогда это была еще улица, не проспект) оба Арсенала — как царственные братья: один вовсе не копия другого, но родство чувствуется сразу. Это огромное, к сожалению, в последние годы утраченное совершенно, уважение зодчего к своим предшественникам, только и способное создать ансамбль, — одно из важнейших достоинств автора проекта и строителя Нового Арсенала Федора Ивановича Демерцова. Эту постройку считали вершиной его творчества.

Огюст де Монферран, создатель Исаакиевского собора, говорил, что строить храмы много труднее, чем строить дворцы. Думаю, строить здания утилитарного назначения (если, конечно, хочешь, чтобы они были красивы и гармоничны) еще труднее: есть риск сделать что-то сухое, безликое. Демерцову удалось (не забыв о практическом назначении) построить здание триумфальное, утверждающее могущество государства и несокрушимость его армии. Он увенчал свой Новый Арсенал мощным аттиком, законченным композицией из воинских доспехов, знамен и ядер; аттик был отделен от величественного восьмиколонного портика (точнее, пожалуй, объединен с ним) широким фризом и карнизом; портик опирался на высокую сквозную аркаду. И еще: центральный ризалит связывали с боковыми подчеркнуто строгие, скромные соединительные корпуса, а вдоль них на всю длину здания на высоких постаментах стояли пушки. Это был тот случай, когда о патриотическом чувстве никто не говорил, никто его навязчиво не «формировал». Оно возникало совершенно спонтанно от одного взгляда на Новый Арсенал.

В этом можно убедиться, посмотрев фотографию 1870 года. Это объективное свидетельство. И — последнее. Именно этот год стал для Нового Арсенала роковым: с него сорвали весь классический декор, «украсили» эклектическими «бантиками» — и преврати-



Новый Арсенал. Фото 1870-х годов

ли монументальное сооружение во вполне пристойную, но совершенно заурядную постройку. Такой вот мещанский вариант «украшательства»: чтобы было, как у всех.

Позволю себе процитировать несколько строк из книги Нонны Васильевны Мурашовой «Федор Демерцов». Автор очень много сделала, чтобы вернуть городу память об одном из его выдающихся зодчих. Так вот: «Было бы справедливо вернуть “одному из величайших зданий Северной столицы”, как называл в “Отечественных достопримечательностях” Новый Арсенал П. Свиньин, его первоначальный вид и, как прежде, поставить по сторонам ризалита пушки. Это было бы вполне уместно, так как в здании размещаются факультеты Военного артиллерийского университета (Литейный пр., 3)».

Чтобы читатель мог оценить мнение человека, на которого ссылается автор книги, позволю себе несколько слов об этом достаточно любопытном персонаже. Павел Петрович Свиньин был личностью многогранной: писатель, издатель, журналист, художник, историк, географ, коллекционер, да к тому же еще и сотрудник дипломатического ведомства. Его путевые заметки и сейчас читаешь без скуки. Правда, за достоверность написанного поручиться едва ли кто возьмется. Александр Сергеевич Пушкин писал о Свиньине так: «Павлушка был опрятный, добрый, прилежный мальчик, но имел большой порок: он не мог сказать трех слов, чтобы не солгать». Что говорить, качество малопривлекательное. Но были у Пав-

ла Петровича и неоспоримые достоинства: с 1818 по 1830 год он издавал журнал «Отечественные записки», в 1838-м возобновил издание, а через год передал его Краевскому, не подозревая, что тут-то и начнется всероссийская слава созданного им журнала.

В своей квартире на Караванной Свиньин часто устраивал литературные вечера. На них бывали не только ныне забытые писатели, но и Пушкин, Грибоедов, Крылов. Принято считать, что сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Свиньин, не без юмора рассказывавший о своей поездке в Бессарабию. Кроме того, он был первым собирателем русской живописи и скульптуры, создателем первого «музеума» отечественного искусства. В архитектуре он наверняка тоже кое-что смыслил, так что можно довериться его оценке Нового Арсенала и погоревать еще об одной утрате.

Демерцову вообще хронически не везло: все лучшее, что он построил, было либо разрушено, либо грубо и безжалостно переделано. Вот Сергиевский собор, о котором я уже упоминала, рассказывая о Старом Арсенале. У него долгая и печальная история. Еще в 1729 году на пересечении будущего Литейного проспекта и отходившей от него одной из трех Пушкарских улиц (потом она станет Артиллерийской, затем — третьей Береговой, потом, после постройки церкви, — Сергиевской, потом, в эпоху победившего атеизма — улицей Чайковского) построили маленькую деревянную церковь во имя преподобного Сергия Радонежского. Число рабочих Литейного дома, арсенала, фурштадского двора, служащих артиллерийского ведомства, солдат и офицеров-артиллеристов, чьи казармы строили вблизи Литейного дома, росло, без своего приходского храма было не обойтись.

Почему в районе, заселенном в основном людьми, причастными к воинской службе, решили строить церковь во имя святого Сергия — понятно. Именно он, игумен Радонежский, благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву, дал ему в помощь двух иноков своей обители: схимонахов Андрея (Ослябю) и Александра (Пересвета), а потом, во время сражения, неустанно молился о победе русского воинства.

Здание церкви, построенное в стиле петровского барокко, было однокупольным, со шпилем (напоминало церковь Симеония и Анны на Моховой, которую строили специально для императри-

цы Анны Иоанновны примерно в то же время, но ей повезло — она сохранилась до наших дней). А первая Сергиевская церковь (ее сразу стали называть еще и Артиллерийской) простояла совсем недолго: в 1738 году пожар уничтожил ее до основания. На ее месте архитектор Иоганн Якоб Шумахер (в России его называли Иваном Яковлевичем, был он родным братом другого Ивана Шумахера, академика, врага Ломоносова, который до конца дней не отказывал себе в удовольствии травить Михайлу Васильевича) немедленно начал строить новый храм, тоже деревянный, но уже без шпиль. Через год его освятили.

Но население Литейной части продолжало расти, и уже через четыре года Елизавета Петровна приказала тому же Шумахеру строить новый храм — большой, каменный. Он простоял пятьдесят лет. Был хорош, но... мал. Строить следующий храм, уже не просто большой — огромный, поручают Федору Ивановичу Демерцову (помните, в предыдущей главе шла речь о построенной им, а в 1940 году разрушенной Знаменской церкви?). На этот раз архитектор строит не традиционный русский пятикупольный собор, а однокупольный с двухъярусной колокольней в виде четырехугольной башни, не стоящей отдельно, как бывало чаще всего в подобных постройках, а ставшей непосредственным продолжением здания храма. А вот огромный купол напоминал Знаменский: под ним зодчий разместил двенадцать высоких окон, и свет из них постоянно озарял главный придел храма и великолепный резной золоченый иконостас.

Одной из главных святынь храма была Троицкая ризница — облачения для четырех священнослужителей из вишневого бархата, расшитые золотом и крупным жемчугом. Эти ризы были сшиты из личных парадных мундиров Екатерины Великой. Пожертвовал их собору последний фаворит императрицы Платон Александрович Зубов.

В 1803 году Военная коллегия и Артиллерийская экспедиция ходатайствовали перед императором Александром I о разрешении официально именовать Сергиевский собор Собором Всей артиллерии. Государь милостиво разрешил. Через тридцать два года по повелению Николая I собор был поименован Собором Всей гвардейской артиллерии. А в народе как называли еще первую



Сергиевский Всей артиллерии собор. Фото 1910-х годов

деревянную церковь просто Артиллерийской, так до конца и называли. Конец наступил в 1934 году (хотя художественная и историческая ценность храма была советской власти очевидна, судя по тому, что он состоял под охраной государства). На месте разрушенного храма построили административное здание, входящее в комплекс, принадлежавший ОГПУ-НКВД, известный как Большой дом. При строительстве использовали часть церковных стен. Конечно, это было очень рационально, очень экономно, но только слепой не увидел бы в этом изощренного издевательства.

Еще недавно в Сергиевском соборе молились. До двух тысяч человек. Службы сопровождал дивный, славившийся на весь Петербург хор. Теперь около дома, стоящего на его руинах, выстраивались бесконечные молчаливые очереди — матери, жены, дети стояли в этих очередях с передачами для своих близких, не зная, живы те или уже осуждены «на десять лет без права переписки» (кто забыл или не знает, это означало, что человека уже нет в живых). Среди тех, кто стоял в этих очередях, была и Анна Андреевна Ахматова. Ее стихи никогда не позволят забыть...

...А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условием — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь;
Ни в Царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громыхание черных марушь,
Забуть, как постылая хлюпала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с недвижимых и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег.
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли...

Федор Иванович Демерцов, разумеется, не мог и предположить, какая участь ждет его самые значительные и самые любимые постройки...

В должности архитектора Артиллерийского департамента он прослужил четырнадцать лет. Строил много. Кое-что, на удивление, сохранилось. Из крупных построек — госпиталь лейб-гвардии Семеновского полка в Лазаретном переулке (сейчас там Военно-медицинский музей) и Второй кадетский корпус на улице Красного Курсанта, 16 (на нем есть даже мемориальная доска), казармы, несколько присутственных мест Артиллерийского департамента, да еще два его собственных дома (свидетельства финансовой независимости) и три частных дома, в том числе дом Аракчеева, об отношениях с которым еще предстоит сказать. Лучшее же разрушено или... приписано другому. Этот другой — Андрей Никифорович Воронихин, в чужих лаврах вроде бы не нуждающийся. Как же такое случилось? А все дело в Строгановых, семействе несметно богатом и меценатством прославленном.

Отступление о семействе Строгановых

С конца XVIII века носили Строгановы баронский, а потом и графский титул. Свидетельствует ли это об аристократическом происхождении? Отнюдь. Существовала, правда, семейная легенда, будто основал их фамилию родственник татарского хана, перешедший на сторону Дмитрия Донского, принявший христианскую веру и воевавший под русскими знаменами против своих соплеменников. Якобы взяли его в плен и потребовали отказаться от православия. Но он был тверд в новой вере. Тогда хан приказал изрезать его на мелкие кусочки. Вот от этой, страшно сказать, «строганины» и пошла ставшая знаменитой фамилия.

Уже в середине века XIX историю эту признали «несомненной басней» и с большой степенью достоверности установили, что ведет начало род Строгановых от новгородских крестьян (рабства не знавших!). Точно известно, что в 1446 году Лука Строганов выкупил из татарского плена великого князя Василия Темного. Понятно, что выкуп пришлось заплатить немалый, так что очевидно — был Лука человек богатый, не жадный, к тому же настоящий патриот. Главным (но не единственным) источником строгановских богатств было солеварение и торговля солью. За свои услуги государям и Отечеству жаловали их все новыми и новыми землями, и в конце концов превратились они в одну из самых богатых фамилий России.

Но это — короткая и далеко не полная предыстория. Нас же интересует середина XVIII — первая половина XIX века. В главе «Расстрелянный Растрелли» я уже писала о Сергее Григорьевиче Строганове, дружившем с Растрелли, — для него великий зодчий построил пленительный дворец на углу Невского и Мойки.

К тому же окончание строительства совпало с коронацией новой императрицы, Екатерины II. Яковлев решил сделать ей приятное: когда государыня, возвращаясь из Москвы, будет въезжать в столицу, ее встретит не просто красивый храм, но храм, увенчанный короной. Он приказал водрузить корону на крест главного купола как знак преклонения, восхищения, преданности новой владычице. Надо сказать, Екатерина Алексеевна, при всем своем выдающемся уме, была падка на комплименты, тем более такие необычные. Так что в ее царствование Савва Яковлевич в просьбах своих на высочайшее имя отказа не знал.

Долгие годы автором Спаса-на-Сенной уверенно называли Франческо Бартоломео Растрелли. Документальных доказательств этому не было, но план, пропорции здания и особенно характерное только для Растрелли изящество постановки главного купола воспринимались как доказательства — хотя и косвенные, но убедительные. К тому же именно в это время Растрелли строил для Яковлева особняк. Сейчас автором проекта признают Андрея



*Спас-на-Сенной.
Фото начала XIX века*

Васильевича Квасова. Вероятно, так оно и есть. Но исключать хотя бы участие Растрелли в разработке проекта все-таки нет достаточных оснований. Правда, до конца своих дней Спас-на-Сенной дожил уже не вполне таким, каким видели его архитектор (кто бы им ни был) и храмоздатель. Пять раз его достраивали, частично перedelывали. Но великолепие и изысканность елизаветинского барокко испортить не удалось.

А классический портал, пристроенный в 1817 году Луиджи Руска, для барокко откровенно чужеродный, не вызывал протеста, потому что имел смысл градообразующий. В 1818–1820 годах ученик Тома де Томона Викентий Иванович Беретти построил напротив храма здание гауптвахты, предназначенное для полицейского

статочно сказать, что блистательно перевела на русский вторую часть «Божественной комедии» Данте.

Потом там же, в Русском музее, я познакомилась с другими членами семейства. Сначала с мужем Софьи, графом Павлом Александровичем Строгановым. Выяснилось, это тот самый «гражданин Очер», о котором, не скрывая удивления и сочувствия, писал Юрий Николаевич Тынянов.



А. С. Строганов

А портрет Павла принадлежит кисти того же Монье. Забавно: юный русский граф примкнул к Великой французской революции, художник же, член французской (а потом и российской Императорской) Академии художеств от этой революции бежал в Петербург... Павел на портрете очень хорош собой. Под стать жене. Правда,

заметно мягче. Взгляд светлый — смелость и душевная беззащитность. Таким он и был. Искусствоведы не зря подчеркивают, что Монье — не только виртуозный мастер, но и проницательный психолог. Художник писал и обожаемого сына Софьи и Павла, мальчика, чьей жизни предстоит оборваться так рано и так страшно.

Там же, в Русском музее, почетное место занимает портрет деда Павла, Сергея Григорьевича, работы одного из первых русских портретистов, непревзойденного Ивана Никитича Никитина. Изнеженный, капризный елизаветинский вельможа. А взгляд... Умный, будто всевидящий. Но и отрешенный.

А вот и его сын, отец Павла, Александр Сергеевич — одна из самых значительных фигур среди небедной на яркие личности семьи, да и среди сподвижников Екатерины Великой. С портрета работы прославленного Александра Рослина смотрит на нас человек доброжелательный, но будто оценивающий каждого, кто встречается с ним взглядом. Честно признаться, оценивает не слишком высоко. В отличие от отца это не просто вельможа, это — деятель. Действительно, Александр Сергеевич был не только крупнейшим землевладельцем и горнозаводчиком России (а надзор за таким огромным хозяйством — дело нелегкое), но и государственным мужем — сенатором, членом Государственного Совета, обер-камергером, бесменным петербургским губернским предводителем дворянства, президентом Академии художеств, директором Императорской публичной библиотеки, действительным членом Академии наук. Ко всему этому император Александр Павлович назначил его еще и членом попечительского совета при строительстве Казанского собора, а фактически именно на него возложил всю ответственность за стройку. И не случайно: по настоятельной рекомендации графа Строганова строительство было доверено молодому (не годами — опытом) архитектору Андрею Воронихину. Его портрету (предположительно, автопортрету) тоже нашлось место в Русском музее. Вот тут-то мы и подошли к объяснению взаимоотношений между Воронихиным и Демерцовым.

Так вот, Александр Сергеевич доверил воспитание своего единственного сына Павла французцу Жильберу Ромму. Все было точно так, как во всех родовитых семьях, в том числе и в царской: кроме теоретических занятий обязательные поездки сначала по России, потом — по Европе. Путешествия для познания жизни крайне необходимые. Разумеется, отпустить мальчика с одним только воспитателем было совершенно невозможно. Кроме слуг безмолвных и бесправных хорошо иметь рядом слугу-ровесника, с которым и поговорить можно, и в спортивных упражнениях посоревноваться. В такие

вот слуги-спутники к Павлу и определил заботливый отец своего крепостного Андрея Воронихина, юношу умного, деликатного и, как заметил Александр Сергеевич, не лишённого разнообразных дарований. Будущее покажет: оказался он совершенно прав. Более того, своим выбором оказал неоценимую услугу Отчеству и его столице, которую Андрею Воронихину предстояло украсить одним из самых совершенных памятников.

Павел учился, знакомился с городами и странами, с музеями и памятниками старины. Вместе с ним учился, знакомился, впитывал все новые и новые знания его крепостной слуга. Впрочем, юный граф Строганов был категорическим врагом рабства, сторонником равенства и справедливости, так что ни разу не унижил своего спутника, даже не намекнул на его зависимое положение. В этих убеждениях его поддерживал и укреплял воспитатель, мсье Ромм, человек взглядов крайне левых, как сказали бы сейчас.

Удивительное дело: Александр Сергеевич Строганов, убежденный монархист (хотя при этом и не менее убежденный гуманист), нанимает воспитателем к сыну убежденного республиканца, причем взглядов своих вовсе не скрывающего. Точно так же Екатерина II (уж в ее-то монархических пристрастиях сомневаться не приходится) выбирает в наставники любимому внуку республиканца Лагарпа. Как это объяснить? Затрудняюсь ответить. Зато уверена: «дней Александровых прекрасные начала» — одно из последствий этого странного выбора. А первое (по времени) последствие — отношение юного графа Строганова к Андрею Воронихину, отношение товарищеское, почти как к равному. Это «почти» не оскорбляло. Ну, что страшного в том, что Андрею приходилось рисовать не только то, что он хотел сам, но и то, что приказывал (хотел, чтобы лучше сохранилось в памяти) Павел. Зато специально для своего крепостного он нанимал в Париже учителей рисования, черчения, архитектуры. На оплату не скупился. В общем, Воронихину повезло. Повезло фантастически. Исключительно.

Счастливым исключением из правил стал и Федор Демерцов. Он ведь тоже был крепостным. От барина своего, князя Петра Никитича Трубецкого, получил вольную такого вот содержания: «Объявитель сего, служитель мой Федор Демерцов, обученный архитектурной и рисовальной наукам, за достаточные его в оных как в теории, так и практике знания и за отличные и порядочные в доме моем поведении отпущен от меня на волю вечно, до которого мне ныне так и наследникам моим впредь дела не иметь, а ему, Демерцову, для записи сие увольнение объявить, где по указам надлежит, во утверждение чего дан ему сей вид в Санкт-Петербурге».

Этот примечательный документ, найденный в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга дотошным (для ученого это безусловный комплимент) исследователем жизни и трудов архитектора Нонной Васильевной Мурашовой, дает простор для размышлений о превратностях судьбы. Всем известна Салтычиха, замучившая семьдесят пять своих крепостных (это число доказанных следствием зверских убийств, почти столько же убедительно доказать не удалось — улики не осталось). Как это ни чудовищно, Дарья Салтыкова была довольно близкой родственницей Строгановых. Известно, что многие и многие помещики крепостных за людей не почитали, продавали и покупали, как вещи, жестоко наказывали, безжалостно разлучали родителей с детьми, мужей с женами, известны многие еще ужасы рабства. Не говорю уже о моральных страданиях, которые ежедневно испытывали сотни тысяч наших соотечественников. Исключения известны куда меньше. Тем не менее они были.

Я уже рассказала о Воронихине. Теперь вот Демерцов. Князь Трубецкой дал вольную взрослому человеку. Но ведь его кто-то учил, кто-то помог овладеть совсем не простой профессией настолько, что он смог успешно сначала преподавать в привилегированном дворянском корпусе, потом в Школе художеств, потом получить звание архитектора. Очевидно, что и образование ему дал,

и воспитал, и на службу определил не кто иной, как князь Трубецкой. Он ведь был не только сенатором, но и почетным членом Академии художеств, так что в искусстве, надо полагать, кое-что понимал и талант своего крепостного заметить и оценить был вполне способен.

А вот о причине, по которой влиятельный покровитель способствовал стремительному продвижению своего подопечного по службе, разговор особый. В вольной князь пишет о «порядочном в моем доме поведении». Но это — вряд ли. Случилось то, что часто случается, когда в одном доме живут юноша и девушка того возраста, в котором первой любви противиться невозможно. И неважно, что она — княжна, а он — крепостной... Как это было? Можно сочинить любой душещипательный сюжет. Но сколько их уже написано, историй неравной любви. Так что придумывать еще одну не стану. Скажу только о том, что известно достоверно: княжна Александра Петровна родила дочь. Внебрачную. Назвали Катериной. Петр Никитич молодых не простил, но и наказал не слишком сурово. От дома отлучил, зато помог неожиданному зятю сделать карьеру.

В 1786 году Демерцов получает первый офицерский чин штык-юнкера, дающий права дворянства, через четыре года он уже поручик. Едва ли князь, наверняка считавший себя обманутым неблагодарным крепостным, заботился о его благополучии и престиже. Полагаю, думал о дочери и маленькой внучке: все-таки родная кровь и вдруг не то что не княжна, а даже и не дворянка... Но дальше помогать не пожелал. В вольной ведь четко сказано: «...до которого мне ныне... дела не иметь».

Но недавнему крепостному, да еще преступившему незыблемые нормы морали, без влиятельного покровителя на заказы, а значит, и на средства для пропитания семьи, нечего и надеяться. И такой покровитель нашелся. Им оказался Александр Сергеевич Строганов. Дело в том, что владелец несметных богатств, по поводу которого Екатерина II шутила, что он «вот уже сорок лет делает все, чтобы разориться, но безуспешно!», и нищий на-

чинающий архитектор были женаты на родных сестрах. О Екатерине Петровне Строгановой (урожденной Трубецкой) я расскажу чуть дальше.

А пока речь пойдет о том, как граф Строганов помог своему незадачливому родственнику. Сделал он это очень просто: предложил работу, которая не только должна была дать средства на содержание семьи, но и доказать или опровергнуть право вчерашнего крепостного называться архитектором. Дело в том, что Александр Сергеевич задумал перестроить Растреллиев дворец. Причин тому было несколько. Первая — вполне резонная: граф был увлеченным коллекционером, собирал картины и скульптуры, старинные эстампы, рукописи, книги, минералы, древние монеты. Все это требовало специальных помещений — достойного обрамления. Вторая причина тоже немаловажная: сын его, путешествовавший по Европе (напомню — со своим крепостным Андреем Воронихиным), должен был вскоре вернуться — следовало к приезду оборудовать его личные апартаменты. И, наконец, причина третья, на мой взгляд, вздорная. Название ей мода: интерьеры великого мастера барокко уже не отвечали вкусам нового времени.

Так вот, переделать интерьеры дворца, создать новые, достойные сокровищ, которые предстоит в них хранить, и доверил Строганов Демерцову.

Демерцов справился с задачей блестяще. Об этом мы можем судить не только по фотографиям начала XX века, но и по прекрасным акварелям, написанным вскоре после того, как архитектор завершил работу над интерьерами Картинной галереи, Минерального кабинета, Столовой, Буфета. Писал акварели Андрей Никифорович Воронихин, только что вернувшийся со своим хозяином из европейского турне.

Поездка эта была захватывающе интересной не только потому, что путешественники побывали в самых восхитительных уголках Европы. Дело в том, в какое время попали они в Париж. А время было наполнено событиями

невероятными: во Франции разразилась революция. У одних она вызвала ужас, у других — восторг. Восемнадцатилетний граф Строганов был из вторых. Он не только восхищался отважными революционерами, но и примкнул к ним, он — действовал.

Русский посол в Париже Иван Матвеевич Симолин докладывал императрице: «Меня уверяли, что в Париже был, а может быть, находится и теперь молодой граф Строганов, которого я никогда не видел и который не познакомился ни с одним из соотечественников. Говорят, что он переменял имя, и наш священник, которого я просил во что бы то ни стало разыскать его, не смог этого сделать. Его воспитатель, должно быть, свел его с самыми крайними бешеными из Национального собрания и Якобинского клуба, которому он, кажется, подарил библиотеку... Даже если бы мне удалось с ним познакомиться, я поколебался бы делать ему какие-либо внушения о выезде из этой страны, потому что его руководитель, гувернер или друг предал бы это гласности, что я должен и хочу избежать. Было бы удобнее, если бы его отец прислал ему самое строгое приказание выехать из Франции без малейшей задержки.

Есть основания опасаться, что этот молодой человек почерпнул здесь принципы, не совместные с теми, которых он должен придерживаться во всех других государствах и в своем Отечестве и которые, следовательно, могут его сделать только несчастным».

Надо отдать должное русскому послу: он хоть и не видел Павла Строганова, но знал о нем все или почти все. Да, Строганов теперь зовется «гражданином Очером» (по названию далекого уральского завода, принадлежавшего его семье). Да, он — член Якобинского клуба, у него почетный революционный диплом с надписью *Vive libre ou mourir* («Жить свободным или умереть»). Да, он купил для Якобинского клуба великолепную библиотеку. Да, его воспитатель Жильбер Ромм — один из самых активных якобинцев. Это он придумал революционный календарь, по которому предстоит жить Франции: 22 сентября

1792 года станет 1 вандемьера первого года республики — началом нового времени, нового мира.

Не знал Симолин только одной пикантной подробности (или деликатно о ней умолчал): юный русский граф увлечен не только идеями революции, но и одной из самых пылких революционерок. Он всюду сопровождает красавицу Анну Жозефу Теруань де Мерикур, еще недавно — известную парижскую куртизанку, теперь — амазонку якобинцев. Такая вот первая любовь... Но длиться ей недолго. На депеше Симолина Екатерина начертала резолюцию, обязывающую Александра Сергеевича Строганова немедленно вызвать сына домой, Ромма же в Россию ни в коем случае не пускать.

Ромм и не собирается покидать Францию: он должен служить революции. До конца. И служит. Он — депутат Конвента. Голосует за казнь Людовика XVI. В 1795 году, после закончившегося неудачей заговора якобинцев против термидорианцев, кончает с собой (в полном соответствии с девизом «Жить свободным или умереть»).

Еще раньше трагически закончится жизнь (не физическое существование, а именно Жизнь) возлюбленной Павла Строганова. После одного из ее выступлений на митинге разъяренные парижские простолюдинки жестоко избьют Анну Жозефу, она не перенесет унижения и боли — потеряет разум. Так что, когда через несколько лет Строганов (уже с молодой женой) снова окажется в Париже, никого из его прежней жизни уже не будет на свете.

Расставаясь со своим воспитанником, Ромм пожелал ему нести свет в свою страну, облегчить участь своего несчастного народа. Революционером, как учитель, Павел Александрович не стал, но стал одним из достойнейших людей своего времени. После смерти Екатерины II его крестный, Павел I, возвращает младшего Строганова в Петербург. Он получает несметные богатства, высокие чины, но остается человеком благородных правил и возвышенных стремлений. В первые годы правления Александра I (они друзья с детства) он среди тех немногих, кто поддерживает смелые мечты молодого самодержца,

кто надеется, что скоро, очень скоро в России будет уничтожено рабство и принята конституция.

Первым шагом к свободе стало учреждение полуофициального Негласного комитета. В его состав вошли друзья и единомышленники: Виктор Кочубей, Николай Новосильцев, Адам Чарторийский и, конечно же, Павел Строганов. Все они — вольнодумцы и республиканцы (да-да, первым из республиканцев был молодой император; совсем недавно в спорах со своим воспитателем Цезарем Лагарпом именно он утверждал, что нет ничего лучше республики, тогда как Лагарп, признанный революционер, отдавал предпочтение конституционной монархии). Но как только дело доходит до реальной политики, все они становятся осторожны. И это — не слабость или непоследовательность. Они, наконец, понимают, как мало знают страну, положение народа, в особенности крестьян. Прежде чем их освободить, нужно во всем разобраться. Ведь даже мудрый поборник свободы Лагарп предупреждал: освободить крестьян при чудовищно низком уровне их просвещенности небезопасно.

И все же многое в стране меняется. В первый год царствования Александр Павлович отменил запрет на ввоз в Россию книг и нот. Издал указы «О восстановлении жалованной грамоты дворянству», «Об уничтожении тайной экспедиции» и «Об уничтожении публичных виселиц». Освободил от телесных наказаний священников и диаконов. Запретил публикацию объявлений о продаже крестьян без земли (а как настаивал Строганов на отмене самой продажи, а не только объявлений о ней!). Создал Комиссию о составлении законов. Отменил пытки. И главное: издал закон «О вольных землепашцах», разрешающий помещикам отпускать крестьян на волю с земельными участками за выкуп — 47 153 семьи получили свободу.

Павел Александрович, активно участвовавший во всех этих начинаниях, верил: это только первые шаги. Но... «дней Александровых прекрасное начало» скоро получило совсем иное продолжение... На третьем году царствова-

ния Александр вернул ко двору генерала Аракчеева. С ним графу Строганову было не по пути...

И снова странные скрещения судеб. Строганов избегает общения с «без лести преданным». Демерцов с благодарностью принимает покровительство всесильного фаворита...

Во время Отечественной войны Аракчеев станет под любыми предлогами избегать даже коротких визитов в действующую армию. Строганов будет сражаться с Наполеоном героически. В битве под Краоном, на подступах к Парижу, погибнет его девятнадцатилетний сын. Погибнет страшно: вражеское ядро оторвет ему голову. Обезумевший от горя отец двое суток будет бродить по полю боя, надеясь найти голову сына.

Горе сломило его. Он ненадолго пережил своего любимого мальчика. Я уже рассказывала, как в уничтоженном Шепелевском доме живописец Джордж Доу будет писать портреты героев 1812 года. В прославленной галерее и сейчас можно увидеть портрет генерал-лейтенанта графа Павла Александровича Строганова. Но до всего этого еще далеко.

А пока Павел Строганов вместе со своим крепостным слугой и близким товарищем Андреем Воронихиным возвращается в Петербург. В столице провинившемуся наследнику строгановских миллионов оставаться не дозволено, он отправляется под Москву, в Братцево, под крыло к матушке Екатерине Петровне.

Теперь настало время рассказать об этой урожденной княжне Трубецкой, ставшей графиней Строгановой, но не сумевшей полюбить своего более чем достойного супруга. Екатерина Петровна, будучи уже матерью маленького Павла, самозабвенно влюбилась. И в кого! В фаворита самой Екатерины! Иван Николаевич Римский-Корсаков, редкий красавец, за год своих отношений с императрицей карьеру сделал невероятную: из армейского капитана превратился в генерал-майора, генерал-адъютанта и камергера, из обнищавшего, хотя и родовитого провинци-

ального дворянина — в богатого землевладельца. И кто знает, каких высот достиг бы, если бы царственная возлюбленная не застала его в объятиях другой женщины. Изменник был немедленно удален от двора. Тут-то судьба и свела его с Екатериной Петровной. Она была на десять лет старше отставного фаворита. Но это значения не имело. Как не имели значения ни муж, ни сын. Граф Строганов повел себя по-рыцарски: снабдил жену деньгами, отдал ей великолепное подмосковное имение Братцево. Туда-то и отправился «гражданин Очер». Благодаря щедрости покинутого мужа Екатерина Петровна жила на широкую ногу. Ее часто навещали московские друзья. Среди них была и княгиня Голицына с младшей дочерью Сонечкой. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, а через год после свадьбы, в июне 1794-го, у них родился первенец Александр.

А в это время в Петербурге Андрей Воронихин рисует новые интерьеры Строгановского дворца, а потом и изумительно легкую, изящную, ни на одну петербургскую постройку не похожую дачу Строгановых. Александр Сергеевич доволен: не зря учил своего талантливого крепостного, из Андрея вырос настоящий художник (пока — именно художник, не архитектор). Он представляет работы своего подопечного на заседания совета Академии художеств. В 1797 году за картину «Вид Строгановой дачи» Воронихину присуждено звание «академика перспективной миниатюрной живописи».

Это и дало основания исследователям творчества Воронихина приписать ему создание изображенных на акварелях интерьеров и знаменитой дачи. Только тщательное исследование чертежей, сравнение творческих почерков, оформления листов, светотеневой разработки, характера надписей, способов изображения скульптуры и архитектурных деталей позволило Нонне Васильевне Мурашовой установить и доказать: автором многих интерьеров Строгановского дворца, проектировщиком и строителем дачи является не Воронихин, а Демерцов. Справедливость восторжествовала...

Правда, Воронихин внес некоторые изменения — но не в проект, а в уже построенное здание дачи. Только ведь и до его вмешательства она успела покорить современников, да не кого-нибудь, а самую императрицу, знавшую толк в архитектуре. Строганов-старший был счастлив. Он решил подарить Екатерине копию чертежей дачи, сделать ее поручил Воронихину. Почему не Демерцову? Вполне понятно: тот был занят работой по артиллерийскому ведомству, а Воронихин — свой, всегда под рукой. К тому же Воронихину полезно поучиться у опытного архитектора, ведь рисовальщик-то он хороший, зрелый, а архитектор-проектировщик — начинающий. Вот, работая над копиями чертежей Демерцова, Воронихин и придумал, как нужно изменить несущую конструкцию купола, чтобы он казался еще легче. О том, какое впечатление производила новая работа Демерцова, рассказала в своих «Воспоминаниях» знаменитая французская художница Мари Луиз Элизабет Виже-Лебрен, оказавшаяся в Петербурге летом 1795 года и приглашенная на один из приемов, которые устраивал хозяин дачи.



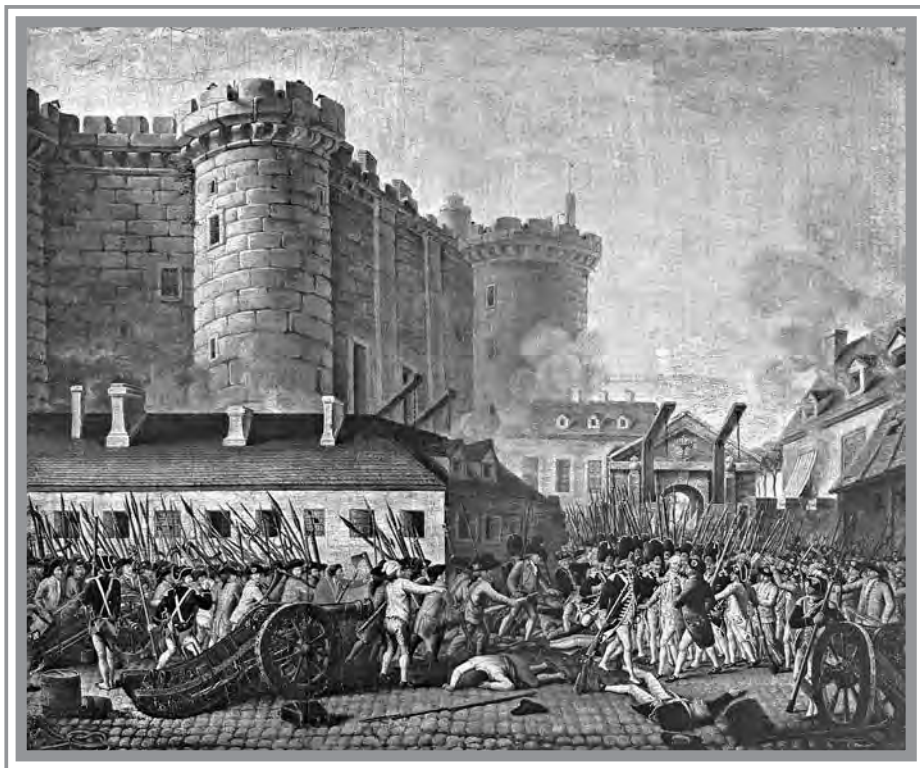
Мари Виже-Лебрен

«Он (А. С. Строганов. — И. С.) владел в Петербурге замечательной коллекцией картин и около города на Каменном острове (на самом деле — напротив Каменного острова. — И. С.) очаровательной дачей в итальянском вкусе, где он давал по воскресеньям грандиозные обеды. Я была очарована этим жилищем, дача лежала на боль-

шой дороге, окнами выходила на Неву. Сад, пределы которого необозримы, был в английском духе... Около трех часов мы поднялись на террасу, окруженную колоннами, где день наступает со всех сторон. С одной стороны мы наслаждались видом парка, с другой — Невой. Загруженной тысячами лодок, более или менее элегантных... Мы обедали на той же террасе и обед был самый великолепный... С тех пор, как мы сели за стол, стала слышна восхитительная инструментальная музыка. Часто исполнялась увертюра к Ифигении в очаровательной манере... После обеда мы сделали обворожительную прогулку по саду, вечером мы снова поднялись на террасу, откуда увидели, как только пришла ночь, красивый фейерверк, который приготовил граф...». (Полагаю, приготовил его не столько граф, сколько Демерцов, который как артиллерист в совершенстве владел искусством устройства самых сложных фейерверков.)

Восторг Виж-Лебрен дорогого стоит, она ведь многое повидала, была своей в самых великолепных дворцах французских королей. Была она дочерью и ученицей знаменитого живописца Шарля Лебрена, основателя Королевской академии живописи и скульптуры, придворного художника Людовика XVI. Прославил совсем еще юную Элизабет портрет Марии-Антуанетты. Стала она близким человеком не только королевы, но и всей королевской семьи. Неудивительно, что ей пришлось бежать из революционной Франции.

После скитаний по Европе приехала в Петербург. Екатерина охотно принимала беглецов из взбунтовавшегося Парижа. Художница сразу стала популярна при русском дворе. Кого только из придворных она ни писала! Пройдет совсем немного дней с обеда, которым она так восхищалась, и она напишет портреты молодой четы Строгановых. Такие вот странные повороты судьбы... Русский граф, вчерашний якобинец, и французская художница, едва не ставшая жертвой революционной толпы, мило беседуют в одном из самых роскошных дворцов



Взятие Бастилии

российской столицы или на той террасе, о которой с восхищением вспоминала портретистка.

После смерти Строганова-старшего дача перешла во владение бывшего «гражданина Очера», и почти сразу начались переделки. С правой стороны дачи Воронихин пристроил лестницу (эффект «полета» пропал), уничтожил пристань. В самом конце XIX века наследники превратили изысканную дачу в доходный дом: были сделаны значительные перепланировки, заложены галереи второго этажа, делавшие здание таким необычным. В таком вот искаженном виде шедевр Демерцова просуществовал более полувека. В 1960 году дача Строганова была уничтожена.

Та же участь, но почти на двадцать лет раньше, постигла и все, что построил Демерцов в Грузине, имении Аракчеева, своего последнего покровителя. Судя по рисункам и фотографиям, и **собор святого Андрея Первозванного, и барский дом**, и разнообразные садовые сооружения были великолепны. Их разрушили не соотечественники — фашистские бомбы во время Великой Отечественной войны...

Так что постройкам Демерцова хронически не везло. Не только в Литейной части.

«ПРЕКРАСНО ПОМНЮ, КАК ЕЕ ЛОМАЛИ...»



Шестнадцатого декабря 2010 года в Александро-Невской лавре проходило торжественное и трогательное отпевание Дмитрия Егоровича Бенардаки...

В середине июня 1870 года на Николаевском вокзале встречали гроб с телом Дмитрия Егоровича Бенардаки. Среди встречающих был император Александр II. Это был первый и единственный случай, когда государь встречал на вокзале своего усопшего подданного...

Кто-то, вероятно, подумает, что речь идет об однофамильцах, о полных тезках, кто-то решит, что автор совершенно запуталась в своих исторических изысканиях.

На самом деле речь идет об одном человеке и никакой путаницы нет. Просто история случилась совершенно невероятная.

Жил в Петербурге когда-то замечательный человек, промышленник, благотворитель, меценат. Был он очень богат. Всего добился своим трудом, умом и талантом.

Начинал с торговли вином, потом создавал быстро ставший знаменитым Сормовский завод, возводил укрепления в Кронштадте, строил Амурскую флотилию, да много еще чего. Оказывал неоценимые услуги российским самодержцам, за что был награжден, но, главное, удостоен искренней благодарности и абсолютного доверия.

Дружеские отношения связывали его со многими писателями и художниками. Гоголь «списал» с Бенардаки единственного положительного героя второго тома «Мертвых душ» — Костанжогло. Помогать Гоголю Дмитрий Егорович почитал за честь. Он вообще помогал многим и щедро. И в России, и в Греции (хотя родился в России, родину своих предков не забывал). И его и в Греции, и в России ценили и искренне уважали.

Отношения к грекам в России всегда было самое дружеское и почтительное. Николай Михайлович Карамзин писал: «Греция была для нас как бы вторым Отечеством: россияне всегда с благодарностью вспоминали, что она первая сообщила нам христианство и первые художества и многие приятности общежития». А это — Дмитрий Сергеевич Лихачев о Максиме Греке, выдающемся богослове, публицисте, философе, переводчике, присланном в Россию из Ватопедского монастыря на Афоне для перевода церковных книг: «...первый интеллигент на Руси, своей жизнью этот ученый грек прочертил как бы путь многих и многих интеллигентов».

Не буду перечислять всех греков, сыгравших в нашей истории роли самого первого плана. Назову лишь немногих.

IX век — великие просветители, создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий.

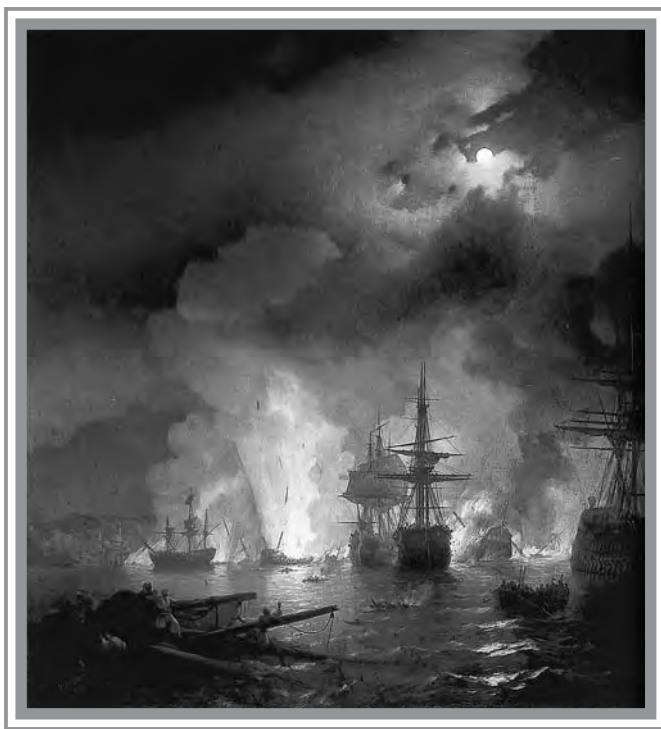
XIV век — гениальный живописец Феофан Грек.

XVI век — Максим Грек (о нем — слова академика Лихачева).

XVIII век — Иоаннис Варвакис (Иван Андреевич Варвацкий). Его называли «благодетелем двух родин». В 1770 году неустрашимый греческий моряк присоединился на своем судне к эскадре Алексея Григорьевича Орлова и сыграл не последнюю роль в истреблении турецкого флота в Чесменском сражении. С той

же яростью и отвагой он продолжал сражаться с турками под русскими знаменами. В знак благодарности и восхищения Екатерина Великая даровала ему право беспошлинной торговли русской черной икрой на рынках Европы. «Известно да ведомо будет каждому, что Мы служившего в прошедшую войну при флоте Нашем из греков Яна Ворвача (страсть перекраивать на русский лад иностранные имена Екатерина (иностранка!) явно позаимствовала у своего кумира Петра Великого. — И. С.) для его оказанной в службе Нашей ревности и прилежности в Наши поручики 1772 года, октября 21 дня всемилостивейшее пожаловали беспошлинной торговлей...»

Варвакису было в год подписания этого указа всего двадцать два года, ему предстояло прожить еще почти четверть века, сказочно разбогатеть и благодетельствовать многих и многих русских и греков. XIX век дал России и Греции Дмитрия Бенардаки и Иоанниса Каподистрию (о нем чуть дальше).



Чесменская битва 25–26 июня 1770 года

Ну, а в XX веке... Знатоки утверждают, что греческая кровь была у Вернадского, Королева, Андропова, Сахарова и даже у маршала Жукова. А вот то, что последним командующим Черноморским флотом СССР был грек, адмирал Михаил Николаевич Хронопуло, это наверняка.

Но вернемся к Дмитрию Егоровичу Бенардаки. Объяснение невероятной истории, происшедшей с ним после завершения земной жизни, имеет прямое отношение к теме этой книги.

В середине XIX века греки, жившие в Петербурге, задумали построить свою церковь. Место для храма выбрали на Летней Конной площади, на берегу Лиговского канала. И проект заказали. Замечательному зодчему, долго жившему в Греции, знавшему особенности византийской архитектуры, Роману Ивановичу Кузьмину. Но собранных денег на строительство не хватало. Тогда отставной поручик русской армии, он же землевладелец, промышленник и виноторговец Дмитрий Бенардаки взялся полностью оплатить и проектирование, и строительство, и роспись храма, а собранные соотечественниками деньги предложил передать русской миссии для строительства церкви святого Никодима при русском посольстве в Афинах.

Тридцать первого сентября 1865 года митрополит Исидор в присутствии греческого посла и министра иностранных дел Российской империи, светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова, освятил новый храм во имя Дмитрия Солунского.

Дмитрий был сыном римского проконсула в Фессалониках (постарославянски — Салунь. — *И. С.*). Родители его были тайными христианами и сына воспитывали в христианской вере. После смерти отца Дмитрия назначили его преемником, он согласился, но не стал скрывать своих убеждений — напротив, начал открыто проповедовать учение Христа и многих обратил в христианство. Узнав, что император Максимиан (соправитель Диоклетиана, прославившегося не только реформами, но и жестокими гонениями христиан), возвращаясь с войны, пройдет через Фессалоники, и понимая, что наказания ему не избежать, Дмитрий раздал все свое имение беднякам и стал истово молиться. Сознательно и без страха готовился он принять венец мученика. Максимиан вошел в город. Дмитрия схватили. Пытали. Он от своей веры не отрекся. Прежде чем казнить отступника, император устроил на площа-

ди бои. Победителем всегда оказывался любимец владыки Лий. Многих он лишил жизни. Тогда Дмитрий благословил на бой христианина Нестора, и тот сбросил Лия с помоста на копья римских воинов. Император был взбешен. Он приказал казнить Дмитрия. Стражники ворвались в темницу и закололи того копьями.

Святого великомученика Дмитрия Солунского и греки, и русские почитали как заступника воинства, изображали сидящим на троне — в левой руке ножны, правой вынимает из них меч. В русских летописях имя Дмитрия упоминается первым — прежде имени любого другого святого. Считается, что он был помощником русских в их борьбе с Мамаем.

Церковь во имя столь почитаемого святого была просторной, вмещала тысячу человек (в то время греков в столице было много). Крестообразное в плане здание в византийском стиле венчал пологий главный купол; к центральному зданию примыкали полукупола над боковыми апсидами; характерные для византийской архитектуры аркады на барабанах куполов и на главном входе придавали храму изящество и изысканность; свет, струившийся сквозь матовые стекла, равномерно и спокойно освещал настенную роспись. В южной апсиде и в куполе она была посвящена Христу, в северной — Богородице. Образа были писаны по золотому фону, царские врата украшала сцена Благовещения. Под куполом вместо привычного в русских храмах паникадила был укреплен серебряный хорос (обруч для свечей. — *И. С.*). Стены были облицованы красным мрамором, пол — белым. Службы в храме велись по традиции, сохранившейся в древних храмах Греции.

Петербургские газеты писали: «Этот величественный храм, составляющий украшение Петербурга, — уменьшенная копия великой христианской святыни — Константинопольского храма святой Софии... С открытием этой церкви вся прилежащая к ней часть столицы получила другой, красивый вид, и там, где прежде на Летней Конной площади тонули в грязи, поднимаются изящные стройные здания, группируясь около Греческой церкви».

Бенардаки скончался неожиданно во время поездки в Висбаден на лечение. Петербург оплакивал своего благодетеля. Александр II разрешил похоронить его в Греческой церкви. Кто мог представить тогда, что ей предстоит разделить судьбу большинства храмов России?..

В 1939 году церковь закрыли, предварительно разграбив. Во время войны бомба пробила купол, врезалась в мраморный пол и... не взорвалась. Саперы извлекли ее уже после победы. Погрузили в машину, отъехали метров на двести — и прогремел взрыв. Кажется... Нет, судьба не хранила и эту церковь. В 1961 году, во время хрущевских гонений, ее не пощадили. Будущий нобелевский лауреат Иосиф Александрович Бродский видел...

Прекрасно помню, как ее ломали...
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою — разрушитель.

Так вот, когда экскаватор добрался до фундамента, обнаружили под основанием церкви склеп, а в нем металлический гроб. Открыли. Увидели забальзамированное тело мужчины. Останки несколько дней лежали на земле под дождем. Потом куда-то исчезли. Только несколько лет назад предположили, что это было тело Дмитрия Егоровича Бенардаки. Правда, считали, что сердце-то упокоено в греческой земле. Будто бы сам Бенардаки распорядился тело предать земле в России, а сердце — в Греции. Так что искали только тело. Поиски были долгими, временами казалось — безнадежными. И все-таки нашли. Фрагменты останков хранились в запаснике музея Бюро судебно-медицинской экспертизы. И сердце покоилось не в греческой земле, а в запаянной колбе на полке музея кафедры судебной медицины академии имени Мечникова. Красивая легенда оказалась всего лишь легендой.

Шестнадцатого декабря 2010 года раба Божия Дмитрия отпели второй раз. Через сто сорок лет...

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре

есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это — храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.

Пропорции безобразья... Их жертвой стала и Греческая церковь, и русский грек Иоаннис Каподистрия, чей памятник сегодня стоит рядом с действительно не блещущим красотой, но приносящим неплохой доход концертным залом.

Памятник поставили к трехсотлетию Петербурга. Памятник человеку, предательски убитому через сто двадцать восемь лет после того, как был заложен город, который он так любил. Человеку, чье имя, как и имена многих, верно служивших России, на долгие годы было вычеркнуто из ее истории.

Отступление о русском статс-секретаре и греческом кормчем

Граф Иоаннис (Иван Антонович) Каподистрия — выдающийся дипломат, тринадцать лет состоял на русской службе, семь из них — статс-секретарь Коллегии по иностранным делам Российской империи (должности министра иностранных дел в России начала XIX века не было, его функции делили два статс-секретаря); почетный член Российской Академии наук. Но главное не

в должностях и званиях, главное в другом: он был одним из немногих, кто опроверг расхожее представление о том, что политика — дело грязное.

«Ум блистательный и высокий, благородство помыслов и поступков... он был одной из самых симпатичнейших личностей в новейшей истории». Так писал о Каподистрии князь Петр Владимирович Долгоруков, самый, пожалуй, язвительный мемуарист Александровской и Николаевской эпох, не склонный к положительным оценкам своих современников.

Будущий российский дипломат родился в Греции, колыбели европейской культуры. С XV века эта прекрасная страна, откуда пришла на Русь православная вера, была под властью Османской империи. Каждая война России против Турции (а таких войн, напомним, было одиннадцать) вселяла в греков надежду: братья по вере принесут, наконец, свободу истрадавшемуся народу.

Когда русский флот в 1799 году сражался под Корфу с флотом турецким, греки (тайно — иначе в оккупированной стране невозможно!)



И. А. Каподистрия

взывали к Господу о помощи своим отважным единоверцам. Истово молился о победе российского флота и юный граф Иоаннис Каподистрия. Эта славная победа навсегда завоевала его сердце, наполнила восхищением и благодарностью к русским людям (Об этой победе генералиссимус Суворов писал: «Зачем я не был в Корфу пусть мичманом!»).

Именно эти чувства и привели Каподистрию на русскую службу. По поручению канцлера Николая Петровича Румянцева молодой дипломат выполнял ответственные поручения, касающиеся, в основном, восточной политики, потом был направлен в Вену, где в то время решались вопросы войны и мира в Европе. В годы войны с Наполеоном Каподистрия разделял с русскими солдатами все опасности походной жизни. Александр I убедился: новый сотрудник скромен и трудолюбив. А как талантлив! Рядом с ним другие дипломаты — невыразительны и бесцветны. Этому можно доверить самое сложное дело. И доверял. Когда в конце 1813 года войска союзной коалиции приблизились к границам Франции, было необходимо обеспечить нейтралитет или содействие Швейцарии. Император вызывает Каподистрию: «Вы любите республики. Я также их люблю. Теперь надобно спасти одну республику». И Каподистрия нелегально отправляется через швейцарскую границу. Результаты этой тайной миссии впечатляют: для России Каподистрия обеспечил нейтралитет Швейцарии, а значит — возможность сосредоточить все силы только на борьбе с Наполеоном без опасения получить удар в спину; для Швейцарии сделал, пожалуй, еще больше: помог сохранить единство вопреки решению Австрии это единство разрушить — разделить страну на самостоятельные кантоны. Ну, а для себя... получил врага, могущественного и коварного, министра иностранных дел Австрийской империи Клеменса Венцеля Лотара Меттерниха.

Зато заслужил безграничное доверие подозрительного, не доверявшего до конца никому, кроме Аракчеева, императора. В ответ — преданность Каподистрии, но без малейшего подбострастия и искательства, столь принятых среди царедворцев.

Когда государь взял его с собой на Венский конгресс, где делегация России была и без того весьма представительной, Каподистрия так объяснял решение монарха: «Государь желает иметь меня при своей особе. Зачем? Затем, чтобы пользоваться мною как орудием в деле великих реформ в своей империи».

На международном конгрессе Александру пришлось использовать своего дипломата как орудие в борьбе против иноземных недоброжелателей. Александр считал, что при том поклонении, которым встречала его, возглавляемая союзной коалицией, освобожденная Европа, ему легко удастся «порешить все со своими союзниками в интересах России, чтобы вознаградить ее за великие жертвы». Каподистрия постоянно предостерегал российского императора от опасных заблуждений, сомневался: так ли оно искренне, это поклонение? Был уверен: у России и ее государя есть, по меньшей мере, два очень опасных врага. И наблюдал за каждым их шагом.

А они не бездействовали. Меттерних вел себя нагло и дерзко. Настолько, что Александр готов был вызвать его на дуэль. Злой гений Франции, Шарль Морис де Талейран, человек, который за свою жизнь предал всех, кого только мог (в том числе и Наполеона), был до притворности любезен, обещал Александру Павловичу дружбу и преданность до гробовой доски. Но он ведь жил по собственному принципу: «Обещание хорошо тем, что от него всегда можно отказаться». Так вот, два этих смертельно опасных интригана во время затянувшегося конгресса (он длился почти девять месяцев) успели за спиной у русских составить наступательный союз из пяти стран, подготовить планы и даже назначить срок выступления полумиллионной союзной армии против России. Каподистрии предстояло убедить государя в наличии заговора. Но... планы заговорщиков сорвал Наполеон.

На конгресс пришла страшная (во всяком случае, для его участников) весть: Наполеон бежал с острова Эльба и ведет свои войска на Париж. Талейран и Меттерних бросились к русским — только те могли спасти от мести Бонапарта. И спасли. «Сто дней» Наполеона закончились разгромом при Ватерлоо. В Париже был подписан заключительный акт о создании Священного Союза, в котором, среди прочего, говорилось, что все христианские государи «...во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление

и помощь». Под «всяким случаем» подразумевалось прежде всего неповиновение подданных. Через семь лет именно этот пункт договора станет причиной разлада между российским монархом и его статс-секретарем.

А пока «Каподистрия был доверенным советником и, можно сказать, другом императора». Александр ценил независимость графа, его незаурядный ум, совершенное бескорыстие, блестящую образованность, деликатность и, что не менее важно, редкую при дворе искренность.

Ценил эти качества не только император. Уже в первые годы жизни в России Каподистрия сделался другом Карамзина, Дмитриева, Жуковского, Тургенева. Его единогласно избрали почетным членом «Арзамаса». Редкие появления графа на заседаниях общества (работа отнимала все его время) были для арзамасцев праздником. Единственное, на что у него всегда находилось время, — помощь тем, кто в нем нуждался. Только Каподистрия, направив Константина Николаевича Батюшкова на службу в русскую миссию в Неаполе, сумел отдалить печальный конец замечательного поэта.

Каподистрия был одним из тех, кто смягчил наказание, грозившее Пушкину.

Заступничество генерала Милорадовича спасло поэта от ссылки в Сибирь. Но в России было немало и других, не более пригодных для жизни мест (рассматривались, к примеру, Соловки). Каподистрия вместе с Карамзиным «дерзнули доказать» Александру I «всю жестокость» его намерений. Граф добился направления Пушкина в Бессарабию (управление ею находилось в его непосредственном ведении), в канцелярию добрейшего генерал-лейтенанта Ивана Никитича Инзова, которого просил принять опального поэта под свое благосклонное попечение. При этом придал ссылке вид перевода по службе, приказал директору Хозяйственного департамента Коллегии по иностранным делам Поленову выдать Пушкину как своему личному курьеру на дорожные расходы тысячу рублей (сумма по тем временам весьма внушительная).

Как ни удивительно, император на все это благосклонно согласился... Многих это удивляло и обнадеживало. Благоготовного влияния Каподистрии на Александра Павловича трудно было не заметить. Петр Андреевич Вяземский писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Здесь Каподистрия и ожидает государя... хорошо, что такой человек при государе и может мимоходом заронить какое-нибудь теплое чувство в леднике Зимнего дворца».

Даже внешне он выделялся в толпе придворных: «Стройный, довольно высокий ростом, одетый весь в черном (в моде тогда были пестрые фраки и жилеты. — И. С.), бледный лицом, которое представляем как бы на древнем антике или медали, изящный тип греческой мужской красоты... Этот костюм и эта бледная античная фигура оживлялась выразительными, большими черными глазами, смягчалась в своей строгости белизной галстука и волос», — вспоминал не раз встречавшийся с графом дипломат и литератор Дмитрий Николаевич Свербеев, в поверхностных суждениях не замеченный.

Впрочем, конечно же, не красота и не безупречный вкус были главным, что заставляло одних восхищаться этим человеком, других — его ненавидеть. Главным было то, что он всегда в большом и малом отстаивал интересы России. Хотя заведовал делами, касающимися Востока и славян, посланники России в европейских странах, направляя — по обязанности — формальные донесения графу Нессельроде (тот руководил российскими дипломатическими представительствами на Западе), вели частную переписку с Иваном Антоновичем, рассчитывая именно от него получить дельные советы. Советы Нессельроде, которого в открытую называли «австрийским статс-секретарем по русским иностранным делам», зачастую предполагали выгоду исключительно для Австрии.

Ни Нессельроде, ни Меттерних не могли смириться с растущим влиянием Каподистрии на государя. Это влияние грозило разрушить их многолетние усилия, направленные на то, чтобы Александр I окончательно утвердился на позициях легитимизма (его смысл, повторяю, состоял

в том, чтобы везде и всегда поддерживать, укреплять и защищать власть, какой бы она ни была). Враги Каподистрии начали интриговать. Иван Антонович до интриг никогда не опускался. Прекрасно зная, что это может стоить ему карьеры, он смело высказывал и убедительно аргументировал свое несогласие с политикой Александра, с 1820 года все более склонявшегося к «австрийской системе». До поры до времени император прощал такое своеволие...

Но только до поры. Уже весной 1821 года Нессельроде злорадно пишет жене из Лайбаха, с конгресса Священного Союза: «Доверие к “восьмому мудрецу” значительно уменьшилось, и расположение к нему уже не прежнее. Каподистрия сам вызвал перемену настойчивостью и неосторожностью, с которыми он выражал свое ошибочное мнение». («Ошибочность» заключалась в том, что Каподистрия настаивал на политике, ставящей на первое место интересы России, а не ее союзников — он-то понимал союзников временных.)



К. В. Нессельроде

Но врагам вряд ли удалось бы добиться его опалы, если бы не греческое восстание. Отношение к «греческому вопросу» было в 20-е годы XIX столетия центральной проблемой российской, да и европейской внешней политики. Общество раскололось на два непримиримых лагеря. Именно отношение к восстанию стало причиной разрыва между Александром I и его статс-секретарем.



А. К. Ипсиланти

Каподистрия предостерегал своих соотечественников от вооруженного выступления, пытался предотвратить кровопролитие. Но генерал-майор русской армии, герой Наполеоновских войн Александр Константинович Ипсиланти все-таки поднял восстание против турок в Дунайских княжествах. Его «священная дружина» была разбита, как и предсказывал Каподистрия.

Но отважное выступление отряда борцов за независимость стало сигналом к началу национально-освободительной войны. Остановить ее, дожидаться более благоприятного момента было уже невозможно. (Закончится она через восемь лет, уже при Николае I. После того как русская эскадра разобьет турецкий флот под Наварином, будет заключен Адрианопольский мирный договор и признана независимость Греческой республики.)

Зная, что государь — человек глубоко и искренне верующий, Каподистрия пытался уговорить его помочь братьям по вере (что, кстати, в меру своих возможностей, делали императрица Елизавета Алексеевна и великий князь Константин Павлович), доказывал необходимость изменить внешнеполитический курс России, отказаться от политики Священного Союза; убеждал, что это не только в интересах Греции (сегодняшних), но и прежде всего в интересах Российской империи (долгосрочных); предвидел, что следование в фарватере австрийской поли-

тики легитимизма приведет к отторжению России всеми ее соседями.

Это предостережение подтвердится во время трагической для нашей страны Крымской войны, когда у руководства внешней политикой России уже не будет стоять Иоаннис Каподистрия и еще не встанет его ученик и последователь Александр Горчаков.

Александр I предупреждениям не внял. Он непривычно резко заявил своему статс-секретарю, да и всему миру, что отказывается поддерживать бунтовщиков, кем бы они ни были, какими бы причинами бунт ни был вызван, какие бы цели ни преследовал.

Разладом между Александром Павловичем и его недавним любимцем поспешил воспользоваться Меттерних. Он ласково, но настойчиво внушал государю, что Ипсиланти,

офицер русской армии, в некотором роде карбонари, а покрывающий его злодеяния Каподистрия — в некотором роде грек, а значит — тоже заговорщик. Так хорошо ли ему ведать делами Российской империи?..

Император, для которого сама мысль о заговорах, о тайных обществах была нестерпима (особенно после восстания Семеновского полка), дает Каподистрии почувствовать свое нерасположение. Отношения еще



Александр I

можно восстановить, стоит только принять точку зрения сюзерена. Именно так поступали многие даже из тех немногих, что решились противоречить верховной власти. Но Каподистрия своим убеждениям не изменяет, унижаться не способен — он подает в отставку.

Россия лишается талантливейшего и честнейшего дипломата.

Зато народ Греции получает своего кормчего. У нас принято называть Каподистирию первым греческим президентом. Это повелось от Николая I. Ему название должности Иоанна Антоновича — кивернетис — перевели как президент. Но это неправильно. Слово это переводится как кормчий, регент, может быть — вождь.

За короткий срок руководства республикой он успел сделать для Греции многое. Но еще больше — не успел. Не позволили. Его убили, когда он входил в церковь святого Спиридона Тримифунского в Новплионе, где всегда молился. Убили на глазах у десятков людей. Убийцами были



К. В. Меттерних

Георгий и Константин Мавромихали, сын и брат главы майнотов Петробея, которого Каподистрия посадил в тюрьму за покушение на убийство родственника. Внешне это похоже на правду: майноты — племя полудикое, привыкшее жить по законам кровной мести; они из тех, кто сначала хватается за нож, а уже потом думает. Так что истинные организаторы убийства выбрали подходящих исполнителей. Но никто не усомнился, что

за спиной полуграмотных озлобленных убийц стоят те, кто не может допустить усиления России. Ведь Каподистрия планировал полностью изгнать Турцию из Европы и осуществить, наконец, мечту Екатерины и Потемкина — открыть для Российской империи проливы Босфор и Дарданеллы. Он был уверен: союз с сильной Россией — гарантия независимости и благополучия Греции.

Так что схема убийства человеку сегодняшнему до боли знакома: заказчик, который остается в тени, и исполнители, которых желательно сразу ликвидировать. Так оно и случилось. Одного из убийц народ растерзал на месте, другому удалось укрыться во французской миссии, но французы не хотели выглядеть хоть как-то причастными к злодеянию и сдали Георгия полиции. Его судили за отцеубийство (Каподистрию называли отцом народа) и казнили.

Но дело об убийстве главы Греческой республики до сих пор хранится в Англии (!) под грифом «совершенно секретно»...

Когда узнала, что рядом с местом, где стояла Греческая церковь (намоленным местом) появился памятник Иоанну Каподистрии, будто камень упал с души: наконец — покаяние. И за беспамятство. И за разрушенную церковь. Только оказалось, что деньги на памятник собрали петербургские греки. Но им-то каяться не в чем...

«ЗДЕСЬ НЕКОГДА ГУЛЯЛ И Я...»



Анна Андреевна Ахматова когда-то написала о петербургских вельможах XIX века: «Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин или здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно». Это — правда. Даже притом, что — крайность. Впрочем, не уверена, что эти слова обязательно надо понимать буквально. Может быть, Ахматова имела в виду: бывал или не бывал кто-то из тех, кого не смогла забыть Россия? Уже по одной этой причине стоит сожалеть об утрате **усадьбы Алексея Кирилловича Разумовского**, занимавшей огромный участок от набережной Фонтанки (между Семеновским и Обуховским мостами) до Загородного проспекта. Особняк, в котором бывал Пушкин (неважно, что было ему в то время всего двенадцать лет), снесли в начале XX века, на его месте проложили Бородинскую улицу, великолепный парк плотно застроили доходными домами. Алексей Кириллович был фигурой значительной (министр народного просвещения!), но не слишком привлекательной. Когда-то

Екатерина II писала о Разумовских: «Я не знаю другой семьи, которая, будучи в такой отменной милости при дворе, была бы так всеми любима, как эти два брата Разумовские». Она вела речь о дядюшке и отце Алексея Кирилловича. Они действительно были людьми порядочными и добрыми, а Кирилла Григорьевича к тому же природа щедро наделила многими талантами, которые он употребил на пользу Отечеству.

Сыновья лишь отчасти унаследовали отцовские дарования. Андрей был смелым морским офицером, дружил с наследником престола, что было гарантией блестящего будущего. Но увлекся молодой женой Павла Петровича. Она ответила ему взаимностью. После смерти изменницы муж узнал о предательстве друга, и, казалось, с мечтой о карьере покончено навсегда. Но Екатерина умела ценить умных и дельных помощников, к тому же просто не могла слишком строго наказать сына Кирилла Григорьевича, одного из самых преданных ей людей. Она направила Андрея на дипломатическую стезю, на которой тот и преуспел.

Алексей, в отличие от брата, ловеласом не был. Но раздражение монархов (Екатерины, Павла, Александра) ухитрился вызывать с завидным постоянством. Придворная карьера его не привлекала, способностей к занятиям хозяйством он не имел (а хозяйство у Разумовских было огромное), к военной службе тоже расположен не был. К тому же был неуживчив (жену, Варвару Петровну Шереметеву, самую богатую невесту России, из дому изгнал, детей, правда, оставил при себе, но жизнь их сделал непереносимой). С окружающими был высокомерен, считал себя (может быть, и не без оснований) сыном покойной императрицы Елизаветы Петровны. В общем, персонаж был на редкость несимпатичный. Одно с ним примиряло: в своей подмосковной усадьбе Горенки вырастил ботанический сад, каких не бывало — да, пожалуй, и после не будет — в России. К этому имел он очевидное призвание, так что, наверное, и не следовало отвлекать его на другие занятия. Но — отвлекали. Александр I был особенно настойчив. И Алексею Кирилловичу, как ни упрямился, пришлось согласиться послужить России. Служить пришлось на посту министра народного просвещения. И тут оказалось, что не такой уж он сибарит: работать умеет весьма энергично. Потом, правда, выяснилось, что

способность работать случается с ним лишь временами, в виде приступов какой-то тяжелой болезни. Во время вот такого первого приступа, длившегося два года, он сумел открыть семьдесят одну приходскую школу, двадцать четыре уездных училища, несколько гимназий. Причем не только открыл, но и следил за тем, чтобы пользовались учителя современными методиками обучения, настрого запретил телесные наказания учеников, чем вызвал недовольство одних и восторг других.

Вот этому-то человеку (как раз переживавшему приступ работоспособности) и поручил император главные заботы о своем любимом детище — Лицее. Одной из главных забот был отбор учеников. Деликатность момента состояла в том, что Александр Павлович собирался поместить в новое учебное заведение своих младших братьев, Николая и Михаила. Так что общество должно было быть достойным великих князей. На мнение Разумовского о будущих воспитанниках император полагался вполне.

К десяти часам утра 12 августа 1811 года в усадьбе на Фонтанке собрались претенденты на звание лицеистов. Все, разумеется, в сопровождении взрослых. Подробные воспоминания об этом знаменательном дне оставил Иван Иванович Пущин: «Дед мой, адмирал Пущин, повез меня и двоюродного моего брата Петра...



И. И. Пущин

(Петр Иванович Пущин был не только адмиралом, но и сенатором; сенатором, генерал-лейтенантом и генерал-интендантом флота был и отец Ивана Ивановича, Иван Петрович Пущин. — *И. С.*). Старик, слишком восьмидесятилетний, хотел сам непременно представить своих внучат, записанных в число кандидатов Лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России. Дедушка наш Петр Иванович насилу вошел на лестницу, в зале тотчас сел,

а мы с Петром (Петр был плохо подготовлен, и в Лицей его не приняли. — И. С.) стали по обе стороны возле него, глядя на нашу братию... Знакомых у нас никого не было...

Скоро наш адмирал отправился домой, а мы... остались в зале, которая почти вся наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.

Вошел какой-то чиновник с бумагой в руках и начал выкликать по фамилиям. Я слышу: Ал. Пушкин! — выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда... В. Л. Пушкин, привезший Александра, поздравил меня и познакомил с племянником... С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба...».



А. С. Пушкин — лицеист

Экзаменовал мальчиков сам министр. Надо отдать ему должное, оказался он человеком пронизательным. С того дня прошло без самого малого двести лет, и все эти годы любой, кто задумывался о судьбе Пушкина, благодарил человека, по решению которого тот оказался в числе лицеистов (даже если не помнил или вообще не знал, что фамилия этого человека Разумовский). Конечно, Пушкин все равно бы стал поэтом, но каких друзей у него бы не было! Каких стихов он бы не написал! В общем, в тот день Алексей Кириллович Разумовский, сам того не подозревая, оказал великую услугу русской литературе, да что литературе — России!

Во второй раз министр пригласит лицеистов в свой дом, чтобы провести репетицию торжественного акта открытия Лицея. Дело ответственное: было известно, что на церемонии собирается присутствовать сам государь. Во время репетиции был министр с маль-

чиками по-отечески ласков. Невозможно было поверить, что это тот самый человек, которого обвиняют в высокомерии и резкости...

С того момента, когда стало известно, что Пушкин успешно выдержал экзамен, до начала занятий оставалось почти два месяца. Их дядя и племянник провели в **Демутовом трактире**. Гостиница эта считалась одной из лучших в Петербурге, а лучше места, чем то, в котором она располагалась, пожалуй, вообще не найти. До Невского — несколько шагов, до Дворцовой площади — три минуты неспешного хода, почти так же и до Невы, до Летнего сада — чуть больше, но тоже недалеко.

Приехав в российскую столицу, француз Филипп-Якоб Демут внимательно изучил город и пришел к выводу, что именно здесь должна стоять гостиница, которой надлежит стать гостеприимным приютом для всех путешественников, прибывающих в Петербург с целью как можно лучше узнать город. Дом он построил большой: вторым фасадом тот выходил на Большую Конюшенную улицу. Причем расчетливый хозяин сразу решил: номера в гостинице должны быть на любой вкус, а главное — на любой достаток, только тогда новый отель станет популярным. Так оно и случилось.

Мало кто, приезжая в столицу по делам или просто развлечься, миновал Демутов трактир. И нет ничего удивительного, что именно здесь поселился Василий Львович Пушкин со своим любознательным племянником. Тому все было интересно. Пушчин вспоминал, как часто Василий Львович брал ялик и они вместе ездили на Крестовский остров, как часто гуляли в Летнем саду, который Пушкин с тех пор полюбил особенно. Пройдет время, и он напишет: «Летний сад мой огород. Я вставши от сна иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома».

И Петербург, так непохожий на родную Москву, только сначала удивлял, восхищал и даже пугал. Потом тоже стал домом. А Демутов трактир — первое место, где поселился Пушкин в столице, тоже стал чем-то вроде второго дома. У Демута он останавливался множество раз — собственно, всякий раз, как приезжал в столицу сравнительно ненадолго. А еще посещал друзей, останавливавшихся в доме на Мойке. Кто только ни жил у Демута... Чаадаев, Грибоедов, Матюшкин, Александр Иванович Тургенев, Надежда Александровна Дурова, Адам Мицкевич.

Пушкинский Демутов трактир до наших дней не дожил. В 1832 году на его месте было построено новое здание (правда, назначение его не изменилось). В 1870-м архитектор Альфред Александрович Парланд (автор Спаса-на-Крови) и этот дом существенно перестроил. Мне пришлось несколько лет прожить в бывшем Демутовом трактире. Там давно уже был жилой дом, но гостиничное устройство сохранилось: длинный-длинный коридор, двери по обе стороны, комнаты одинаковые, большие и светлые, «удобства» — в конце коридора. Знала, конечно, что с пушкинских времен вряд ли хоть что-то уцелело, и все же... Стоило отвлечься от реальности, и казалось, что вот сейчас одна из дверей откроется, и выйдет... Я даже придумала такой тест (никому о нем не рассказывала): если кто-то, придя впервые ко мне в гости, заговорит о давних обитателях Демутова трактира, значит, можно сказать: «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Если же нет... Один раз ошиблась. Зашел однокурсник за какой-то книгой. Книгу получил, даже чаю выпил, о прошлом — молчит. Всякий интерес я к нему потеряла. Простились холодно. Он уже вышел в коридор, вдруг вернулся: «Слушай, ты их часто тут встречаешь?» Мы потом много лет дружили.

А Пушкин именно отсюда (сейчас это арка, ведущая во двор дома № 40 по набережной Мойки) выехал 9 октября 1811 года в Царское Село, чтобы вернуться в Петербург только через шесть лет.

Вернувшись, он оказался далеко и от царственно-величественного центра столицы, и от Демутова трактира. «Где прежде тонули в грязи, поднимаются изящные стройные здания, группируясь около Греческой церкви». Это уже процитированное мною однажды замечание оказалось не просто частным наблюдением, но обобщением: церкви всегда или почти всегда кроме своего главного предназначения становились еще и градообразующими центрами, которые «обрастали» все новыми и новыми постройками. И чем красивее церковь, тем, как правило, красивее окружающие ее дома.

Именно так оказалось с **церковью Покрова Пресвятой Богородицы в Большой Коломне**. Стояла она посреди площади, которая сейчас носит имя Тургенева (Ивану Сергеевичу повезло больше, чем Александру Сергеевичу), а когда только еще начали строить храм (строили исключительно на пожертвования будущих прихожан), площадь называли Покровской. Покровская церковь — последняя

работа создателя Таврического дворца Ивана Егоровича Старова. Уже одно это имя позволяет представить, как она была хороша. Строил он ее долго. Начал в конце XVIII века, при Павле I, не слишком жаловавшем зодчего исключительно за то, что ему благоволители Екатерина и Потемкин, а закончил в 1803-м, уже при Александре Павловиче. Была она изысканно строгой, однокупольной, барабан купола поддерживали двадцать четыре колонны ионического ордера. Колокольню удалось достроить только после смерти зодчего, к осени 1812 года.

Через месяц после Бородинского сражения был освящен главный алтарь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Не случайно во имя Покрова: в Богородице издавна видели заступницу Руси, простершую над русской землей свой святой Покров. Так и в противостоянии Наполеону православный народ надеялся на свою заступницу. Не найдется, наверное, в России места, где не было бы когда-то Покровской церкви. Достаточно сказать, что новый храм был в Петербурге пятым приходским храмом во имя Покрова, а еще — двенадцать домовых церквей, три часовни и шесть приделов в больших храмах. Такому особенному предпочтению была причина: явилась Богородица не патриарху, не ученому



Покровская церковь. 1900-е годы

богослову, а человеку, принявшему на себя подвиг юродства, поста, нищеты, неприютности и беспрестанной молитвы. Звали его Андреем, и был он по рождению славянином.

Явление Покрова произошло в X веке во Влахернском храме в Константинополе. В воскресенье 1 октября во время всенощной святой Андрей увидел, как Богоматерь входит в храм в окружении ангелов. Под руки ее поддерживают Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Андрей был потрясен. Он спросил своего ученика Епифания: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» Епифаний с трепетом ответил: «Вижу, отче, и ужасаюсь». Преклонив колени, Богоматерь долго молилась: «Царю Небесный, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего имя Мое на помощь». Пока она молилась, над храмом было распростерто ее покрывало, когда исчезла, исчезло и оно. Но, как рассказал святой Андрей, она оставила благодать — радостное откровение о Светлом Покрове над миром, о великой любви Богоматери к людям своим.

Когда при освящении храма в Коломне пели кондак Пресвятой Богородице: «Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за ны молится Богу: Ангелы со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица превечного Бога», люди истово молились, просили помочь русскому войску. А потом приходили благодарить Деву Марию за помощь, за победу...

Жители Коломны полюбили новую церковь, говорили, что в ней приходит какое-то особое состояние тихой радости и покоя. Любил Покровский храм и Александр Сергеевич Пушкин. На три с половиной года он стал обитателем Коломны, района, где селились люди небогатые, но и не вовсе обнищавшие. Оказался он в этом далеко не самом престижном районе столицы сразу после выпуска из Лицея — именно там, во втором этаже дома адмирала Клокачева, сняли семикомнатную квартиру его родители, которым просторная и удобная квартира в центре города была не по средствам.

Хозяин дома достоин того, чтобы сказать о нем хотя бы несколько слов. Он был сыном прославленного контр-адмирала Федота Алексеевича Клокачева, первого командующего российским Черноморским флотом. Матушка его Анна Дмитриевна (урожденная Лаптева) была дочерью вице-адмирала Дмитрия Яковлевича

Лаптева, чьим именем названо море. Так что Алексею Федотовичу на роду было написано стать моряком. Дослужился он до вице-адмирала, правда, подвигов, равных отцовским, не совершил. Может быть, просто потому, что не представилось случая. Зато в карьере преуспел — командовал придворным флотом при Александре I, был военным губернатором Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерний. Кстати, многие гадали, что за отношения связывали адмирала с вдовой Павла I императрицей Марией Федоровной. Достоверно известно, что, получив в 1823 году известие о его кончине в Вологде, она немедленно послала туда доверенного человека с приказом забрать и привезти ей все бумаги покойного. Приказание было выполнено. Что было в этих бумагах, осталось тайной. Мария Федоровна вообще была мастерица хранить свои секреты.

Что же касается адмиральского дома, то с тех лет, когда там жил Пушкин, здание изменилось неузнаваемо. Было оно двухэтажным, каменным, на высоких подвалах, смотрело на Фонтанку десятью окнами. При новом владельце его увеличили справа на восемь окон, слева — на три, надстроили сначала третий этаж, через полвека — четвертый. Так что сегодня это скорее место, на котором стоял дом, где жил Пушкин, чем сам дом. Но мемориальная доска на этом многократно перестроенном здании есть: «В этом доме по окончании Лицея жил А. С. Пушкин с 1817 г. по 1820 г.». Не могу умолчать и о факте, меня когда-то поразившем: после того, как родители Пушкина съехали из дома Клокачева, в их квартире поселился Карл Иванович Росси. Удивительно... Мало ли в Петербурге доходных домов... Может быть, действительно, какие-то места, внешне ничем особенно не примечательные, обладают магнетизмом, притягивающим гениев?

Об этом жилище поэта сохранилось довольно много воспоминаний. Не способный или не желающий скрыть свою недоброжелательность Модест Андреевич Корф, однокашник Пушкина по Лицею, живший в этом же доме, писал: «Дом их всегда был неизнанку: в одной комнате богатая старинная мебель, в другой — пустые стены или соломенный стул, многочисленная, но оборванная и пьяная дворня с баснословной неопрятностью, ветхие рыдваны с тощими клячами и вечный недостаток во всем, начиная от денег до последнего стакана». Правда, все эти язвительные

замечания — не в адрес Пушкина, а исключительно в адрес его родителей.

А вот известный переводчик Василий Андреевич Эртель, двоюродный брат Баратынского, вспоминал о другом: «Мы взойшли на лестницу, слуга отворил двери, и мы вступили в комнату Пушкина. У дверей стояла кровать, на которой лежал молодой человек в полосатом бухарском халате, с ермолкой на голове. Возле постели, на столе, лежали бумаги и книги. В комнате соединялись признаки жилища молодого светского человека с поэтическим беспорядком ученого». Подмечено точно. Время свое он делил в те годы между светскими салонами (постоянно бывал у Олениных, у Евдокии Ивановны Голицыной, у братьев Тургеневых, у Муравьевых — в общем, как шутил Иван Иванович Пущин, «кружился в большом свете») и поэтическими трудами. Именно в это время в доме № 185 по набережной Фонтанки он написал оду «Вольность», «К Чаадаеву», «К Н. Я. Плюсковой» (зашифрованное признание в любви к императрице Елизавете Алексеевне), беспощадные политические эпиграммы, за которые был удостоен царского гнева и отправлен в ссылку; а еще — «Руслана и Людмилу», поэму, принесшую ему сразу и навсегда славу первого поэта России.

Его жизнь в Коломне не была безоблачной, отношения с родителями временами становились невыносимы (Сергей Львович был, мягко говоря, скуповат, и это не раз становилось причиной семейных конфликтов), да и бытовые условия не баловали. Условий этих он стеснялся, гостей не приглашал, бывать у него могли только самые близкие. Павел Александрович Катенин вспоминал, что на вопрос, где он живет, молодой Пушкин не отвечал. «Ни в первый день, ни после никогда не мог от него узнать, он упорно избегал посещения». Впрочем, как это часто бывает, все мелкие недоразумения ушли из памяти, остались воспоминания теплые, осталось сочувствие к людям, вынужденным жить однообразной, бедной радостями жизнью столичной окраины.

«Живет в Коломне, где-то служит» герой «Медного всадника», там же, в Коломне, обитают Параша и ее матушка, героини «Домика в Коломне» — люди скромные, жизнью не избалованные. Но есть в «Домике в Коломне» еще одно действующее лицо, женщина совсем иного круга.

Отступление о загадочной графине

...Я живу

Теперь не там, но верною мечтою

Люблю летать, заснувши наяву,

В Коломну, к Покрову — и в воскресенье

Там слушать русское богослужение.

Туда, я помню, ездила всегда

Графиня... (звали как, не помню, право)

Она была богата, молода;

Входила в церковь с шумом, величаво;

Молилась гордо (где была горда!)...

Бывало, грешен! Все гляжу направо,

Все на нее...

...Она страдала, хоть была прекрасна

И молода, хоть жизнь ее текла

В роскошной неге; хоть была подвластна

Фортуна ей; хоть мода ей несла

Свой фимиам. — она была несчастна...

Речь здесь идет о вполне реальном лице. Подтверждение этому — строчки из письма друга Пушкина, Петра Александровича Плетнева, Якову Карловичу Гроту: «Домик в Коломне» для меня с особенным значением. Пушкин, вышедши из Лицея, действительно жил в Коломне, над Корфами... Здесь я познакомился с ним. Описанная гордая графиня была девица Буткевич, вышедшая за семидесятилетнего старика графа Стройновского (ныне она уже за генералом Зуровым). Следовательно, каждый стих для меня есть воспоминание или отрывок из жизни».

Кроме этого, профессор Плетнев предположил, что именно Екатерина Буткевич стала прототипом Татьяны Лариной. По этому поводу до сих пор существует несколько версий. Одни считают, что Пушкина вдохновила На-

талья Фонвизина, другие — Мария Раевская, третьи — Анна Вульф. Но большинство исследователей склоняются к тому, что Татьяна, как, впрочем, почти все литературные персонажи, — образ собирательный. Так что загадочная графиня из Коломны вполне может быть одной из тех, о ком думал, кого вспоминал поэт, когда писал:

*А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!*

Екатерина Александровна Буткевич была ровесницей Пушкина, жила по соседству, в доме № 199 по набережной Фонтанки. Генерал Александр Дмитриевич Буткевич в молодости воевал под командованием самого Суворова, отличился в польской кампании, но безрассудная его расточительность поставила семью на грань нищеты и, судя по всему, сыграла роковую роль в судьбе его красавицы-дочери. Ее женихом считался граф Александр Николаевич Татищев. Был он молод и на редкость хорош собой — под стать невесте. Их считали самой красивой парой в Петербурге. Но свадьба неожиданно расстроилась. По светским гостиным поползли слухи... На самом деле причина была проста: приданое за Екатериной давали более чем скромное. И старый граф Николай Алексеевич (был он первым графом среди Татищевых, титул получил при коронации Александра I, в ту пору командовал лейб-гвардии Преображенским полком) запретил сыну жениться. Александр не посмел противиться воле отца. По тем временам девушка, от которой отказался жених, даже если и была ни в чем не повинна, считалась опозоренной. А необыкновенная красота невесты только увеличивала злорадство и злословие соперниц, их матушек и тетушек. Буткевичи были в отчаянии. Но тут к Катеньке посватался человек очень богатый, знатный, способный оценить красоту и вовсе не гнавшийся за приданым. Был он не просто европейски образован, но серьезно занимался науками, имел степени доктора права и доктора медицины, к тому же заслуженно считался тонким знато-

ком и ценителем искусства. Одна беда — граф Валериан Венедиктович Стройновский был стар, его внучка, графиня Тарновская, была ровесницей Кати. Это приводило в ужас близких невесты, но ничуть не смущало самого жениха: замашки покорителя женских сердец он сохранил с далекой молодости, что было и горько, и смешно. Но матушка со слезами умоляла дочь согласиться на этот брак, чтобы спасти семью от неизбежной нищеты.

Пушкин, несомненно, знал эту историю. Помните?

*А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена. Неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать: для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж.*

Они обвенчались в 1818 году. Конечно, у Покрова. Муж окружил Екатерину заботой и непривычной для нее роскошью, купил ей особняк неподалеку от родительского дома (№ 167 по набережной Фонтанки). Родители, напомним, жили в доме № 199, Пушкины — в доме № 185. Совсем рядом — все на глазах. Слухи о том, что Стройновский приревновал жену к государю (тот танцевал с ней контрданс на первом балу, куда ее вывез супруг, и, как показало графу, уделял ей неприлично много внимания) дали повод для злорадства дамам, которые отчаянно завидовали молодой графине. Впрочем, завидовали напрасно. Довольно скоро с ее мужем случилась пренеприятная история (его обвинили в злоупотреблениях по службе). Стройновским пришлось покинуть Петербург и обосноваться в деревне Налючи, новгородском имении графа. Вскоре Екатерина Александровна стала вдовой. Безутешной ее назвать трудно, но многочисленным женихам (как один состоятельным и знатным), которые к ней сватались, она упорно отказывала. Пока не случилась странная история...

В тихие сонные Налючи на полном скаку ворвалась шестерка лошадей. Подкатила к барскому дому. Из повозки выскочил бравый полковник и потребовал, чтобы о нем доложили графине. Хозяйка приняла его. Он представился и сообщил, что приехал по поручению своего командира, который просит руки графини. Она долго и строго смотрела на свата, потом тихо, с ласковой улыбкой сказала: «Я готова стать женой. Но не генерала, за которого вы меня сватаете, а вашей». Через несколько дней (!) они поженились. Александр Иванович Герцен был неплохо знаком со вторым мужем Екатерины Александровны уже в то время, когда тот стал сенатором, генерал-лейтенантом, новгородским военным и гражданским губернатором. По его мнению, Елпидифор Антиохович Зуров был просто служака, небольшого роста, незавидной внешности, но храбр и добр душою. По общему мнению, был он безусловно порядочен, кристально честен, строг в исполнении законов. Согласитесь, для генерал-губернатора достоинства сколь необходимые, столь и нечастые. А еще все сходились во мнении, что жену свою генерал обожает.

Могу к этому добавить, что жизнь младшей сестры Екатерины Александровны сложилась и вовсе печально. Именно она известна под именем Веры Молчальницы, той, что, пройдя тюрьму и приют для душевнобольных, закончила жизнь в Сырковом монастыре, причем последние двадцать три года жила в полном молчании; той, о которой ходили легенды, будто это императрица Елизавета Алексеевна, будто она не умерла, а вслед за мужем, императором Александром Павловичем, удалилась от света, пошла скитаться по русской земле. Но если в уход Александра многие до сих пор верят, то легенда об уходе Елизаветы совершенно несостоятельна. К тому же то, что Вера Молчальница и Вера Александровна Буткевич — одно лицо, убедительно доказано.

Кстати, Вера, как и Екатерина, все детство и юность молилась у Покрова, и духовником ее тоже был настоятель Покровской церкви Борис Васильевич Албенский.

А церковь... Ни для кого не было тайной, что строил ее Старов, один из великих русских зодчих; что ходил в нее Пушкин, как известно — наше все (этого не отрицала и советская власть); но и это не убергло ее от уничтожения. Двадцать первое августа 1932 года, без малого через сто двадцать лет после освящения, храм Покрова закрыли. Еще через два года — снесли.

А еще через шестьдесят шесть лет, 20 мая 2000 года, на месте, где она стояла, установили памятную гранитную стелу. Венчает ее бронзовый крест. Под ним — икона. Под иконой — слова молитвы: «Пресвятая Богородице, небеси и земли Царице, града и страны нашей всемогущая Заступнице, осени нас вседержавным Покровом Твоим, воздвигни из глубины греховных, просвети ко зрению спасения, избави от междуусобных брани, утверди Отечество наше в мире и благоденствии».

А с тыльной стороны — такие знакомые слова Пушкина:

...верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

В годы жизни в Коломне Пушкин бывал во многих домах, о которых есть что рассказать. Дома Муравьевых, Лавалей, Олениных, квартиры братьев Тургеневых, Шаховского, Федора Глинки, Дельвига, Карамзиной, Виельгорского дожили (хотя и в разном состоянии) до наших дней. Но именно это и не дает мне права о них писать: содержание книги ограничено печальным словом «утраченный».

Тем не менее предмет для рассказа все-таки существует. К примеру, дом **Отта**, в который в 1817 году перевели Благородный пансион при Главном педагогическом институте (своего рода гимназия при университете). Когда-то этот участок (сейчас на нем стоит дом № 164 по набережной Фонтанки) был пожалован приглашенному в Петербург немецкому ученому Якобу Штелину. Назначили его профессором элоквенции и поэзии (элоквенция — это всего лишь красноречие. — *И. С.*), членом Академии, а потом и управляющим Академией изящных искусств. Штелин

много сделал для поиска и обучения талантливых русских юношей, имеющих склонность к рисованию и гравированию. Ему и его ученикам принадлежат гравированные портреты императорской семьи, изображения Петербурга и его пригородов. К тому же Екатерина II поручила ему заняться воспитанием наследника престола. Дело это было хлопотное, и Якову Яковлевичу (как его звали в России) было не до строительства дома. Дом здесь появился, когда внучка Штелина вышла замуж за австрийского купца Ионафана Отта, он-то и построил дом, в котором вместе с други-



А. С. Пушкин

ми воспитанниками Благородного пансиона поселился Левушка Пушкин. Александр Сергеевич брата любил и часто навещал. Тем более что там же жил и лицейский товарищ, Вильгельм Карлович Кюхельбекер: обучал школяров русской словесности и латинскому языку. В этом доме Пушкин познакомился с одноклассником Льва Михаилом Глинкой. Они были симпатичны друг другу, но и поддразнить не могли, сколь многое свяжет их в будущем. Впрочем, Пушкин, чувствовавший себя рядом с младшим братом и его приятелем взрослым, умудренным опытом мужчиной, не подозревал и того, сколько забот и огорчений доставит ему всеобщий любимец Левушка. Тогда будущее казалось каждому из этих четверых радужным, а жизнь — бесконечной...

Дом, который мог бы стать мемориальным, передали в 1822 году богадельне Воспитательного дома, для нужд которой архитектор Доменико Квадри его радикально перестроил. Вот и еще одна утрата...

Давно разрушили и дом на **Шестилавочной улице** (потом она стала Надеждинской, затем — Маяковского), где умерла Надежда Осиповна и где у постели умирающей матери Пушкину впервые довелось «такое короткое время пользоваться материнской нежностью, которую до того он не знал». Евпраксия Николаевна



Шестилавочная улица

Вревская (для близких — Зизи, друг Пушкина, соседка по Михайловскому, дочь Прасковьи Александровны Осиповой-Вульф. — *И. С.*) вспоминала: «Последний год жизни, когда она была больна несколько месяцев, Пушкин ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей столько от малого своего состояния с такой охотой, что она узнала свою несправедливость и просила у него прощения, сознавая, что не умела его ценить».

В этом утраченном доме он пережил одно из самых сильных потрясений в жизни: узнал, наконец, какими могут быть отношения матери и сына, какая это ни с чем другим несравнимая душевная близость. И тут же ему предстояло потерять самого родного человека, только что обретенного после долгих лет холодности и отчуждения. Не слишком ли много для израненной души?..

Надежда Осиповна скончалась 29 марта 1836 года. Пушкин отвез ее на родовое кладбище у Святогорского монастыря.

Кто мог знать, как недолго им оставалось ждать встречи...

Нет и еще одного дома, в котором Пушкин простился с дорогим ему человеком. Это небольшой двухэтажный дом в **Большом Казачьем переулке**, неподалеку от Гороховой (сейчас — участок дома № 6). Шансов уцелеть у него не было: никаких архитектурных достоинств, зато место для новой, более солидной постройки весьма

привлекательное. В этом доме, принадлежавшем купцу Дмитриеву, поселилась Ольга Сергеевна после того, как против воли родителей вышла замуж за Николая Ивановича Павлищева. Пушкину не без труда удалось примирить сестру с матерью и отцом. Но, похоже, родители были правы: Павлищев оказался человеком непорядочным и попортил Пушкину много крови, претендуя на Михайловское и пользуясь при этом обманом и мошенничеством. Отношения с неожиданно приобретенным родственником были напряженные, но Пушкин не мог не бывать в семействе Павлищевых: у них жила няня Арина Родионовна. У них она и умерла 31 июля 1828 года. А дома давно нет. Его снесли еще в XIX веке. Из всех известных домов, где часто бывал Пушкин, утрачены еще два: дом Авдотьи Ивановны Голицыной и Большой театр. Начну с первого.

Отступление о «ночной княгине»

Описание этого изящного двухэтажного особняка оставил Петр Андреевич Вяземский. Он стал близким другом хозяйки еще смолоду, с 90-х годов XVIII века, когда она со своей сестрой Ириной постоянно посещала блистательный салон его отца, князя Андрея Ивановича Вяземского. «Дом на Большой Миллионной был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скороизменчивой моды. На всем отражались что-то изящное и строгое. По вечерам немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать в этой храмине, тем более что хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся обстановка ее вообще, туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ее кружку, у нее собиравшемуся, что-то, не скажу таинственное, но

и необыденное... Можно было бы думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные».

Случайным людям или тем, чьи взгляды категорически расходились со взглядами хозяйки, а уж тем более тем, кто мог вульгарностью оскорбить ее вкус, места в этом доме не было. Пушкина ввел в эту обитель избранных Карамзин. В его доме и познакомился Пушкин с княгиней Голицыной. Случилось это осенью 1817-го. Ему восемнадцать лет, ей... Впрочем, в приличном обществе о возрасте женщин не говорят. Уже в декабре 1817 года Карамзин писал Вяземскому в Варшаву: «Поэт Пушкин... у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви». Какой же она была, эта Пифия Голицына? Вот как описывает ее Вяземский: «Княгиня была очень красива, и в красоте ее выразилась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в первой своей молодости; но и вторая и третья молодость ее пленяли какую-то свежестью и целомудрием девственности. Черные, выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плеча извивистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная: придайте к тому голос, произношения, необыкновенно мягкие и благозвучные — и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности житейской, ни женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное».

Как тут было не влюбиться юноше с пылким сердцем и поэтическим воображением! А вот уверяя, что Пушкин «только еще не пишет от любви», Карамзин заблуждался: 30 ноября появилось стихотворение Пушкина «Краев чужих неопытный любитель», посвященное Авдотье Ивановне. Оно куда глубже, серьезнее традиционных любовных посланий. Юный поэт, воспитанный

во французском духе, через Голицыну словно открывает для себя Россию. Новую, неожиданную. Оказывается, Отечеству не чужд дух просвещения, идеалы гражданской свободы. Именно эти идеи более всего стали занимать посетителей салона княгини как раз в то время, когда там появился Пушкин.

Краев чужих неопытный любитель,
 И своего всегдашний обвинитель,
 Я говорил: в отечестве своем
 Где верный ум, где гений мы найдем?
 Где гражданин с душою благородной,
 Возвышенной и пламенно свободной?
 Где женщина — не с холодной красотой,
 Но с пламенной, пленительной, живой?
 Где разговор найду непринужденный,
 Блистательный, веселый, просвещенный?
 С кем можно быть не холодным, не пустым?
 Отечество почти я ненавижу —
 Но я вчера Голицыну увидел
 И примирен с отечеством моим.

Впрочем, политическое направление салон принял еще в 1812 году: здесь часто бывали Сергей и Николай Тургеневы, да и многие будущие декабристы. Ночи проходили в острых политических дискуссиях. Главной темой было будущее России. Хозяйка салона благо Отечества видела в немедленном введении конституции, которая гарантировала бы права и свободы граждан. Всех без исключения. Она даже составила записку, в которой эмоционально и убедительно изложила свои взгляды. Для женщины ее круга поступок неожиданный. Пушкин и Александр Тургенев дружески подшучивали над ней, называли *constitutionnelle* (конституционной). Но за шуткой скрывалась нежность и неизменное восхищение. В 1824 году Пушкин писал из ссылки своему старшему другу: «Обнимаю всех, то есть весьма немно-

их, целую руку К. А. Карамзиной и княгине Голицыной, *constitutionnelle ou anticonstitutionnelle, mais toujours adorable comme la liberté*» (конституционной или антиконституционной, но всегда обожаемой, как свобода. — И. С.). А еще раньше, из Кишинева, он писал тому же Тургеневу, что вдали от камина княгини Голицыной можно замерзнуть и под небом Италии. Кстати, она была из тех, кто хлопотал о переводе Пушкина из Кишинева поближе к цивилизации. Во многом благодаря ее постоянным ходатайствам его перевели в Одессу, под начало ее старого друга Михаила Сергеевича Воронцова. У Пушкина, как известно, с ним дружбы не получилось. Но это уже не вина Авдотьи Ивановны.

А пока до этого еще далеко. Юный поэт, очарованный и восхищенный, посылает княгине оду «Вольность» с поэтическим посвящением:

Простой воспитанник Природы,
 Так я бывало воспевал
 Мечту прекрасную Свободы
 И ею сладостно дышал.
 Но вас я вижу, вам внимаю,
 И что же? ...слабый человек!..
 Свободу потеряв навек,
 Неволю сердцем обожаю.

Много лет спустя живший в Англии в изгнании Николай Иванович Тургенев, вспоминая Пушкина, писал: «...есть стихи, его рукой написанные, например, ода "Вольность", которую он наполовину сочинил в моей комнате и на другой день принес ко мне написанную на большом листе». В правдивости этих слов нет и не может быть никаких сомнений (учитывая репутацию их автора). Но вдохновительницей-то этого гимна свободе, конституции и закону была все-таки *Princesse Nocturne* («ночная княгиня»).

В петербургском свете так называли Авдотью Ивановну потому, что днем она спала, гостей принимала только

ночью. Говорили, что еще в юности приятельница, знаменитая Жюльетт Рекамье, отвела ее к прославленной гадалке мадам Ленорман, и та предсказала ей смерть ночью. С тех пор она и превратила день в ночь — страх не давал уснуть. Это придавало ей дополнительный ореол таинственности, который так привлекал юного поэта. Она принимала его поклонение благосклонно, но с тем ленивым спокойствием, которое не давало никакой надежды на развитие отношений. «При всей своей женственности, которою была она проникнута, — писал Вяземский, — она, кажется, по натуре ли своей или по обету, никогда не прибегала к обольстительным приемам, в которые невольно вовлекается женщина, одаренная внешними и внутренними приманками. Одним словом, нельзя представить себе, чтобы княгиня, когда бы и в каких обстоятельствах то ни было, могла, если смеем сказать, промышлять обыкновенными уловками прирожденного более или менее каждой женщине так называемого кокетства».

Пушкин, как и все ее многочисленные поклонники, знал судьбу Авдотьи Ивановны и с восхищением и уважением (хотя, может быть, не без горечи) относился к ее чувствам: она была верна единственной всепоглощающей любви. Происходила княгиня из древнего рода Измайловых, по матери была племянницей князя Николая Борисовича Юсупова, одного из самых богатых и влиятельных русских вельмож. Ее жизнь поломал император Павел I, по воле которого она стала женой человека нелюбимого — князя Сергея Михайловича Голицына. Был он весьма зауряден, но сумел чем-то (судя по всему, редким даже среди придворных подобострастием) заслужить привязанность взбалмошного императора, противостоять воле которого батюшка будущей «ночной княгини», сенатор Иван Михайлович Измайлов, не решился.

Но, как только пришло известие о смерти императора, Авдотья Ивановна покинула мужа, с первого дня сделавшегося ей ненавистным, и стала жить отдельным домом. Оскорбленный князь категорически отказывался

дать ей развод, положение ее в свете могло бы выглядеть сомнительным. Обычно в подобных случаях женщины становились изгоями; таких переставали принимать, да и вообще отказывались иметь с ними хоть что-то общее. Ничего подобного с княгиней не случилось. Нарушив «устав светского благочиния», она удивительным образом сумела сохранить свое положение в свете. Как ей это удалось? Вяземский объясняет: «Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняли чистой и светлой свободы ее». Более того, когда она, не таясь, безо всяких сомнений, без оглядки на мнение света пошла навстречу своей любви, осудили ее лишь немногие. Они были прекрасной парой, Авдотья и ее возлюбленный, князь Михаил Петрович Долгоруков. Перед ним открывалось блистательное будущее. Уже в пятнадцать лет (!), сражаясь в Персии в чине капитана под командованием графа Валериана Зубова, показал он себя человеком отважным и умеющим беречь солдат, чем заслужил расположение будущего императора Александра I (позднее он сделает Долгорукова флигель-адъютантом, генералом, готов был сделать даже своим зятем). В 1800 году князя отправили по делам в Париж, где он был радушно принят в салонах Жозефины Бонапарт, Каролины Мюрат, мадам де Сталь. В парижском свете о нем отзывались восторженно: «...человек глубоко сведущий в истории, науках, математике... ума быстрого, характера решительного и прямого, наружности мужественной и прекрасной, сердца добрейшего и души благороднейшей». Неудивительно, что Авдотья Ивановна влюбилась безоглядно. Но в этом она была не одинока. Страстно влюблена в князя Долгорукова была и великая княжна Екатерина Павловна, дочь Павла I, любимая сестра Александра I. Но взаимностью Михаил ответил Авдотье, замужней, несчастной, но... неотразимой. Отношений своих они скрывать не стали. Были счастливы. Она страдала невыносимо, когда

он уезжал в действующую армию. Видно, вещее сердце пророчило... Князь Долгоруков участвовал практически во всех сражениях против Наполеона в 1806, 1807, 1808, 1809 годах. Под Аустерлицем был ранен. В других боях судьба его хранила.

В сражении против шведов при Иденсальми, заметив отступление своих войск, он бросился вперед, хотел восстановить порядок, но был убит ядром. Его сослуживец, в будущем генерал и знаменитый военный историк Иван Петрович Липранди, писал: «Князь был в сюртуке нараспашку... На шее Георгиевский крест, сабля под сюртуком... Был прекрасный осенний день. Шли под гору довольно шибко, князь — по самой оконечности левой стороны дороги. Ядра были довольно часты. Вдруг мы услышали удар ядра и в то же время падение князя в яму... Граф Толстой и я мгновенно бросились за ним. Он лежал на спине. Прекрасное лицо его не изменилось. Трехфунтовое ядро ударило в локоть правой руки и пронизало его стан. Он был бездыханен». Генерал-лейтенанту Долгорукову было двадцать восемь лет...

Казалось, гибели любимого Авдотья Ивановна не переживет. Она была безутешна. Но... все когда-нибудь кончается. Острая боль, видимо, прошла. А вот о новой любви прекрасная княгиня даже помыслить не могла, хотя руку и сердце предлагали ей многие достойные люди. Вяземский по этому поводу заметил: «...до какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это остается тайною». Жизни сердца она предпочла жизнь разума. Занималась математикой, историей, философией (как незабвенный ее Мишенька) и эзотерикой. В 1835 году на французском языке княгиня опубликовала книгу «Анализ силы». Это исследование увенчало ее многолетние занятия математикой под руководством знаменитого профессора Михаила Васильевича Остроградского. Чтобы женщина написала и издала сочинение подобного рода! Случай для того времени редчайший. Светские знакомые пожимали плечами: еще одно чуда-

чество эксцентричной красавицы. А Пушкин, судя по всему, отнесся к этому труду с интересом. Во всяком случае, в его библиотеке книга Голицыной была.

После его возвращения из ссылки они встречались, но уже не так часто: она охладела к политике, у него уже не оставалось времени на праздные беседы. Впрочем, называть их беседы праздными несправедливо. Эти беседы с хозяйкой салона и ее гостями, самыми просвещенными, яркими людьми своего времени, оказали несомненно благотворное влияние на молодого поэта. Так что разрушение дома на Миллионной, Пушкину далеко не безразличного, уверенно можно причислить к списку наших горестных утрат. На его месте Андрей Иванович Штакеншнейдер по заказу императора Александра II построил Ново-Михайловский дворец — подарок государя любимому младшему брату, великому князю Михаилу Николаевичу. При строительстве архитектор частично использовал фундамент и стены особняка Авдотьи Ивановны. А сама княгиня... Уже после смерти Пушкина (она пережила его на тринадцать лет) обратилась к русскому дворянству с предложением воздвигнуть в Москве памятник в честь избавления России от иноземного нашествия: «Россияне, не упиваясь ядом злобы, задушили в сердце империи своей гидру... Такая слава превыше всякой славы... Да сохранит нас Бог от внутренних неустройств, и тогда никакая иноземная власть не сможет поколебать нашего могущества». Как странно. Прошло без малого два века, а кажется, будто она обращается к нам: «...хранит нас Бог от внутренних неустройств...».

Добавлю только, что умерла она в том самом доме на Миллионной, похоронена в Александро-Невской лавре, рядом с Михаилом Петровичем Долгоруковым. На памятнике надпись, сделанная по ее завещанию: «Прошу православных русских и проходящих здесь помолиться за рабу Божью, дабы услышал Господь мои теплые молитвы у престола Всевышнего для сохранения духа русского».

Бывая почти ежедневно (простите, еженощно) у Авдотьи Ивановны, Пушкин не мог миновать перекрестка Большой Миллионной улицы и набережной Зимней канавки. Здесь в соседних домах (Миллионная, 8) жили двое его близких знакомцев, с которыми связывало его одно из самых сильных, самых страстных увлечений тех лет (от выпуска из Лицея до ссылки): Екатерина Семеновна Семенова и Павел Александрович Катенин. Этим увлечением, этой страстью был театр. Впрочем, для Семеновой и Катенина это было не увлечение, а профессия, смысл жизни.

Актрисы, равной Екатерине Семеновой, русская сцена (во всяком случае, во времена Пушкина) не знала. Он писал о ней в статье «Мои замечания об русском театре»: «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней. Одаренная талантом, красотой, чувством живым и верным, она образовалась сама собой: бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано... Семенова не имеет соперницы... она осталась единодержавною царицею трагической сцены».

Ею восхищался не только Пушкин, который, по словам Николая Ивановича Гнедича, учителя Семеновой, «приволакивался, но бесполезно за Семеновой». «Самое пылкое воображение живописца не могло бы придумать прекраснейшего идеала женской красоты для трагических ролей. И при этом голос чистый, звучный, приятный, при малейшем одушевлении страстей потрясающий все фибры человеческого сердца», — писал о Семеновой Петр Андреевич Каратыгин. Это признание дорогого стоит: артисты слишком часто ревнуют друг друга к славе и далеко не всегда готовы признать талант своих коллег. Тем более Каратыгин, ведь жена его брата Александра Михайловна Колосова (о ней чуть дальше) была соперницей Семеновой и отчасти способствовала тому, что та решила покинуть сцену.

Пушкин узнал об этом в ссылке. Он давно уже был оторван от театра, но это известие его взволновало чрезвычайно: он видел в уходе Семеновой едва ли не гибель всего русского театра.

Ужель умолк волшебный глас
Семеновой, сей чудной Музы?
Ужель, навек оставя нас,
Она расторгла с Фебом узы,
И славы русской луч угас!
Не верю! Вновь она восстанет,
Ей вновь готова дань сердец,
Пред нами долго не увянет
Ее торжественный венец.

Он оказался прав: она вернулась на сцену. И снова блистала. И снова вызывала восторг и поклонение. Но, обеспокоенная состоянием театрального дела, в особенности судьбой классической трагедии на русской сцене, обратилась в управление театров с письмом, которое озаглавила «Мнение актрисы Катерины Семеновой об улучшении драматических представлений». Письмо не встретило понимания — только раздражение. Она была оскорблена. 26 ноября 1826 года, сыграв свою последнюю роль (Федру в трагедии Расина), она уехала в Москву, обвенчалась со своим гражданским мужем князем Иваном Алексеевичем Гагариным (у них к тому времени было трое дочерей) и навсегда покинула сцену. Так что насладиться ее игрой после возвращения из ссылки Пушкину уже не пришлось. Но их дружеские отношения не прервались. Бывая в Москве, он всегда навещал актрису, которой так восхищался, а в 1831 году, когда был, наконец, издан «Борис Годунов», подарил ей книгу с надписью: «Княгине Екатерине Семеновне Гагариной от Пушкина, Семеновой — от сочинителя».

Что же касается Павла Александровича Катенина, тот тоже был человек в своем роде замечательный. И дело не только в том, что драматургом и поэтом слыл не последним. Было в его биографии то, чем всегда восхищался Пушкин: беззаветная отвага в дни Отечественной войны, в Бородинском сражении, в битвах при Люцене, Бауцене, Лейпциге. После возвращения с войны всту-

пил он в Союз Благоденствия, был одним из руководителей Военного общества, тайной декабристской организации. От участия в событиях на Сенатской площади его уберегло распоряжение Александра I о бессрочной высылке из столицы, последовавшее в 1822 году. Можно легко представить, как ему, знатоку и любителю театра, было одиноко в своей глухой деревне. Возможно, утешался одним: в Петропавловской крепости и в Сибири было бы не лучше. В ссылке он писал, стихи и прозу. Но писать пьесы, будучи оторванным от театра, едва ли возможно. А драматургом он был — во всяком случае, для своего времени — незаурядным. «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый», — эти слова Пушкина дорогого стоят. Впрочем, это о переводах. Собственное творчество своего старшего друга Пушкин оценивал скромнее: «...в ее устах (речь о Семеновой. — *И. С.*) понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией».

А вот вкус самого Катенина и его критическое чутье современники считали безупречными. Не случайно именно ему на суд принес Грибоедов свое «Горе от ума». Кроме этого, был Павел Александрович человеком недюжинного ума и благородства. Пушкин писал о нем так: «Многие (в том числе и я) много ему обязаны; он отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли. Если б согласился он сложить разговоры свои на бумагу, то великую пользу принес бы он русской словесности». К сожалению, совету этому Катенин не внял, мысли свои о литературе на бумаге не изложил, но пользу русской словесности все же принес. Хотя бы тем, что самому Пушкину преподавал урок толерантности.

Я начала рассказ о пушкинском «волшебном крае» с Семеновой и Катениным не только потому, что они много способствовали и увлечению Пушкина театром и его погружению в театральную стихию. Поводом начать именно с них была ассоциация по месту: просто вообразила, что иду вместе с ним в особняк «ночной княгини», поглядываю по сторонам и вижу дома, в которых, точно известно, бывал Пушкин. И пытаюсь представить людей, к которым он в эти дома приходил. Но дома целы, так что не могут стать «героями» этой книги. А люди... Они как раз могут, потому что

были тесно связаны с домом, которого давно нет и уничтожение которого — несомненная утрата.

Речь о **Большом (Каменном) театре**, грандиозном публичном театре Российской империи, который по повелению Екатерины II, построил Антонио Ринальди на Карусельной площади (театр еще не будет построен, а ее уже станут называть Театральной, это имя сохранила она и до наших дней). Новый театр поражал воображение размерами, величественной архитектурой, роскошью и изяществом внутреннего убранства, сценой, оборудованной по последнему слову тогдашней театральной техники, и, конечно же, яркими талантами.

Мне не раз приходилось слышать (мало того — читать!), будто театральные впечатления Пушкина, его стихи о театре навеяны увиденным в Александринском театре, а то, что он написал об Истоминной, — в Мариинском. Печально это, честное слово. Уж казалось бы, о ком, а о Пушкине грех не знать: столько о нем написано, да и «Онегина» в школе «проходили». Понимаю, это не аргумент. И все же...



Большой театр

Александринский театр был открыт 31 августа 1832 года, к двадцатилетию победы в Отечественной войне. Именно этим объясняется то, что Карл Иванович Росси атрибуты искусства в декоре здания, напоминающего античный храм, соединил с атрибутами и символами воинской славы. Пушкин бывал в Александринском театре, и не раз. Но даже если отвлечься от того, что к этому времени он к театру несколько охладел, вряд ли следует забывать, что первая глава «Евгения Онегина» была начата 9 мая, закончена 22 октября 1823 года — почти за десять лет до открытия Александринского театра. Ну, а что касается театра Мариинского, то при жизни Пушкина его вообще не существовало.

Центром театральной жизни был в те годы Большой театр, где давали и драматические спектакли, и балеты, и оперы. Русская труппа выступала попеременно с итальянской и французской. Но Большой театр, где бывал Пушкин, это уже не тот театр, которым восхищались во времена Екатерины Великой. Облик Петербурга непрерывно менялся. В 1802–1803 годах (до приезда Пушкина в столицу еще далеко) Жан Тома де Томон (разумеется, по воле державного внука Екатерины) не только капитально переустроил внутреннюю планировку и отделку театра, но и заметно изменил его внешний вид и пропорции. Большой театр приобрел вид парадный и праздничный. Мощный восьмиколонный портик, фронтоны, украшенные изысканной лепниной, сразу настраивали на торжественный лад. Казалось, в холодном Петербурге возник солнечный храм Аполлона. Сохранилось достаточно изображений, по которым можно судить о величии и красоте этого театра-храма. Прежде всего, это литография одного из самых преданных Петербургу пейзажистов, Карла Петровича Беггрова. Общий вид здания свидетельствует о совершенстве его пропорций. Не меньше впечатляет картина Федора Яковлевича Алексева «1 ноября 1824 года у Большого театра». В этот день в Петербурге случилось страшное, разрушительное наводнение (именно о нем писал Пушкин в «Медном всаднике»). Так вот, на картине тонущие люди, лошади, тяжелые валы захлестывают лодки, дома, а театр стоит уверенно, как непобедимый великан — огромный и неприступный.

Сохранилась и гравюра, изображающая роскошный зрительный зал (рисовал Павел Петрович Свиныин, гравировал Степан

Филиппович Галактионов, о них я уже упоминала). Подковообразный, напоминающий лучшие театральные залы Италии, в нарядном венке пяти ярусов возносился он к плафону, расписанному знаками зодиака, богинями и музами. Устремлялись ввысь легкие резные колонны, над ними — украшенные гениями аркады, еще выше — золоченый барьер парадиза. Не просто щедрость, но расточительность были в отделке этого зала, в обилии позолоты, в затейливости лепнины, в ослепительности огней.

Нижние ложи, обитые красным бархатом, выступали вперед. Казалось, в их глубине, в ярком свете огней плавают розовая дымка, а в ней будто парят ослепительные петербургские красавицы... В креслах вспыхивали золотом эполеты, аксельбанты, ордена генералов, сенаторов, важных вельмож... На длинных скамьях без спинок сидели, а в проходах зала стояли чиновники, офицеры, купцы... В райке, под облаками плафона, ютились лакеи, горничные, артельщики, сидельцы магазинов... Казалось, в театре были специально собраны представители всех слоев столичных жителей, чтобы внимательный наблюдатель мог сразу понять, что представляет собой Петербург. Один из завязанных театралов вспоминал: «Это был политический клуб, здесь были левый и правый фланги, здесь вступали в споры приверженцы новизны и старины, либералы и погасильцы, сторонники европейского просвещения и российской самобытности, приверженцы статс-секретаря Нессельроде и статс-секретаря Каподистрии, участники разных литературных партий, ценители русской или французской труппы, — и как разгорается пламя от масла, так в театре разгорались страсти... Молодые люди, желая смутить актрису, которой покровительствовал вельможа, шикали, стучали тростями, громко кричали, пока сам петербургский генерал-губернатор граф Милорадович — в облитом золотом мундире со звездами и крестами — не поворачивал в сторону озорников свою скульптурно вылепленную голову с горбоносим лицом и не усмирлял их грозным взглядом своих темных глаз».

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Так писал об этом зале Пушкин. А еще он называл Большой театр волшебным краем...

Театр, воспетый поэтом, переживет своего певца на полвека. Последний спектакль состоится в 1886 году.

Честно говоря, трудно понять, зачем понадобилось сносить это великолепное сооружение, так отвечавшее духу Петербурга, хранившее так много воспоминаний.

В 1891–1896 годах на его месте, частично использовав старые конструкции, Владимир Владимирович Николая построил здание Консерватории. Но это уже совсем другая история.

Вернемся во времена Пушкина. В ночь на 1 января 1811 года (Пушкин придет в Петербург еще почти через полгода, так что старого здания театра он даже не видел) случилась беда, которая упорно преследовала наш город. Имя этой беде пожар. «Крыльца и двери объаты были дымом, и наконец все здание сделалось подобным аду, изрыгающему отовсюду пламя... Зарево до утра освещало весь испуганный Петербург». Главный директор Императорских театров Александр Львович Нарышкин, известный острослов, отрапортовал прибывшему на пожар Александру I: «Ничего нет более: ни лож, ни райка, ни сцены, все один партер!»

Два дня пожар не могли потушить. В огне погибло великолепное внутреннее убранство театра, серьезно пострадал и фасад. Жан Тома де Томон немедленно приступил к работе над проектом вос-



Большой театр, построенный Томоном

становления. Но... возрожденным он свое любимое детище не увидел. «Смерть явилась следствием падения, которое произошло в Каменном театре при осмотре состояния стен этого здания после пожара», — писала в прошении на высочайшее имя вдова зодчего Клер де Томон. Архитектору было пятьдесят два года...

Только 3 февраля 1818 года Большой театр, наконец, открылся вновь (Пушкин уже более полугода как выпущен из Лицея и жаждет познать все стороны жизни столицы). Журнал «Сын Отечества» писал: «Зала театра выполнением и красотой постройки, расположения и убранства не уступает никакой другой в Европе». На открытии давали балет Шарля Дидло «Зефир и Флора» на музыку Катарино Кавоса, многолетнего бессменного капельмейстера театра. Именно с легендарной фигурой Дидло связано зарождение мировой славы русского балета. Именно в эти годы завсегдаем Большого был Пушкин:

Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

Остается добавить, что в 1836 году архитектор Альберто Кавос — сын композитора и капельмейстера Большого — перестраивает интерьеры театра, чтобы улучшить акустику и увеличить зрительный зал. После перестройки театр вмещает до двух тысяч зрителей.

27 ноября 1836 года прошло первое представление обновленного театра: опера Глинки «Жизнь за царя» (Пушкин на нем присутствует, потом вместе с друзьями — Жуковским, Вяземским, Одоевским, Виельгорским — отмечает триумф Глинки). Пройдет шесть лет, и в тот же день, 27 ноября, на сцене столь любимого Пушкиным театра состоится премьера «Руслана и Людмилы» — второй оперы Глинки и первой — на сюжет Пушкина. Но его самого уже больше пяти лет не будет на свете...

Но до этого еще далеко. Пока он в ссылке. Получает письмо от своего старого знакомого Якова Николаевича Толстого. Читая ответ на это письмо, понимаешь, как тоскует поэт по привычной, по близкой ему театральной среде, как недостает ему общения с людьми театра. «Ты один изо всех моих товарищей, минутных

друзей минутной младости, вспомнил обо мне... Обними наших. Что Всеволожские? что Мансуров? что Барков? что Сосницкие? что Хмельницкий? что Катенин? что Шаховской? что Ежова? что граф Пушкин? что Семенова? что Завадовский? что весь театр?»

Кто они, эти люди, без которых ему пусто и одиноко? Начну с адресата письма. Будучи на восемь лет старше Пушкина, Яков Николаевич успел поучаствовать в Отечественной войне и, как большинство русских офицеров, «напитался» во Франции духом свободы, равенства и братства. Вскоре по возвращении на родину вступил в Союз благоденствия, а в марте 1819 года стал одним из организаторов и председателем общества «Зеленая лампа». На допросах следственной комиссии по делу декабристов члены этого общества отрицали даже малейший интерес к политике, утверждая, что занимались только проблемами литературы и театра. На самом деле политика (во всяком случае, откровенные, а значит, непозволительно смелые разговоры о политике) занимали членов «Зеленой лампы» не меньше, чем обожаемый ими театр. Во время арестов и допросов Толстой был за границей. Вернуться отказался. Уже во второй половине тридцатых годов ему, отлично знающему Францию, вхожему в лучшие дома Парижа, предложили «искупить вину перед Отечеством» — стать агентом русского правительства во французской столице. Был он человек умный и проницательный. Работой его остались весьма довольны.

Первого января 1837 года Толстой приехал в Петербург. Встретился с Пушкиным. Разговаривали долго — было что вспомнить. Главной темой были «Стансы» Пушкина. Он написал их в 1819 году и тем навсегда сохранил для истории имя Якова Толстого.

Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.
Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

Разговор о «Стансах» происходил 20 января, 27-го состоялась дуэль...

Есть и еще стихотворение, обращенное к Толстому, — часть ответа на письмо, с которого я начала рассказ про Якова Николаевича.

В изгнании скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас:
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр и шуток и вина.

Вот теперь проще разобраться со списком, который был частью того же письма, что и стихотворение.

Итак, вопрос первый: что Всеволожские? Пушкин имеет в виду братьев Александра и Никиту, сыновей камергера двора Всеволода Андреевича Всеволожского, одного из богатейших людей своего времени, прозванного «петербургским Крезом». Старший, Александр, — участник Отечественной войны, командовал ополчением, которое собрал, вооружил и обмундировал отец; во время зарубежных походов отличился в сражениях при Лейпциге,

Данциге, Париже. Вернувшись в Петербург, бравый гвардейский офицер стал чиновником, со временем — камергером, как и отец. Член общества «Зеленая лампа». Любопытно, что свою страсть к театру Александр Всеволодович передал одному из сыновей. Иван Александрович станет директором Императорских театров, одной из самых заметных персон в деле, которое сейчас назвали бы театральным менеджментом.

Младшего из братьев, Никиту, можно назвать если не другом, то близким приятелем Пушкина. Они познакомились в Коллегии иностранных дел, куда Пушкин был направлен после окончания Лицея, а Всеволожский к тому времени успел прослужить почти два года. Он, как и старший брат, был любителем и знатоком литературы и театра. Так что интерес его к Пушкину вполне понятен. В квартире Никиты (он жил тогда в **доме № 35 по Екатерингофскому проспекту**, ныне проспекту Римского-Корсакова) собирались участники «Зеленой лампы». На доме установлена



Н. В. Всеволожский

мемориальная доска: «В этом доме бывал в 1819–1820 гг. А. С. Пушкин на собраниях литературно-политического кружка “Зеленая лампа”». Текст правдив лишь отчасти. Дом дважды был капитально перестроен, от пушкинских времен сохранилось совсем немного. Так что «приют гостеприимный», о котором вспоминает Пушкин в послании к Толстому, тоже можно считать утратой, пусть официально и не признанной.

У Всеволожского собирались по большей части молодые гвардейские офицеры — гусары, уланы, егеря. Но были и штатские, в том числе Пушкин и Дельвиг. Читали стихи, обменивались мнениями о театральных постановках — все члены кружка были страстные театралы. Заседания обычно кончались веселыми попойками. Такими веселыми, что бурная жизнь Пушкина в кругу великосветских кутил и буянов серьезно беспокоила его друзей. Константин Николаевич Батюшков писал Александру Ивановичу Тургеневу: «Не худо бы Сверчка запереть в Геттинген и кормить года три молочным супом и логикою... Как ни велик талант Сверчка, он его промотает...». Опасения были небезосновательны: в 1820 году, перед ссылкой, Пушкин «полу-продал, полу-проиграл» Всеволожскому в карты рукопись своих приготовленных к печати стихов. Выкупить ее удалось только в 1825 году. Пушкинисты называют эту рукопись «тетрадью Всеволожского». Сейчас она хранится в Пушкинском Доме.

А вот что касается опасений Батюшкова и других старших друзей... Тревожиться им следовало бы не столько о пагубном влиянии на Пушкина кутежей и очаровательных, притом весьма легкомысленных молодых актрис, сколько о последствиях его умонастроенний (не потому, что были они дурны, а потому, что могли привести — и привели в итоге — к самым печальным последствиям).

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель.
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель.

Именно свобода, равенство, уничтожение тирании были главными темами разговоров о политике, без которых не обходилось ни

одно заседание «Зеленой лампы». Оно и неудивительно: членами общества были будущие декабристы Сергей Петрович Трубецкой, Федор Николаевич Глинка, Александр Андреевич Токарев. Имя Никиты Всеволожского тоже упоминается в докладе Следственной комиссии по делу декабристов: «В 1820 году камер-юнкер Всеволожский завел сие общество, получившее свое название от лампы зеленого цвета, которая освещала комнату в доме Всеволожского, где собирались члены. Оно политической цели никакой не имело... В 1822 году общество сие, весьма немногочисленное и по качествам членов своих незначущее, уничтожено самими членами, страшившимися возбудить подозрение правительства».

Ну, это как посмотреть... Кто-то страшился, а кто-то и не очень.

В Большом театре, этом храме всех членов «Зеленой лампы», произойдет событие, которое переполнит чашу терпения императора, и без того настроенного против строптивного поэта. В апреле 1820 года до Петербурга дошло взбудоражившее столицу известие: в Париже Пьер Луи Лувель убил наследника французского престола герцога Беррийского. (Любопытная подробность: произошло это, когда Шарль-Фердинанд Бурбон, герцог Беррийский, выходил из театра.) Пушкин раздобыл литографированный портрет убийцы и расхаживал по театральному залу, демонстрируя не столько портрет, сколько собственноручную надпись на нем: «Урок царям». Александру не замедлили донести об этой демонстрации — 6 мая Пушкин отправился в ссылку..

Через несколько дней «Зеленая лампа» прекратила свое существование. Похоже, действительно из опасения «возбудить подозрение правительства».

Но вернусь к вопросам Пушкина. «Что Мансуров?» Павел Борисович Мансуров куда менее известен, чем братья Всеволожские, но человек вполне достойный. Будучи всего на четыре года старше Пушкина, успел принять участие в Отечественной войне, поручик лейб-гвардии конно-егерского полка; как и все члены «Зеленой лампы», большой любитель не только театра, но и молоденьких актрис. По поводу его увлечения воспитанницей театрального училища Машенькой Крыловой Пушкин написал ему несколько фривольное стихотворение «Мансуров, закадышный друг...».

Мансуров был в числе тех приятелей Пушкина, которые в ноябре 1819 года отправились к весьма популярной в Петербурге гадалке Александре Филипповне Кирхгоф — решили узнать свою судьбу. Правда, при этом подшучивали друг над другом и над собой — не верили или делали вид, что не верят. Каждый оставался с фрау Кирхгоф с глазу на глаз. Пушкин вышел от нее серьезным, с трудом скрывал тревогу. Потом признавался, что гадалка безошибочно предсказала ему будущее, но подробностей не рассказывал.

В том же 1819 году Мансуров уехал в командировку по военным поселениям. Пушкин писал ему туда: «Здоров ли ты, моя радость? Весел ли ты, моя прелесть?.. Мы не забыли тебя и в семь часов с половиной каждый день поминаем в театре рукоплесканьями, вздохами и говорим: свет-то наш Павел, что-то делает он теперь? Завидует нам и плачет о Крыловой... Каждое утро крылатая дева летит на репетицию мимо окон нашего Никиты...». Но за этой легкомысленной частью письма следует совсем другое — Пушкин просит Павла Борисовича рассказать о военных поселениях: «Это все мне нужно — потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм». Писать такие слова можно человеку, которому доверяешь и который разделяет твою ненависть...

Мансуров сделает впечатляющую карьеру в Министерстве финансов — станет действительным тайным советником — гражданский чин II класса, соответствующий военному чину генерала от инфантерии.

Следующий вопрос Якову Толстому: «Что Барков?» С поручиком лейб-гвардии Егерского полка Барковым (потом он станет довольно известным переводчиком и театральным критиком) Пушкин встречался на заседаниях «Зеленой лампы» и в Большом театре. Судя по тому, что Барков попал в довольно узкий круг тех, чьей судьбой интересуется Пушкин и кого трижды упоминает в стихах, был он к Дмитрию Николаевичу расположен. В первоначальной редакции послания к членам «Зеленой лампы» было такое обращение к Баркову:

И ты, о гражданин кулис,
Театра злой летописатель,
Очаровательных актрис
Непостоянный обожатель.

Трудно не узнать строки из «Евгения Онегина», давно ставшие хрестоматийными. Пушкин лишь несколько изменил композицию, но смысл оставил прежним.

Судя по стихотворению «Хотел бы быть твоим, Семенова, покровом...», Барков пользовался расположением Нимфадоры Семеновой, оперной актрисы, сестры Екатерины Семеновой (Нимфадора, в отличие от своей гениальной сестры, славилась не столько талантом, сколько красотой).

«Что Сосницкие?» Пушкина интересуют известные драматические актеры Иван Иванович Сосницкий и его жена Елена Яковлевна. Николай Иванович Куликов (довольно популярный в свое время поэт, драматург, актер), вспоминая рассказы Павла Воиновича Нащокина, передает слова Пушкина о Сосницкой: «Я сам в молодости, когда она была именно прекрасной Еленой, попался было в сеть. Но взялся за ум и отделался стихами». Вот эти стихи:

Вы соединить могли с холодностью сердечной
Чудесный жар пленительных очей.
Кто любит вас, тот очень глуп, конечно;
Но кто не любит вас, тот во сто раз глупей.

Об Иване Ивановиче Сосницком известный театральный критик Федор Алексеевич Кони писал: «Неподражаемый артист, живой, верный натуре, естественный в разговоре, развязный (слово это, употребляемое сегодня в негативном смысле, в те времена означало то, что мы называем раскованностью. — *И. С.*) в приемах, ловкий и непринужденный в ведении трудных сцен, мастерски выражающий самые тонкие оттенки характера, истинный донельзя». Неудивительно, что им интересуется Пушкин.

Следующий в списке — персонаж куда менее известный. «Что Хмельницкий?» — спрашивает Пушкин. С Николаем Ивановичем Хмельницким он был знаком еще в лицейские годы (об этом свидетельствует в своих воспоминаниях, названных довольно экстравагантно «Обоз к потомству», Николай Васильевич Сушков, писатель, драматург, сотрудник журнала «Сын Отечества»). Позднее они часто встречались в петербургских театральных кругах. Пушкин даже участвовал вместе с самой Семеновой в любительском спектакле у Олениных по пьесе Хмельницкого «Воздушные замки».

Люди, близко знавшие Хмельницкого, единодушны: это был человек очень добрый, мягкий и душевный, хотя и прикрывавший свою мягкость и добродушие маскою вежливой наружной холодности. Он усердно посещал собрания у князя Шаховского (о нем чуть дальше) и у себя устраивал вечера, на которые бывали званы не только писатели, но и артисты: театр занимал Хмельницкого более всего на свете. Выступив впервые перед публикой в 1817 году (в год выпуска Пушкина из Лицея) с комедией «Говорун», он ежегодно предлагал театру по одной или две пьесы (из них одна была написана при участии Грибоедова, с которым тот был дружен). Пьесы его, особенно легкие, остроумные водевили, шли с неизменным успехом. Сегодня и они, и их автор совершенно забыты, но в свое время пользовались громкой известностью.

Пушкин вполне искренне называл Хмельницкого «любимым своим поэтом». Получив в Михайловском альманах «Русская Талия», он, не отрываясь, прочитал подборку отрывков из водевилей своего давнего знакомого. Потом писал брату: «Хмельницкий моя старинная любовница. Я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь “Онегина” (да кой чорт! Говорят, он сердится, если об нем упоминают, как о драматическом писателе)».

Николай Иванович действительно на первое место ставил государственную службу, а литература, театр были для него радостью и не столько работой, сколько отдохновением. Служить он начал чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел, в 1829 году был назначен смоленским губернатором. За восемь с половиной лет правления, как писали газеты, «сделал для города и губернии чуть ли не больше, чем каждый из остальных губернаторов, состоявших в этой должности иногда по десяти-пятнадцать лет». Он исходатайствовал у государя ссуду в миллион рублей на нужды города, еще носившего следы наполеоновского нашествия; поощрял местное производство, составил статистическое описание городов и уездов Смоленской губернии.

В народе он снискал уважение и доверие, все обиженные обращались к нему — верили в справедливость губернатора. Но честность и неподкупность, как и положено, помогли ему обзавестись

не только друзьями, но и множеством врагов. В Петербург полетели доносы. Один из них (о злоупотреблениях при строительстве дороги) оказался обоснованным. Хмельницкого доставили в Петербург и до окончания расследования посадили в Петропавловскую крепость. Шесть месяцев он провел в заключении. Ознакомившись с результатами следствия и убедившись в невинности оклеветанного губернатора, Николай I не только распорядился освободить его из-под стражи, но и наградил орденом. Но пережитое потрясение оказалось для Хмельницкого непосильным. В крепость привезли энергичного, полного сил пятидесятилетнего мужчину, вышел сгорбленный, седой, полуслепой старик. Трудно было поверить, что совсем недавно он писал искрометно веселые водевили...

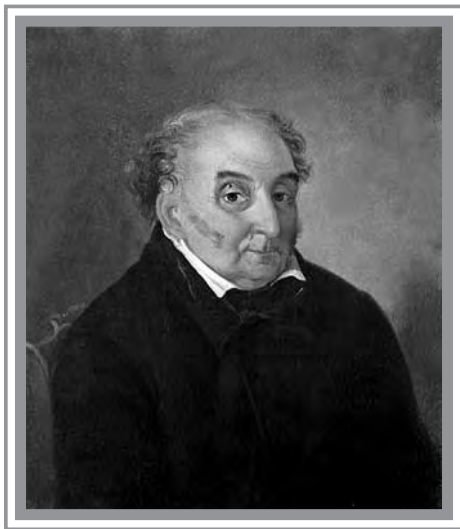
Далее в списке Пушкина следовал вопрос: «Что Катенин?» О Павле Александровиче Катенине я уже рассказывала. Как и о Екатерине Семеновне Семеновой, о которой тоже спрашивал Пушкин. Так что перехожу к следующему вопросу: «Что Шаховской?» Но кто не помнит Пушкинскую эпиграмму?

Угрюмых тройка есть певцов —
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов —
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

А еще были весьма язвительные выпады против Шаховского в послании «К Жуковскому», в статье «Мои мысли о Шаховском», в письме к Василию Львовичу, а уж разговоры в «Арзамасе»...

Так почему же Александр Сергеевич интересуется судьбой Шаховского, своего врага? Но врага ли? Не так все просто. Как вовсе не прост был и сам князь Александр Александрович Шаховской.

На первый взгляд производил он впечатление не самое приятное: огромный живот, круглая лысая голова, будто без шеи растущая прямо из плеч, мясистое лицо с тонкими губами и крючковатым носом. Но вот он улыбается, смотрит мягко, доброжелательно, слушает ласково, заинтересованно — и перед вами другой человек.



А. А. Шаховской

Рассказывали, будто он как начальник репертуарной части, присваивал чужие произведения, был гонителем молодых талантов; будто был интриган и завистник, будто из зависти к успеху погубил несчастного Озерова, будто...

А вот это уже не слухи, это неприглядная правда: это он грубо и дерзко напал на Карамзина, это он с подмостков театра оскорбил Жуковского... Но не слухи, а истина и то, что ему, человеку, который в течение четверти века определял

как репертуар, так и художественную политику императорских театров, принадлежит честь воспитания целой плеяды артистов, составивших блистательный ансамбль, который, по общему мнению, мог на равных соперничать с лучшими европейскими труппами.

Будучи наслышан обо всех многообразных качествах всемогущего в театральном мире князя, Пушкин далеко не сразу и безо всякой охоты согласился на упорные предложения Катенина пойти вместе на «чердак» (так называли в театральном кругу квартиру князя на Малой Подьяческой). Принят был Пушкин с удивившей его любезностью и искренним гостеприимством. Вчерашние враги говорили, говорили и не могли наговориться. Пушкин называл этот первый вечер у Шаховского одним из лучших в своей жизни. Он стал бывать на «чердаке» почти ежедневно и чем ближе узнавал князя, тем больше сожалел о некоторых своих нападках. Писал Вяземскому из ссылки, что Шаховской «право, добрый малый, изрядный автор и отличный сводник»; отдал дань уважения Шаховскому-драматургу и в «Онегине»: «Там вывел колкий Шаховской своих комедий шумный рой».

Шаховской, действительно, был весьма плодовитым автором, к тому же едва ли не единственным профессионалом, писавшим

исключительно для сцены. Знание законов театра и вкусов зрителей делало его пьесы увлекательными и неизменно популярными. Хотя то, что человек его происхождения (род Шаховских идет от Рюрика) посвятил жизнь писанию легкомысленных водевилей, в его среде воспринимали с недоумением (это очень мягко говоря). В автобиографии «Вступление в мое неземное поприще» князь Шаховской вспоминал: «Дядюшка мне сказал: “Похвально и с твоим именем писать стишки для удовольствия общества; но неприлично сделаться записным стихотворцем, как какому-нибудь студенту без всякого родства и протекции”». Но тяга к творчеству оказалась сильнее недовольства сановной родни. Князь Шаховской сделался «записным стихотворцем» и, надо признать, вполне успешным.

Следующий вопрос Пушкина: «Что Ежова?» Если бы не этот вопрос, Екатерину Ивановну Ежову едва ли вспомнили бы даже историки театра. А была она хорошей актрисой (не выдающейся, но вполне профессиональной) и, судя по всему, милым, приветливым человеком. Двадцать лет оставалась гражданской женой князя Шаховского и гостеприимной хозяйкой «чердака».

И еще один человек, интересовавший Пушкина, забыт довольно основательно. Это граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин-Брюс (Пушкин спрашивает: «Что граф Пушкин?»). Был он обер-шенком (хранителем вина, в его распоряжении находились все дворцовые запасы вин — придворный чин II класса) и действительным камергером. Камергер — придворный чин, в большинстве случаев просто почетное звание; действительный же камергер должен был нести реальную службу при дворе — дежурить при императрице, докладывать ей о посетителях мужского пола, дежурить на придворных церемониях, балах и в театре, когда спектакль посещают царствующие особы. Видимо, эти дежурства и неподдельный интерес графа к театру и сблизили его с Пушкиным. Во всяком случае, по свидетельству Петра Андреевича Каратыгина, до ссылки Пушкин часто бывал в гостях у Мусина-Пушкина-Брюса (третья фамилия была добавлена, вероятно, для того, чтобы как-то отличаться от многочисленных однофамильцев, а получил на нее право Василий Валентинович потому, что был женат на Екатерине Яковлевне Брюс. — *И. С.*)

И, наконец, последний персонаж списка: «Что Завадовский?» Персонаж, надо сказать, весьма неоднозначный. Был граф Александр Петрович Завадовский камер-юнкером (придворный чин VIII класса, приравнивался к званию майора), сослуживцем Пушкина по Коллегии иностранных дел. Но это чисто формальная сторона его биографии. Главное же в том, что был он известен всему Петербургу как безудержный игрок и кутила, человек хотя компанейский и остроумный, но циничный и жестокий. Судя по воспоминаниям, был он «в сущности, хорош собою, но до невероятности разгульная жизнь наложила на него яркую печать». Завадовский старательно проматывал огромное состояние, оставшееся после отца, и его квартира в доме Чаплина (Невский, 13) была местом попок и кутежей столичной золотой молодежи. К тому же был он одним из пылких «обожателей очаровательных актрис». В 1817 году страстно влюбился в несравненную Авдотью Ильиничну Истомину, приму Петербургского балета, так пленительно воспетую Пушкиным:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

Судя по воспоминаниям современников, Истомина была неотразима. Пушкин тоже был ею увлечен, но, к счастью, для него это увлечение не стало роковым. Другое дело — граф Василий Васильевич Шереметев, представитель древнего боярского рода, один из богатейших женихов России, блестящий кавалергард, которому прекрасная Авдотья отдала предпочтение перед всеми поклонниками, домогавшимися ее любви. Два года прожили они, по выражению одного из мемуаристов, «одним домом совершен-

но по-супружески». Шереметев был добрым и щедрым человеком, и Истомина искренне привязалась к нему, но полному их счастью мешал ревнивый характер графа, нередко устраивавшего своей подруге бешеные сцены. После очередной ссоры Истомина бросила Шереметева — съехала от него на отдельную квартиру. Вот этой-то ссорой и воспользовался Завадовский. Он попросил своего друга Александра Сергеевича Грибоедова, хорошо знакомого с Истоминой, привести ее после спектакля в гости. Она приехала... Правда, ухаживания Завадовского решительно отвергла.

Но Шереметев, с которым она помирилась, узнав о ее ночном визите к Завадовскому, пришел в ярость. Он вызвал соперника на дуэль и был убит. Секундантом Шереметева стал его друг, корнет лейб-гвардии Уланского полка (будущий декабрист) Александр Иванович Якубович.

Он утверждал, что причиной дуэли был какой-то поступок Завадовского, «не делавший чести благородному человеку», но разъяснить эти слова отказался, ссылаясь на слово, данное умирающему другу. От очной ставки с Завадовским Якубович тоже отказался, прося «пощадить его, не дав случая видеть убийцу друга его и виновника всех его несчастий». Зато Грибоедову как «участнику интриги» предложил стреляться. Дуэль не состоялась только потому, что оба были арестованы. Но ее не отменили. Ее просто отложили до удобного случая. А пока шло разбирательство обстоятельств гибели Василия Шереметева.

Ходили слухи, будто его отец, зная образ жизни и характер покойного, просил императора не подвергать Завадовского суровому наказанию. Александр Павлович, выслушав объяснения графа,



А. И. Якубович

нашел, что убийство было совершено «в необходимости законной обороны» и ограничился высылкой Завадовского в Англию. Учитывая, что тот был убежденным англоманом, трудно сказать, стала эта ссылка наказанием или поощрением. А вот Якубовича отправили на Кавказ. Там-то он и встретился с Грибоедовым. Дуэль, не состоявшаяся в столице, произошла в Тифлисе. Якубович (стрелок он был непревзойденный) прострелил Грибоедову руку, сопроводив выстрел издевательской репликой: «По крайней мере, играть перестанешь!»

Через некоторое время в Петербург пришло письмо: «Объявляю тем, которые во мне принимают участие, что меня здесь чуть было не лишили способности играть на фортепьяно, однако теперь вылечился и опять задаю рулады». Прямо писать о дуэли Грибоедов не мог: если бы известие о поединке с Якубовичем дошло до императора, обоим ждала бы куда более серьезная кара, чем высылка в солнечный Тифлис.



А. С. Грибоедов

Прочитав в первый раз письмо Пушкина к Толстому, я удивилась присутствию в перечне интересующих его людей одной фамилии и отсутствию другой. По поводу неожиданного для меня интереса к Шаховскому, кажется, удалось разобраться. Но почему Александр Сергеевич не спрашивает о Сашеньке Колосовой, самом, пожалуй, близком ему в актерской среде человеке? Может быть, они переписывались и не было нужды обращаться с вопросами к постороннему? Нет, не переписывались. Это известно определенно.

Так что же? Стоило сопоставить события и даты, и стало понятно: как раз во время его ссылки Пушкин и Колосова были в ссоре. Вот и не спрашивал он у Толстого: «Что Колосова?» Быть не может, чтобы не интересовался, но спросить не хотел: обида не позволяла, а потом — раскаяние.

Их многие годы, можно сказать всю сознательную жизнь, связывали с Александрой Михайловной Колосовой непростые отношения. Они познакомились, когда она готовилась к дебюту на сцене. Ей было шестнадцать лет. Ему — девятнадцать. Вскоре он сделался в доме Колосовых своим человеком (поначалу был влюблен, это уже потом она стала его преданным другом). Жили Колосовы в **доме на Екатерининском канале** (участок дома № 97 по набережной канала Грибоедова), принадлежавшем купцу **Голидею**, выходцу из Англии. Был он очень богат. Владел (среди прочего) островом. Вот, «исправив» имя владельца на русский лад, и стали называть остров, получивший после 13 (25) июля 1826 года печальную известность, Голодаем. Дом Голидея давно перестроен до неузнаваемости. Шедевром архитектуры он не был, но памятником истории и культуры, безо всякого сомнения, являлся. Так что вполне может пополнить наш список утрат. В этом огромном доме с аркадами и колоннами размещалась театральная контора, театральная типография (там печатали не только афиши и билеты, но и пьесы; первые пьесы Грибоедова были напечатаны именно в этом доме).

Но главное, в этом доме жили актеры. И какие! Алексей Семенович Яковлев («До него истинные чувства не были знакомы актеру. Все ограничивалось одной пышной декламацией... он потрясал своих зрителей», — писал о Яковлеве драматург и театральный критик Федор Алексеевич Кони), Яков Григорьевич Брянский (отец Авдотьи Яковлевны Панаевой; играл Сальери в «Моцарте и Сальери», старого цыгана в «Цыганах», на 1 февраля 1837 года была назначена премьера «Скупого рыцаря», но из-за гибели автора не состоялась), прекрасная балерина Екатерина Александровна Телешова (ею был страстно увлечен Грибоедов), Каратыгины (о них актер, драматург и автор театральные воспоминаний Гавриил Михайлович Максимов писал: «...кроме способности увлекать публику речами, заставляя ее по своему произволу плакать или содрогаться, умели доставлять ей эстетическое наслаждение и своим внешним видом: каждая их поза, каждый жест, верно соответствуя речи, были в то же время художественно живописны!»), Колосовы (матушка Евгения Ивановна была известной балериной, дочь Сашенька — актрисой драматической; со

временем она выйдет замуж за гениального трагика Василия Андреевича Каратыгина). Вот у Колосовых-то частенько и проводил вечера, прежде чем отправиться к «ночной княгине», Александр Сергеевич Пушкин.

«Мы с матушкой, — писала в “Воспоминаниях” младшая Колосова, — от души полюбили его. Угрюмый и молчаливый в многочисленном обществе, Саша Пушкин, бывая у нас, смешил своей резвостью и ребяческой шаловливостью... Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте: вертится, прыгает, пересаживается, перероет рабочий ящик матушки, спутает клубки гарусу в моем вышиваньи, разбросает карты в гранпасьянсе, раскладываемом матушкой... “Да уймешься ли ты, стрекоза! — крикнет, бывало, моя Евгения Ивановна. — Перестань, наконец!” Саша минуты на две приутихнет, а там опять начинает проказничать. Как-то матушка пригрозила наказать неугомонного Сашу — “остричь ему когти” — так называла она его огромные, отпущенные на руках ногти. “Держи его за руку, — сказала она мне, взяв ножницы, — а я остригу!” Я взяла Пушкина за руку, но он поднял крик на весь дом, начал притворно всхлипывать, стонать, жаловаться, что его обижают, и до слез рассмешил нас... Одним словом, это был сущий ребенок, но истинно-благовоспитанный».

В середине декабря 1818 года на сцене Большого театра состоялся дебют Сашеньки Колосовой. Пушкин был на спектакле и так описал ее игру: «В скромной одежде Антигоны, при плесках полного театра, молодая, милая, робкая Колосова явилась недавно на поприще Мельпомены. Семнадцать лет, прекрасные глаза, прекрасные зубы (следовательно, чистая приятная улыбка), нежный недостаток в выговоре обворожили судей трагических талантов. Приговор почти единогласный назвал Сашеньку Колосову надежной наследницей Семеновой».

И вдруг... Пушкин прекращает появляться у Колосовых. Зато им, не скрывая злорадства, читают эпиграмму:

Все пленяет нас в Эсфире:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,

Голос нежный, взор любви,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!

Александра Михайловна была потрясена: за что?! На свое счастье она еще не знала, как уничижительно он отзывался о ней в статье «Мои замечания об русском театре» (эту блистательную статью он почему-то не закончил, при его жизни она не была опубликована).

Потом выяснилось: кто-то из ее завистников с «сочувствием» передал Пушкину, что Колосова смеялась над его внешностью и назвала его мартышкой. Он поверил. Подобные насмешки всегда больно его задевали. Вот сгоряча и написал эпиграмму. Она появилась в 1819-м, а через два года Пушкин напишет Катенину из Кишинева, что искренне сожалеет о своих злых словах. Пройдет еще четыре года (он только что вернется из ссылки), и Колосова с волнением прочитает обращенные к ней строки:

Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит,
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.
Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук...

Конечно же, она его простила. Дружба их продолжалась. В ее доме в 1831 году (она уже вышла замуж за Каратыгина) Пушкин читал

еще не опубликованного «Бориса Годунова». «Первые явления, — рассказывал Михаил Петрович Погодин, — были выслушаны тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием всех ошеломила. Мне показалось, что мой родной и любезный Нестор поднялся из могилы и говорит устами Пимена; мне послышался живой голос русского древнего летописателя. А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: “Да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной”, мы просто обеспамятели. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет, то молчание, то взрыв восклицания. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. О, какое удивительное это было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать. Да едва ли кто и спал из нас в эту ночь». Рассказ Погодина — о другом чтении, но он точно передает впечатление большинства тех, кто впервые слушал Пушкинскую трагедию!

А Александра Михайловна рассказывала: «Он очень желал, чтобы мы с мужем прочитали на театре сцену у фонтана, Димитрия с Мариною. Несмотря, однако же на наши многочисленные личные просьбы, граф Бенкендорф... отказал нам в своем согласии; личность самозванца была тогда запрещенным плодом на сцене». «Борис Годунов» долго оставался «запрещенным плодом на сцене». Впервые был поставлен труппой Александринского театра на сцене Мариинского театра только 17 сентября 1870 года. Мечта Пушкина увидеть свою трагедию на сцене Большого театра так и не сбылась...

«НЕ СТУПАЙ НА СТЕЗЮ НЕЧЕСТИВЫХ»



Сначала я об этом не задумывалась. А потом, когда задумалась, стало как-то не по себе... Будто рок меня преследует: куда ни перееду, попадаю в окружение разрушенных храмов. Моя родная улица носит сейчас имя зловещее — Марата. Едва ли есть в городе улицы, которые бы так часто меняли названия. Поначалу, во времена Анны Иоанновны, была она просто проездом, по которому добирались до Невской перспективы семеновцы (полк стоял в районе нынешнего Витебского вокзала). Потом проезд продлили, чтобы связать Семеновский и Преображенский полковые городки (преображенцы стояли в районе Таврического сада), он стал улицей, которую называли Преображенской Полковой. Затем — уж не знаю, за какие заслуги, — переименовали в Грязную. После смерти Николая I назвали в его память Николаевской. После февральской революции стала она «символом победившего

самодержавие народа» — проспектом 27 февраля. Так что, если подумать, вовсе не случайно большевики дали ей имя кровавого Марата (часто спрашивают: при чем здесь Марат? Что у нас — своих выдающихся людей мало?). А вот притом: чтобы называющие себя демократами особенно не обольщались. Их власть ненадолго. Может быть, я и ошибаюсь, но мне именно такой видится подоплека переименования.

Вблизи моего родного дома были разрушены три церкви и одна (дивной красоты собор Владимирской иконы Божьей Матери) закрыта, занята каким-то промышленным предприятием. Да еще был уничтожен один храм около школы, в которой я училась. Об одной из этих разрушенных церквей я уже рассказывала. Это Знаменье у Московского вокзала. Другая стояла на углу Марата и Стремянной. Была она облицована золотистым глазурованным кирпичом, стены украшали огромные изразцовые иконы. В детстве я считала ее сказочно красивой.

Потом, правда, показалось, что какая-то она не наша, не ленинградская. **Троицкая церковь** действительно была построена в стиле московских храмов XVII века и не слишком удачно вписывалась в петербургскую среду. Но, когда речь идет о храме, это не так уж важно, потому что он — это не только и даже не столько художественное произведение, сколько духовная святыня. Так что,



Троицкая церковь

уверена, не сомнения в художественных достоинствах церкви, а неодолимая потребность покончить с религией и верой заставила взорвать Троицкий храм (сейчас уже не все помнят самоуверенное заявление очередного главы государства и яростного богоборца Хрущева: «В восьмидесятом году я покажу вам фотографию последнего попа!»). Я видела, как разрушали церковь Святой Троицы (это случилось в 1966-м). Было горько и страшно. Одно дело, когда тебе

говорят: вот на этом месте была церковь. Совсем другое — видеть ее уничтожение. И невозможно понять: ведь не фашистская бомба, ведь свои... На месте разрушенного храма построили Невские бани, сооружение не то чтобы уродливое — никакое. Просто серый безликий куб. Зато чрезвычайно полезное: в нашем старом районе, где было много коммунальных квартир, баня просто необходима. Так что — символ времени (как и сменяющие друг друга названия улицы). Недавно бани снесли. Наверное, нужда в них отпала. Или появилась у кого-то острая нужда в земле, которую они занимали. Сейчас на месте церкви и бани — еще один символ, символ нового времени — торгово-развлекательный центр. Вот так-то...

Еще одна церковь — вернее, церковный ансамбль с многочисленными куполами и главками, уникальный, не похожий ни на один из петербургских храмов и, как рассказывали, особенно любимый прихожанами — располагался на углу Разъезжей и Боровой улиц, по соседству с Ямским рынком — в одном из самых людных мест города. Это была **церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского и Святого Александра Свирского при подворье Александро-Свирского Свято-Троицкого и Преображенского мужского монастыря**. Участок земли в центре Петербурга монастырь приобрел в 60-х годах XIX века. Вскоре построили храм.

Александро-Свирский монастырь почти пятьсот лет был одним из важнейших духовных центров России. Основал его вблизи Лодейного Поля постриженник «Северного Афона» — Валаамского монастыря — преподобный Александр Свирский (до пострижения его звали Амосом). Когда он отправился из родной новгородской деревни на Валаам, пришлось ему идти по берегу большого Рощинского озера. И услышал он таинственный голос: «На этом месте возведешь ты обитель». Через несколько лет после пострижения он (уже под именем Александр) вернулся на то место и поселился в шалаше неподалеку от реки Свири (оттуда и имя — Свирский). На двадцать третьем году его отшельнической жизни в пустыни произошло событие, навсегда вошедшее в анналы церковной истории. Явился преподобному яркий свет, и он увидел трех мужей, сошедших к нему, и услышал повеление: «Возлюбленный, яко же видишь в Трех Лицах Глаголющего с тобой, созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа, единосущной Троицы».

На месте явления преподобному Александру Святой Троицы была воздвигнута часовня, и это место на многие годы стало предметом поклонения паломников. Не однажды бывал там и державный основатель Петербурга. Нетленные чудотворные мощи святого Александра привлекали и продолжают привлекать (после второго обретения) тысячи паломников. Долгие годы обитель процветала. Но и в ее судьбе, как в судьбе тысяч храмов, октябрь 1917 года стал роковым. В обители добра и мудрости был организован Свирьлаг — место страданий и скорби.

Что же до подворья монастыря на Боровой улице, то до второй волны гонений на церковь его не трогали. В 1932 году закрыли, но не разрушили. И в войну оно устояло, хотя район бомбили и обстреливали с каким-то особенным остервенением. После 1945-го храм был частично разрушен, частично перестроен.

А возрожденный монастырь открыл в Петербурге новое подворье, в Веселом поселке.

В том же 1932 году решила и судьба храма, который стоял поблизости от школы, где я училась. Следов от него не оставили никаких — сквер как сквер, ничего особенного. Мне бабушка рассказала. Именно туда она часто ходила молиться, когда дедушка был на фронте (я имею в виду Первую мировую войну). Понятно почему: уничтоженный собор во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы был полковым храмом расквартированного поблизости Семеновского полка. Сформирован был полк в 1683 году в селе Семеновском под Москвой как один из двух потешных полков юного царя Петра. Через девять лет стал вполне серьезной войсковой единицей, в 1700 году получил звание лейб-гвардейского. С тех пор блестяще показал себя под Нарвой и Полтавой, в Аустерлицком и Бородинском сражениях, в боях Первой мировой войны.

Семеновцы были всегда впереди,
И честь дорога им как крест на груди.
Погибнуть для Руси семеновец рад,
Не ищет он славы, не ищет наград...

Это слова из полковой песни, своего рода символа веры семеновцев.

Именно в Семеновском полку начинал свою армейскую службу Александр Васильевич Суворов. Был рядовым, только через девять лет вышел в офицеры. В годы наполеоновских войн в полку служили Петр Яковлевич Чаадаев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и многие другие, составлявшие гордость полка, да и гордость России. Шефами семеновцев в разные годы были все российские императоры, начиная с Анны Иоанновны. В полковом музее хранились семеновские реликвии. Среди них шпага и палаш Суворова, остатки полковых знамен времен Петра, собственноручные его указы, мундир офицера полка Талызина, который надела Екатерина II, когда во главе гвардии отправилась свергать Петра III.

Семеновский полк не только в армии, но и в гвардии был на особом положении. Оно и понятно: его шеф — сам император. Это был единственный полк, где не допускались телесные наказания — лучшей привилегии в те времена нельзя было и придумать. Многих это раздражало. Прежде всего — Аракчеева.

Пользуясь отсутствием Александра, занятого международными делами и редко появлявшегося в России, он добился замены командира Семеновского полка: вместо любимца солдат Якова Алексеевича Потемкина был назначен полковник Григорий Ефимович Шварц, известный патологической жестокостью. Заслуженных солдат, героев Отечественной войны, этот «пришлец иноплеменный» принялся тиранить со зверским ожесточением, изобретая все новые и новые изощренные наказания, которые вернее было бы назвать пытками. Ротные и взводные офицеры пытались помочь солдатам, но мало что могли сделать: власть командира полка была неограниченной.



А. А. Аракчеев

Но однажды, после особенно изощренных и оскорбительных издевательств, солдаты не сдержали возмущения. Тогда Шварц приказал бить палками награжденных орденами солдат-ветеранов, даже по уставу не подлежащих телесным наказаниям. В ответ первая — государева — рота заявила ротному командиру от имени всего полка, что не будет больше служить под командой Шварца. Солдаты тут же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость. Наутро взволновался весь полк. Шварц, испугавшись за свою жизнь, скрылся и больше в расположении полка не появился. Даже уговоры генерал-губернатора Милорадовича, которого солдаты искренне почитали, не привели семеновцев к повинению — они упорно отказывались служить под началом Шварца. Никакого вооруженного сопротивления не оказывали, но, узнав, что первая рота в крепости, остальные добровольно двинулись туда же: «Где голова — там и ноги».

В Петербурге все осуждали Шварца, жалели солдат, которые вели себя в этой истории с удивительной выдержкой и благородством, но по настоянию всеильного в те времена Аракчеева все без исключения солдаты и офицеры-семеновцы были разосланы по провинциальным армейским (не гвардейским) полкам. Набрали новый полк. Прежним осталось только имя. Другие гвардейцы долго не признавали новых семеновцев — до тех пор, пока в боях Русско-турецкой войны те не доказали своего права называться гвардейцами, преемниками былой славы полка.

У каждого лейб-гвардейского полка, расквартированного в столице, была своя слобода. Семеновская (ее называли когда-то Семенцами) занимала немалую территорию между современными Московским проспектом с запада, Звенигородской улицей с востока, Фонтанкой с севера и Обводным каналом с юга. Здесь было все: и казармы, и дома офицеров, и госпиталь (я упоминала о нем, когда писала об архитекторе Демерцове), и огромный плац. На нем проводили учения и Семеновского, и квартировавших поблизости лейб-гвардии Егерского и Московского полков.

Но известен Семеновский плац другим: именно на нем были помилованы ожидавшие казни петрашевцы (среди них — Федор Михайлович Достоевский), а через тридцать два года повешены убийцы царя-освободителя.

Вскоре после казни народовольцев плац перешел к Обществу рысистого коннозаводства, которое устроило там ипподром. Он просуществовал до 1940 года и пользовался огромной популярностью. Любители бегов надеялись, что после войны ипподром будет восстановлен, но увы... В 1962 году на месте бывшего полкового плаца, бывшего места казней, бывшего ипподрома открылся Театр юного зрителя.

В каждой полковой слободе была своя церковь. В расположении семеновцев первый храм, маленький, деревянный, во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, был построен еще при Елизавете Петровне на углу Загородного проспекта и нынешней Можайской улицей (в те времена она называлась Второй ротой). Через два десятка лет Екатерина II распорядилась перенести церковь на площадь перед плацем — на место, где сейчас располагается Витебский вокзал. А уже при Николае I на другой стороне Загородного архитектор Константин Андреевич Тон, автор вокзалов-близнецов в Москве и Петербурге, Большого Кремлевского дворца, храма Христа Спасителя и еще многих и многих весьма достойных построек в разных городах России, выстроил храм, который казался уменьшенной копией знаменитого храма Христа Спасителя и напоминал московские церкви XV–XVI веков.

Интерьеры **Введенского собора** расписывали выдающиеся художники — те же, что работали в Исаакии. Так что представить, как выглядели росписи Петра Васильевича Басина и Тимофея Андреевича Неффа, иконы, писанные тем же Неффом и Василием Кузьмичем Шебуевым, можно без труда, рассмотрев работы этих мастеров в Исаакиевском соборе. Как только новая церковь была построена, старую, деревянную, бережно разобрали.

20 ноября 1842 года новый храм был освящен в присутствии императора Николая I, пожертвовавшего почти две трети средств на его строительство. С тех пор государь всегда присутствовал в соборе на торжественных богослужениях в дни полковых праздников.

Главными святынями храма были полковые иконы Спаса Нерукотворенного и Знамения Пресвятой Богородицы из походной церкви Петра I, бывшие с полком в битвах при Лесной и при Полтаве. Висели в храме парадные знамена, хранились полковые

мундиры российских императоров и фельдмаршальский жезл великого князя Николая Николаевича (старшего), трофейные знамена, ключи от взятых крепостей, образцы амуниции и снаряжения. На стенах были укреплены мраморные доски с именами павших в боях офицеров, панихиды по которым проходили в день полкового праздника. С конца XIX века в храме начали хранить личные награды, документы и портреты особо отличившихся и павших в сражениях семеновских офицеров и солдат.

В западной части церкви находились гробницы прежних командиров полка — князя Петра Михайловича Волконского и графа Владимира Петровича Клейнмихеля. В 1906 году в крипте был устроен придел, где были погребены командир полка Георгий Александрович Мин, убитый террористкой Коноплянниковой, и трое семеновцев, погибших при подавлении вооруженного восстания в Москве. Там же нашли упокоение и более сорока офицеров, павших на полях сражений Первой мировой войны.

Когда началась революция, двое офицеров тайно спрятали в алтаре храма Введения знамя своего полка. Надеялись на его скорое возрождение. Не случилось... И остатки полка — те немногие, кто не погиб в боях Первой мировой, кто примкнул к Белому движению, и храм, который они так любили, — все погибло.

Кстати, до недавнего времени семеновцам ставили в вину их участие в Гражданской войне на стороне Юденича, а не, к примеру, Ворошилова. Считали это изменой Родине и народу. А на самом деле они просто остались верны присяге. Ведь не ради красного словца пели: «И честь дорога нам, как крест на груди». Вот почему именно в храм Семеновского полка ходили молиться за своих близких жены и матери тех, кто тоже оставался верен присяге. Вот почему этот храм был особенно неуютен новой власти.

Обычно снос храмов пытались хоть как-то объяснить, чаще всего неуклюже (к примеру, когда сносили церковь Покрова в Коломне, заявили, что она мешает трамвайному движению). Взрыв Введенского собора, который, кстати, находился под охраной как памятник архитектуры, даже не попытались оправдать. Вместе с храмом уничтожили и могилы.



Церковь Покрова в Коломне

Эту историю, печальную и славную, не знал почти никто из моих школьных подружек, да и взрослые далеко не все знали — или молчали. И мы сидели в сквере, что был разбит на месте взорванного храма, шутили, смеялись, даже не подозревая...

А вот когда я жила в бывшем Демутовом трактире, разрушенных храмов поблизости не было. Правда, в храме Спаса-на-Крови был склад декораций Малого оперного театра, подвалы были затоплены, гидроизоляция нарушена, драгоценное внутреннее убранство разворовано. Но, как пел Высоцкий, «скажи еще спасибо, что живой».

Но это было чем-то вроде короткой передышки. Несколько лет, идя на работу, я и не подозревала, что Дом прессы построен на месте разрушенной церкви. Однажды увидела старую фотографию: Чернышев мост, дом Министерства внутренних дел (кто архитектор, спрашивать не нужно, ошибиться невозможно — так узнаваем почерк Карла Ивановича Росси), а рядом, на том самом месте, где стоит Дом прессы, — храм. Высокое здание в «русском стиле», пятиглавое, со стройной шатровой колокольней. Я тогда ничего

о нем не знала. Только в очередной раз ужаснулась: сколько же храмов в нашем городе сумели (посмели) уничтожить. Сначала узнала, что снесли храм в середине тридцатых годов, а Дом прессы построили уже после войны, в незабвенный период борьбы с излишествами в архитектуре. Надо сказать, он, при всей своей невыразительности, вполне деликатно вписался в среду, не нарушил масштаба старой застройки — напротив, только подчеркнул красоту соседних зданий. В общем — не раздражал. Но и не побуждал задумываться, что же здесь было раньше. Но узнав, что был храм, невозможно было не попытаться узнать его историю. Оказалось, храм был обетным. Хозяин Апраксина двора граф Антон Степанович Апраксин дал обет построить храм, когда восстановит все, уничтоженное опустошительным пожаром, случившимся в 1862 году. Тогда выгорели практически все постройки огромного торгового комплекса, со времен Елизаветы Петровны принадлежавшего семейству Апраксиных (о предках Антона Степановича я подробно писала: в главе «Утраты Петровского Питербурха» — о Степане Федоровиче, в главе «Расстрелянный Растрелли» — о Федоре Матвеевиче). Есть подозрение, что пожар тот был не случайным. Хорошо известно, что сегодня, дабы вынудить владельца расстаться с каким-то очень уж соблазнительным участком земли, поджигают стоящие на нем строения, а потом погорельцу, полагая, что у него нет ни денег, ни сил, чтобы все отстроить заново, предлагают продать землю. Очень удобно. И не нужно тратить деньги на снос ненужных построек и расчистку участка. Так вот, точно так случилось и с выгоревшей до основания территорией Апраксина двора. К графу Апраксину явились покупатели, предложили продать опустошенную землю за восемь миллионов рублей (сумма по тем временам огромная). Антон Степанович презрительно улыбнулся: «Я добавлю еще два миллиона за то, что вы оставите меня в покое». И начал строить. Задачу поставил перед собой не самую скромную: его Апраксин двор не должен ни в чем уступать Гостиному. Задачу эту решил блистательно, построив вдоль Садовой улицы по проекту архитектора Иеронима Доминиковича Корсини каменные корпуса на тысячу лавок. Более того, желая превзойти Гостиный двор, Апраксин (первый в России!) оснастил свою новую постройку электрическим освещением.

После того как торговые ряды заработали, пришло время выполнять обет. Строительство храма граф поручил Людвигу Францевичу Фонтана, уже строившему по его заказу огромный доходный дом (Литейный, 48), внутренние корпуса Апраксина двора и, главное, Малый театр (много лет в нем располагается Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Так что вкусу архитектора он вполне доверял. **Церковь во имя Воскресения Христова** была освящена в 1895 году. Стены ее облицевали мрамором, образа набрали из мозаики, окна украсили великолепными витражами. Она сразу стала популярна: место бойкое — рядом самые большие торговые центры столицы, так что народ съезжался сюда со всех концов города. При церкви Антон Степанович организовал богадельню для вдов инвалидов Кавалергардского полка и школу для детей-сирот. Он вообще был щедрым благотворителем, никогда не отказывал в помощи людям, попавшим в трудное положение. Недоброжелатели, любящие считать чужие деньги, заявляли, что в этом нет ничего особенного. Мол, при его-то состоянии швырнуть бедняку несколько сотен рублей — все равно, что обычному человеку подать нищему гривенник. Но когда он умер, «Петербургская газета», при жизни его не жаловавшая, вынуждена была признать: «Едва ли когда-нибудь можно было видеть такую огромную толпу простонародья, как та, что следовала за гробом графа А. С. Апраксина — выдающегося представителя нашей аристократии». Большинство этой толпы и составляли те, кого в трудную минуту облагодетельствовал покойный.



*Церковь во имя Воскресения Христова
Фото 1900-х годов*

Что же касается богадельни, то он не случайно предназначил ее для вдов инвалидов-кавалергардов. Апраксин много лет прослужил в Кавалергардском полку, знал каждого из старослужащих, знал их семейные обстоятельства, искренне сочувствовал и им, и их женам. Не мог допустить, чтобы эти женщины,

оставшись одинокими, жили в нищете. Они были благодарны. Молились за него. Тем более что о нем тоже знали больше, чем досужие сплетники и завистники: в семейной жизни он несчастлив — жена его не любит, обожаемая дочь умерла в детстве, у сына неизлечимая душевная болезнь.

В полку Апраксина любили. Он вышел в отставку генерал-лейтенантом. Смерть отца вынудила сразу заняться управлением огромным хозяйством, доставшимся в наследство, хотя душа лежала совсем к другому. После того как выполнил свой долг, восстановил сторевший Апраксин двор и построил храм, смог, наконец, отдать все свое время любимому увлечению — воздухоплаванию.

Имея многомиллионное состояние, он мог позволить себе любые расходы на собственные проекты. Некоторые идеи Апраксина были интересны, но настолько обгоняли время, что казались утопией. Например, к его мысли использовать для переноса больших тяжестей беспилотные воздушные шары, аэростаты-краны, обратились только в XX веке. Для некоторых отраслей актуальна эта идея и сегодня. Но главным изобретением графа Апраксина стал комбинированный аэростат, имевший два баллона: один с легким газом, другой — наполненный теплым воздухом. Такая комбинация должна была позволить совершать длительные полеты, не расходуя газ и балласт, маневрировать по высоте, чтобы выбрать воздушное течение нужного направления. Супер-аэростату графа Апраксина, который он строил до последних дней жизни (это было огромное сооружение высотой в тридцать метров с гондолой, вмещавшей десять человек), так и не удалось подняться в небо. Что идея его верна, стало ясно лишь через много лет после его смерти. Именно комбинированные аэростаты позволили предпринять сверхдальние полеты, даже облететь вокруг земного шара. А он мечтал долететь до Северного полюса. Всего лишь...

Апраксина радовало, что в построенной им церкви всегда многолюдно. Но популярность не уберегла церковь, правда, может быть, немного отдалила ее закрытие. И все-таки в конце 1928 года закрыли, а в середине тридцатых — снесли. До основанья, как положено. Застроят образовавшийся пустырь только после войны...

Из всего, что сделал он для города (Апраксин двор не считаю: его он строил по обязанности, не для души), остался только театр. Правда, он-то его замышлял как домашний, но кто же, приходя в прославленный БДТ, об этом вспоминает? Впрочем, и имя графа Апраксина вспоминали и вспоминают едва ли многие...

А я, переселившись на Петроградскую сторону, снова, как в свое время на Марата, оказалась рядом с местами, где когда-то стояли храмы, где теперь — пустота. Сначала из моих окон был виден сквер. Если не знать, нельзя было и заподозрить, что не так, в общем-то, и давно, в 1932 году, на этом месте была взорвана одна из самых старых и самых посещаемых церквей города — **Введенская**. Соседка, бывшая в те годы уже вполне взрослым человеком, рассказывала, что особенно хороша была церковь летом: белая, в окружении тонкоствольных плакучих берез, она сверкала золотыми звездами на ярком голубом куполе, как будто явилась сюда, на перекрестье трех городских улиц, из сказки.

На самом деле она (вернее — ее деревянная предтеча) появилась здесь в 1733 году по повелению императрицы Анны Иоанновны. Церковь была невелика, и, учитывая, что население района довольно быстро росло, а молились в ней не только окрестные жители, но и солдаты Белозерского полка, квартировавшие неподалеку и своей полковой церкви не имевшие, Екатерина II приказала построить рядом еще одну церковь, но уже теплую, каменную. В 1766 году ее освятили во имя Тихвинской иконы Божьей Матери.

Через тридцать лет деревянную Введенскую церковь разобрали и заказали Ивану Михайловичу Лейму, ученику Саввы Ивановича Чевакинского, проект нового каменного храма. Строили долго — приход был бедный, денег постоянно не хватало. Наконец, в 1806 году церковь была освящена во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Но окончательно ее удалось достроить только к 1840-му, когда была пристроена колокольня и аскетично строгий храм стал выглядеть наряднее.

При Введенской церкви в 1872 году в честь двухсотлетия со дня рождения императора Петра Великого было основано Петровское общество вспомоществования бедным. Учредителями стали священник храма протоиерей Григорий Александрович Смирягин

и купец Иван Григорьевич Данилин. Оба были весьма уважаемы, и вокруг них довольно быстро образовался круг людей совестливых, готовых помочь обездоленным. Одни жертвовали деньги, часто очень значительные, другие дарили участки земли, третьи, не имеющие законных наследников, завещали обществу все свое состояние. Уже через год Петровское общество открыло детский приют, через два года — богадельню, еще через несколько лет построило на подаренном «пустопорожном месте» (Стрельнинская улица, 9) трехэтажный дом, куда перевели приют и богадельню, располагавшиеся сначала в съёмных помещениях.

Вскоре, купив соседние участки земли (разумеется, на деньги благотворителей) приступили к строительству второго каменного дома. В нем устроили **домовую церковь во имя Святого Благоверного князя Александра Невского** в память спасения царской семьи при крушении поезда в Борках (эта церковь тоже будет уничтожена). Авторитет общества был столь высок, что написать картины и образа для домового храма согласились Виктор Михайлович Васнецов, Илья Ефимович Репин, Михаил Петрович Клодт. Церковь освятили 11 октября 1890 года, а через несколько дней в новом здании открыли Дом трудолюбия для женщин. При нем организовали швейные мастерские и школу кройки и шитья для пятидесяти девочек из бедных семей, которые не могли платить за обучение. Тогда же попечение над обществом приняла на себя великая княгиня Елизавета Федоровна, которая искренне разделяла стремление благотворителей облегчить жизнь обездоленных. Потом Петровское общество построило еще один, уже пятиэтажный дом, на Введенской улице, прямо против церкви. Это был обычный доходный дом, который давал возможность зарабатывать немалые деньги на содержание приюта, богадельни и Дома трудолюбия. Несколько квартир было отведено для паломников. А совсем рядом с церковью стоял дом, в котором произошли события, вошедшие в историю и православной церкви, и русской педагогики.

В приходе Введенской церкви во второй половине XIX века жила семья биржевого маклера Константина Петровича Грачева, семья вполне благополучная. Одна беда: родители мечтали о мальчике,

а рождались девочки. Младшей, Кате, было четыре года, когда ее сестры умерли от дифтерии. Родители очень тяжело переживали смерть дочерей, им казалось, что мало любили девочек, что недосмотрели, что виноваты. Но прошло несколько лет, боль утихла, и тут выяснилось, что у них будет еще один ребенок. Константин Петрович (он был человеком глубоко верующим) молил Господа дать им сына. Его жена, Алиса Граф, происходила из древнего немецкого дворянского рода и была, естественно, лютеранкой. Но, вынашивая такого желанного сына (не сомневалась, что родится мальчик), решила принять православие.

3 декабря 1876 года она действительно родила мальчика, но недоношенного, семимесячного и очень слабенького. Десятилетняя сестра стала его крестной матерью.

До пяти лет Коля не ходил, дни, когда он бывал здоров, становились для семьи праздниками, но выпадали такие дни редко — одна болезнь сменяла другую. Больше всего пугали близких приступы конвульсий, случавшиеся все чаще. Зато в интеллектуальном развитии мальчик даже опережал сверстников: в пять лет уже прекрасно говорил по-французски, проявлял явные способности к рисованию, с необычной для его возраста серьезностью относился к религии.

В 1886 году Екатерина и Николай потеряли родителей: отец скончался 18 октября от болезни сердца, мать — 13 ноября от чахотки, которой страдала несколько лет. Похоронили их на Смоленском кладбище. Мальчик очень тяжело переживал смерть родителей, на нервной почве у него развилась эпилепсия. На двадцатилетнюю Екатерину свалились заботы о больном брате и хлопоты по хозяйству, которое перед смертью отца пришло в полный упадок. Ей ничего не оставалось, как продать богатую обстановку родительского дома и переехать в самую скромную и дешевую квартиру. У нее было только одно неперемное требование к новому жилищу: оно должно быть рядом с Введенской церковью. В двухэтажном деревянном домике на Большой Белозерской улице (сейчас улица Воскова) она нашла крошечную квартирку из одной перегороженной комнаты и кухни. Зато окно выходило прямо на Введенскую церковь и на окружавшие ее березы. Это так радовало больного мальчика...

Катя полностью посвятила себя уходу за братом — она все еще надеялась, что найдет врача, который сумеет вылечить Колю. Обращалась ко всем светилам столичной медицины, добралась даже до знаменитого Петра Александровича Бадмаева, попасть к которому было почти невозможно. Ей сочувствовали, но не скрывали: мальчик неизлечим. Николаю и в самом деле становилось все хуже и хуже. Последняя надежда была на Ивана Михайловича Балинского, профессора Военно-медицинской академии, основателя кафедры психиатрии и первой в России специализированной больницы для психических больных. Но и Балинский не смог ее утешить. Он с горечью признал, что бессилён, предупредил, что она должна готовиться: Колю ждет паралич и скорая смерть.

Через четыре года после кончины родителей — четыре года безнадежной борьбы за жизнь — у Коли отнялись руки и ноги. Он угасал на глазах. В ночь на 3 декабря 1890 года (на следующий день ему должно было исполниться четырнадцать лет) с ним случился такой сильный припадок, каких еще не бывало. Сестра думала, что это конец. Но после припадка ему было видение: перед ним явились Богоматерь и святитель Николай. Богородица ласково посмотрела на мальчика и сказала: «Поезжай в часовню, где упали монеты, шестого числа ты исцелишься, но ранее никому не говори».

Эта часовня, где упали монеты, стояла на берегу Невы в Стеклянном городке, построенном для рабочих стеклянного завода, сооруженного еще по распоряжению князя Потемкина рядом с его мызой «Озерки». Была часовня освящена во имя Тихвинской иконы Божьей матери, а икону суздальской работы Богоматери «Всех скорбящих Радость» пожертвовал часовне купец, возвращавшийся из столицы в Ладугу, застигнутый бурей и спасшийся, причалив к берегу как раз у часовни.

Но это было давно. А в то время, о котором идет речь, часовня была очень бедна и приходила в окончательный упадок. 23 июля 1888 года во время грозы в нее ударила молния. Пожар потушили, и после того, как дым немного улегся, люди увидели: сгорело все, а икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» не только не сгорела, но и обновилась. Лик Богородицы просветлел. Стоявшая рядом медная кружка для пожертвований разбилась вдребезги, и несколько грошиков прилепилось к иконе. Весть об этом чуде

мгновенно разнеслась по Петербургу, и толпы людей устремились в часовню.

Вот к этой-то иконе с грошиками и повезла Катя умирающего брата. Боялась, не довезет, но отказать мальчику в последней просьбе не могла (была уверена, что просьба последняя). Дорогой с ним случились жестокие припадки. Когда она на руках внесла Колю в часовню, он был без чувств. Но начали читать Евангелие, и он пришел в себя, его подняли и приложили к иконе. Вдруг только что умиравший мальчик перекрестился и встал на ноги... С тех пор Николай Грачев стал совершенно здоровым человеком.

Что же до исцелившей его иконы, то в конце XIX века, уже после исцеления, в честь чудотворной иконы была построена великолепная каменная церковь, которая стала одной из самых посещаемых в Петербурге. Добирались до нее не только посуху, но и по Неве: во время навигации было налажено сообщение на катерах и пароходах. Не раз ездила в Скорбященскую церковь Анна Андреевна Ахматова:

Паровик идет до Скорбящей,
И гудочек его щемящий
Откликается над Невой...

В 1932 году **Скорбященскую церковь** постигла та же участь, что и Введенскую, и многие, многие другие...

А в 1909 году специально для иконы освятили самую большую в России часовню — она вмещала до восьмисот человек. Архитекторы так искусно расположили несущие конструкции, что образ Богородицы был хорошо виден стоящим в любом месте часовни. Она сохранилась до наших дней и в 1991-м была возвращена церкви. Сейчас в ней хранится список с чудотворного образа, а саму икону верующим удалось спасти (экспроприаторы позарились только на драгоценную ризу), в конце сороковых годов ее передали в Свято-Троицкую церковь, которую издавна называют «Кулич и Пасха».

Но вернемся к брату и сестре Грачевым. Слух о чудесном исцелении разнесся по всей России. Одни поспешили со своими бедами к чудотворной иконе, другие — на Большую Белозерскую.



К. П. Победоносцев

Кое-кто не верил в чудесное исцеление, но поговорив с соседями, на глазах у которых все ухудшалось и ухудшалось Колино здоровье, и вдруг в одночасье... Среди сомневавшихся был сам обер-прокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев.

Он вообще мало кому верил. Но самое внимательное изучение свидетельств и фактов не оставило места сомнениям. Ошеломлены происшедшим были Бадмаев и Баллинский — они ведь обследовали мальчика, и оба, независимо друг от друга, вынесли один вердикт.

Екатерина просила нигде не печатать о случившемся. Однако 8 апреля 1891 года в «Церковных ведомостях» появилась статья «Чудо милости Божией», подробно рассказавшая о болезни и исцелении Николая Грачева. Рассказали своим читателям о чуде в Скорбященской часовне газеты «Свет», «Петербургский листок» и даже немецкая «Херольд». Может быть, именно эти публикации и сыграли решающую роль в дальнейшей жизни Екатерины Грачевой.

Прочитав статью в «Церковных ведомостях», настоятель Троице-Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий (Малышев) приехал на Белозерскую. Брат и сестра рассказали ему обо всем, что с ними случилось. Отец Игнатий выкупил дом, в котором Николаю явилась Богородица, освободил комнату, где случилось чудо, повесил в ней образа, поставил аналой.

Потом он будет часто приезжать сюда служить молебны. Он говорил, что хочет сохранить в святости место явления Пресвятой Богородицы. А еще считал своим долгом опекать Грачевых. За Николая можно было особенно не волноваться, он нашел свою стезю — серьезно принялся за учение, поступил в рисовальную

школу Общества поощрения художеств (потом уйдет в монастырь, будет расписывать храмы).

А вот Екатерина... Отец Игнатий чувствовал, что у нее — высокое предназначение. Для начала записал ее в члены Императорского человеколюбивого общества, поручил заняться обследованием жилищ бедняков. Она увидела совершенно другую жизнь, и душа ее исполнилась сострадания. Вскоре записалась еще и в Общество помощи бедным и больным детям. Днем ходила по домам бедняков, а вечером учила детей, которым учение давалось с трудом, а денег на репетиторов у родителей не было. Ей часто приходилось сталкиваться с неполноценными детьми. Жалость к ним разрывала ее сердце...

Услышав рассказы Екатерины о несчастных, отец Игнатий благословил ее на помощь больным детям в память исцеления брата и предложил создать для них приют. Священный Синод благословил доброе начинание и принял решение учредить церковный приют для детей-идиотов и припадочных. Так стараниями архимандрита Сергиевой пустыни и Екатерины Грачевой в России было положено начало попечению об умственно отсталых.

Сохранился дневник Екатерины Константиновны Грачевой «Тридцать шесть лет среди больных детей». Вот только одна запись из этого поразительного документа: «Восьмое октября (1854 г.). Как я хорошо помню этот день, столь знаменательный в моей жизни! Накануне я все разложила, приготовила для приема детей и, довольная, пошла спать. Вдруг напал на меня страх, сомнение... Была минута, когда я решила от всего отказаться и опять жить для брата, как обещала отцу... Помолясь, вернулась успокоенная: ведь в память исцеления брата принимаюсь я за этот труд».

Труд был самоотверженным и бескорыстным. Екатерине приходилось преодолевать множество препятствий, которые всегда возникают на пути подвижников. Многие ее не понимали: ну стоит ли, право, отдавать жизнь существам, которые даже не могут оценить твою жертву?! Ей очень трудно было найти помощников: люди, способные на подвиг-порыв, встречаются достаточно часто, но тех, кто способен на подвиг ежедневный, единицы. Но она не сдавалась. В 1900 году при активном участии Екатерины

Константиновны с целью организации в России приютов для идиотов, эпилептиков и тех калек, которых не принимают в другие учреждения, было основано благотворительное общество «Братство во имя Царицы Небесной». Возглавила его графиня Ольга Дмитриевна Апраксина. Членами братства стали многие известные люди: Константин Петрович Победоносцев, протоиерей Философ Николаевич Орнатский, один из самых уважаемых священнослужителей Петербурга (в 1918 году его расстреляют большевики, а в 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислит к лику святых), профессор Санкт-Петербургской духовной академии отец Александр Рождественский, все настоятели Троице-Сергиевой пустыни, отец Иоанн Кронштадтский. Она сумела уговорить самого Владимира Михайловича Бехтерева регулярно осматривать и консультировать ее подопечных. Знаменитый сурдолог Александр Федорович Остроградский помогал ей работать с глухонемыми детьми.

Приют Грачевой перешел в ведение Братства. Сорок лет отдала она детям-страдальцам. У нее не было специального образования, но первые учреждения для них, первые школы — это она, первые методики воспитания, развития, обучения детей с глубокой умственной отсталостью и расстроенной психикой — это тоже она. Екатерину Константиновну с полным правом можно назвать первым русским педагогом-дефектологом.

Она умерла в 1934 году, так что ко всем бедам, которые выпали на ее долю (брата она похоронила вскоре после революции), добавилась еще одна — на ее глазах взорвали Введенскую церковь...

Я жила в бывшем церковном доме в восьмидесятые годы. С тех пор, как уничтожили церковь, прошло полвека. И улица давно уже носила имя Олега Кошевого. Но в транспорте всегда спрашивали: «На Введенской выходите?» Введенской ее называли не только пожилые люди, еще заставшие церковь, но и совсем молодые — скорей всего, ничего о церкви не знавшие.

Теперь из моих окон тоже виден сквер. Высокие деревья заслоняют холм, на котором когда-то стоял храм. **Собор во имя Святого Апостола Матфея и Покрова Пресвятой Богородицы** взорвали все в том же 1932 году. Первое время после переезда у меня было

какое-то тяжелое чувство: за что меня будто преследуют разрушенные церкви? Но это, конечно же, самоуверенное заблуждение. Что им до меня... Просто их много и они находятся рядом с большинством обитателей старых районов города. Я посчитала. За годы советской власти был уничтожен двести один (!) храм (считая домовые церкви и часовни), здания еще шестидесяти семи не разрушены, «всего лишь» обезображены и приспособлены для других целей.

История Матфеевской церкви заслуживает достаточно подробного рассказа. Как известно, наш город начинался с Петропавловской крепости. Строили бастионы, крепостные казематы, дома для офицеров и солдат, разумеется, гауптвахту. Как без нее? Там же была построена и первая петербургская церковь во имя Петра и Павла. Была она, по отзывам современников, «довольно красива». Но уже в 1714 году начали строить Петропавловский собор — тот самый, что стал первым символом молодой российской столицы и остается им до сих пор. А старую деревянную церковь аккуратно разобрали и перенесли на Петербургскую сторону, в Солдатские слободы (сейчас на этом месте находится сквер между Большой Пушкарской, улицами Ленина и Кронверкской).

На новом месте освятили уже не во имя Петра и Павла, а во имя святого апостола Матфея. Почему? Во-первых, был он одним из особо почитаемых святых. Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также Левием, брат апостола Иакова Алфеева — один из двенадцати самых близких учеников Иисуса Христа. Матфей служил мытарем, сборщиком податей для Рима в галилейском городе Капернауме. Услышав призыв Иисуса: «Иди за Мной», он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Он стал свидетелем и жизни, и мученической смерти Учителя. После вести о Воскресении пошел, как и другие апостолы, проповедовать христианское учение среди язычников. Его миссия в Эфиопии закончилась страшной смертью, которая, как он и стремился, потрясла жителей далекой африканской страны и заставила их уверовать во Христа. Евангелие апостол Матфей написал на арамейском языке (том самом, на котором говорил Иисус) около 41 года после Рождества Христова. Это первая по времени книга Нового Завета. В ней чаще, чем в других Евангелиях, сличаются события из жизни

Христовой с ветхозаветными пророчествами. Левий Матфей хотел показать, что Иисус есть истинный Мессия, обетованный праотцам еврейского народа.

Второй причиной освящения церкви во имя святого апостола Матфея было то, что именно в день его памяти (9 августа) в 1704 году русские войска взяли Нарву. При освящении храма присутствовал сам Петр Алексеевич. Потом он часто посещал Матфеевскую церковь, а уж на благодарственных молебнах за победы над шведами бывал всенепременно. По личному повелению государя специально для этой церкви был создан великолепной работы деревянный резной иконостас, выкрашенный темно-голубой краской, с витыми позолоченными колоннами. В Царских вратах иконостаса были образа Божьей Матери и Архангела Гавриила, по правую сторону от Царских врат — Преображение Господне и святой апостол Матфей, по левую — Божья Матерь, над Царскими вратами — образ Спасителя. Некоторые из образов иконостаса напоминали о событиях Петровского царствования: образ святого Александра Невского — о перенесении его мощей в Санкт-Петербург; образ Алексия человека Божия — о царевиче Алексее Петровиче; образ святых апостолов Петра и Павла — о прежнем местонахождении и назначении иконостаса и церкви. О том, как ценили иконостас, свидетельствует указ Святейшего Синода от 8 декабря 1842 года, в котором Матфеевскому причту предписано: «...чтобы, как ныне, так и на будущее время, этот иконостас, как устроенный в 1703 году императором Петром I, сохранять в настоящем его виде, без всяких перемен, так точно, как сохранялся поныне».

Тех, кто будет грабить храм во время кампании по изъятию церковных ценностей (о ней я еще расскажу), а потом взрывать его, историческая ценность иконостаса, разумеется, не остановит.

Но церковь, так любимая Петром, до появления в Петербурге новых варваров не дожила. В 1754 году рядом с нею была построена еще одна деревянная церковь — во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Ее разобрали в 1800 году и на ее месте построили просторный каменный храм. К этому времени старая Матфеевская церковь совсем обветшала, ее тоже пришлось разобрать. В Покровской церкви освятили придел во имя святого апостола

Матфея, он стал главным приделом храма, а вскоре его начали официально именовать Матфеевским. Это был единственный в мире престол апостола Матфея. Но уникальность не остановила разрушителей... Красота, естественно, тоже не остановила. А после реконструкции и постройки звонницы (это произошло уже в 90-х годах XIX века) храм стал безупречно гармоничен.

Вокруг Матфеевской церкви с петровских времен и до начала XIX века жили по большей части люди военные, так что главными и постоянными ее прихожанами были офицеры и солдаты артиллерии, гарнизонных полков, пограничных батальонов. Потому и Большой проспект в разное время назывался то Большой Гарнизонной, то Большой Офицерской, а Пушкарская именовалась Малой Офицерской. Да и большая часть улиц, пересекающих Большой проспект, названа по именам живших там офицеров: Бармалеева, Теряева, Полозова, Шамшева. В приходе Матфеевской церкви жила святая Ксения Петербургская, в этой церкви ее отпевали. Пресвитером прихода был новосвященномученик протоиерей Николай Сперанский, расстрелянный без суда и следствия в 1918 году вместе с Философом Орнатским и другими священнослужителями.

Вдов отставных солдат, живших в приходе, призревали в женской богадельне, существовавшей при Матфеевской церкви в 60-х годах XVIII века. Для образования нижних чинов в 1764-м в приходе была открыта гарнизонная школа.

В 1768 году при Матфеевской церкви устроили оспенный дом. Оспа вызывала у людей ужас. Лекарств от нее не имелось. Она уносила тысячи жизней, а у тех, кому повезло выжить, оставляла на лицах безобразные следы. Екатерина II писала прусскому королю Фридриху II: «С детства меня приучили к ужасу перед оспой, в возрасте более зрелом мне стоило больших усилий уменьшить этот ужас, в каждом ничтожном болезненном припадке я уже видела оспу. Весной прошлого года, когда эта болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом, целые пять месяцев была изгнана из города, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так поражена гнусностью подобного положения, что считала слабостью не выйти из него...». Выход предложил барон Александр Иванович Черкасов, которого Екатерина II еще в начале царство-

вания назначила главой медицинской коллегии: только прививки могут спасти от оспы население России! Сергей Михайлович Соловьев писал: «...медики вопили против безумной новизны, вопили против нее проповедники с кафедр церковных». Народ боялся прививок больше, чем болезни. Делать прививки насильно? Но это чревато бунтом. И тогда императрица решила начать с себя. «Было бы позорно начать не с себя, и как ввести оспопрививание, не подавши примера?» — писала она. 12 октября 1768 года английский врач Томас Димсдэль, приглашенный Черкасовым, сделал государыне прививку от оспы (первую в России!). «Мой предмет был своим примером спасти от смерти многочисленных моих верноподданных, кои не зная пользы сего способа, оного страшась, оставались в опасности. Я сим исполнила часть долга звания моего; ибо, по слову евангельскому, добрый пастырь полагает душу свою за овцы». Через неделю прививку сделали наследнику престола. А еще через месяц Екатерина писала: «Весь Петербург хочет привить себе оспу, и те, кто привили, чувствуют себя хорошо». А она чувствовала себя победительницей. Ничуть не меньше, чем после выигранных ее армией сражений.

21 ноября было объявлено праздничным днем и ежегодно отмечалось в Российской империи, как день победы над страхом перед оспой. Чувствовали себя победителями и священники Матфеевской церкви. Ведь это они помогли отважной государыне организовать оспопрививание не для избранных, а для всех жителей столицы. Для «оспенного дома» купили у бывшего английского консула барона Вульфа деревянный летний дом. Потом в этом доме организуют Матфеевское приходское училище. Позже на месте скромного деревянного домика выстроят солидное пятиэтажное каменное здание, в котором разместят Александровский сиротский дом для бедных сирот разного звания. В 1834 году в это здание на Каменноостровском проспекте переедет из Царского Села Лицей.

Сейчас образовалась группа энтузиастов, собравшихся восстановить Матфеевскую церковь. На мой взгляд, строить новые церкви — дело замечательное. Восстанавливать разрушенные — святой долг. Но именно восстанавливать, когда что-то осталось (как возрождали многие храмы, от разрушенного фашистами древнего

Спаса на Волотовом поле до оскверненного, изуродованного и полуразрушенного собора во имя Феодоровской иконы Божьей Матери, построенного сравнительно недавно — к трехсотлетию дома Романовых). Но когда ничего не осталось... Это ведь уже не восстановление, это создание некой имитации, своего рода самообман. Мне кажется (впрочем, допускаю, что я не права), как-то правильнее и честнее поставить на месте уничтоженного храма достойный знак памяти, как это сделали на месте Покровского храма в Коломне, Введенского в Семенцах и Успенского на Сенной площади.

Уже не первый год активно обсуждается возможность восстановления храма во имя **Успения Божьей Матери (Спаса-на-Сенной)**, взорванного 1 февраля 1961 года. 1 февраля 2011 года, в день пятидесятилетия с того, не забытого городом дня, в часовой, стоящей сейчас на месте храма, отслужили молебен в память об уничтоженном соборе.

Сенная площадь — одна из самых старых в Петербурге. После того как в 30-х годах XVIII века страшный пожар полностью уничтожил Морской рынок, еще с петровских времен занимавший обширную территорию против Адмиралтейства, из опасения новых пожаров было решено избавиться и верфи, и царский дворец от опасного соседства и построить рынок подальше от центра. Вот и прорубили сначала просеку, ведущую от Большой першпективы (нынешнего Невского проспекта) на юг, и, удаляясь на почтительное расстояние от дворцов, вырубил большой участок леса для рынка. От этого-то рынка, где сено было главным товаром, и получила название площадь.

Находилась она на рубеже Петербурга, поэтому приехавшим по московской дороге крестьянам было сподручно, въехав в столицу, сразу начинать продавать привезенный товар — сено, солому, дрова, овес, лошадей, телят, овец, куриц. Сенной рынок быстро стал самым дешевым в городе, а значит — и самым многолюдным. Но площадь обустроивалась медленно, хотя уже в 40-х годах XVIII века стало ясно — в таком многолюдном месте без храма не обойтись. Жившие вблизи площади купцы обращались в кабинет ее величества (было это в годы царствования Елизаветы Петровны) с просьбой «дозволить своим коштом построить деревянную церковь на каменном фундаменте в пристойном порожнем месте».



Спас-на-Сенной

Место называли вполне конкретное, то самое, где сейчас наземный павильон станции метро «Сенная площадь». Ответа почтенные купцы ждали почти десять лет, да так и не дождались. Позволение на строительство было получено, когда поселился рядом с Сенной и стал откупщиком всех русских таможен богатейший купец и промышленник (о нем писали «известный колоссальный богач») Савва Яковлевич Яковлев. Как известно, богатым в просьбе можно и отказать, очень богатым — не отказывают. На Выборгской стороне купили готовую деревянную церковь Спаса Происхождения Честных Древ, аккуратно перенесли на новое место и освятили 18 июля 1753 года. Но Савва Яковлевич желал молиться в большом, богато украшенном храме, а еще хотел, чтобы все знали: это он облагодетельствовал своих многочисленных соседей — построил новый храм, которым не то что Сенная — вся столица может гордиться.

Так что всего через два дня после того, как освятили маленькую скромную церковь, рядом с ней заложили большой каменный храм. Строили его долго — двенадцать лет. Но результат превзошел самые смелые ожидания: здание церкви, увенчанное пятью изысканной формы куполами, вознесенными к небу на стройных многогранных барабанах, было величественно и одновременно на редкость изящно; легкая трехъярусная колокольня стала второй по высоте доминантой Петербурга после Петропавловской. Ктитор (так называют человека, на чьи средства построен православный храм. — *И. С.*) мог гордиться.

К тому же окончание строительства совпало с коронацией новой императрицы, Екатерины II. Яковлев решил сделать ей приятное: когда государыня, возвращаясь из Москвы, будет въезжать в столицу, ее встретит не просто красивый храм, но храм, увенчанный короной. Он приказал водрузить корону на крест главного купола как знак преклонения, восхищения, преданности новой владычице. Надо сказать, Екатерина Алексеевна, при всем своем выдающемся уме, была падка на комплименты, тем более такие необычные. Так что в ее царствование Савва Яковлевич в просьбах своих на высочайшее имя отказа не знал.

Долгие годы автором Спаса-на-Сенной уверенно называли Франческо Бартоломео Растрелли. Документальных доказательств этому не было, но план, пропорции здания и особенно характерное только для Растрелли изящество постановки главного купола воспринимались как доказательства — хотя и косвенные, но убедительные. К тому же именно в это время Растрелли строил для Яковлева особняк. Сейчас автором проекта признают Андрея



*Спас-на-Сенной.
Фото начала XIX века*

Васильевича Квасова. Вероятно, так оно и есть. Но исключать хотя бы участие Растрелли в разработке проекта все-таки нет достаточных оснований. Правда, до конца своих дней Спас-на-Сенной дожил уже не вполне таким, каким видели его архитектор (кто бы им ни был) и храмоздатель. Пять раз его достраивали, частично перedelывали. Но великолепие и изысканность елизаветинского барокко испортить не удалось.

А классический портал, пристроенный в 1817 году Луиджи Руска, для барокко откровенно чужеродный, не вызывал протеста, потому что имел смысл градообразующий. В 1818–1820 годах ученик Тома де Томона Викентий Иванович Беретти построил напротив храма здание гауптвахты, предназначенное для полицейского

надзора за происходящим на Сенном рынке (сегодня это одноэтажное здание с четырехколонным портиком — единственная сохранившаяся на площади постройка XIX века, от века XVIII не осталось ничего). Так вот, портики храма и гауптвахты прекрасно гармонировали друг с другом, образуя своеобразные пропилены при въезде в центр города по Садовой и делая этот въезд гостеприимным и торжественным.

Когда начинали строить храм, его собирались освятить в честь Сретения Господня, потом Яковлев передумал, и церковь, построенную на его деньги, освятили во имя Успения Богородицы. Можно предположить, что случилось это потому, что за время строительства скончалась его матушка. После того как храм был закончен, Савва Яковлевич перенес в него прах родителей с Сампсониевского кладбища. Когда кладбище сравняли с землей, думалось, что он оказался провидцем: уберег родные могилы от надругательства. Но... только на время. Могилы были уничтожены вместе с храмом, для которого Яковлев сделал так много. А его похоронят со всеми возможными почестями на кладбище Троице-Сергиевой пустыни. Пройдет три четверти века, и архитектор Горностаев по заказу штаб-ротмистра Михаила Васильевича Шишмарева, мужа внучки Саввы Яковлевича, построит в пустыни надвратную церковь во имя святого Саввы Стратилата. А могила... Я уже писала: кладбище сравняли с землей. Ведь надо же было курсантам школы милиции где-то учиться маршировать. На месте могил получился отличный плац...

По количеству святынь Спас-на-Сенной называли одним из самых богатых в империи. В этом несомненная заслуга ктитора. Прочитую самого, наверно, большого знатока старого Петербурга, Михаила Ивановича Пыляева: «Престол в главном храме Яковлев обложил серебряными досками, весу в них 5 пуд. 37 фун. 51 золотн., на верхней доске изображено положение Иисуса Христа во гроб, на боковых — те святые, имена которых носило семейство Яковлевых, чеканка досок сделана в 1786 году. Из замечательных исторических образов в этом храме имеется образ Христа Спасителя в серебряной ризе, устроенный вологодскими гражданами за избавление Вологды от моровой язвы в 1605 году; Евангелие, напечатанное в 1689-м. Затем ковчег серебряный больше пуда

весом, устроенный в 1770 году строителем, и масса сосудов, кадил и крестов серебряных, современных началу церкви. Из 15 колоколов на большом, кроме изображения престольных праздников церкви, есть портрет императрицы Екатерины II». Рассказывали, будто в этот колокол весом в пятьсот сорок два пуда звонили только по личному разрешению Яковлева. Ключ от языка колокола он всегда держал при себе.

Помню первое впечатление от Спаса-на-Сенной (мне было лет пятнадцать). Это было потрясение: он выглядел таким светлым, легким, жизнерадостным... А я-то думала, что Сенная площадь мрачная, впитавшая в себя былые страдания. Дело в том, что про Сенную я, как, наверняка, и многие, впервые узнала из стихотворения Некрасова:

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

На сентиментального подростка такое не может не произвести самого сильного впечатления, к тому же особенность Некрасова в том, что стихи его запоминаются с первого раза, будто впечатываются в память. Вот мне и казалось, что Сенная — какое-то жуткое место, где поэту удалось увидеть нечто необыкновенное и чудовищное. Только потом узнала, что ничего необыкновенного тут не было: до середины XIX века, который принято считать золотым веком отечественной истории, на Сенной площади людей, уличенных в грабежах, воровстве или мошенничестве, подвергали публичным телесным наказаниям («торговым казням»). И тут уж не имело значения, был злодей мужчиной или женщиной, стариком или подростком. А недостатка в злоумышленниках не было: рядом с Сенной самые страшные городские трущобы — район бедноты.

Первое, такое неожиданное, впечатление от площади помогло мне понять: храмы вносят радость и умиротворение в любой пейзаж, даже в самый безмятежный, не говоря уже о городском, по большей части напряженном, а то и откровенно депрессивном. Наверное, поэтому в местах, где когда-то были разрушены храмы, даже не зная об этом, ощущаешь пустоту — сиротство.

Далеко не всем известно, что 31 января 1966 года в Ленинград пришло письмо за подписью министра культуры СССР Екатерины Алексеевны Фурцевой. Она категорически запрещала разрушать Успенскую церковь. Казалось бы... Но метростроевцы так настаивали, чтобы вестибюль подземки стоял именно на месте храма. Но глава государства так ненавидел церковь. Может быть, руководители города взвешивали, может быть, сомневались: что перевесит, эта ненависть или привязанность к Фурцевой. И — решили: сделали вид, что письмо еще не получено, и отдали приказ срочно злополучную церковь взорвать. Наверное, это был разумный выбор: за самоуправство никто наказан не был...

Те, кто видел, как взрывали Успенскую церковь, вспоминали об этом с непреходящей болью, не уставали рассказывать, как, после взрыва, храм поднялся в воздух, завис на несколько мгновений и рухнул, чтобы навсегда остаться только в памяти.

Впрочем, не только в памяти. Если внимательно взглядеться в один из горельефов на постаменте памятника Николаю I на Исаакиевской площади, на втором плане, в левом верхнем углу, можно разглядеть изображение погубленного храма. Именно перед входом в Спас-на-Сенной остановилась коляска императора Николая I, когда, услышав, что взбунтовавшийся народ выбрасывает из окон больницы на Сенной площади врачей, которых считает отравителями, он, не слушая уговоров близких, бросился на Сенную. Без какой бы то ни было охраны!

На площади его встретила пятитысячная разъяренная толпа, собравшаяся громить главную холерную больницу. В 1830–1831 годах на Россию из Средней Азии надвинулась эпидемия холеры. Люди умирали сотнями. Пришлось запрещать передвижение из районов, охваченных болезнью, устанавливать вооруженные кордоны, вводить карантин. Ничто не помогало. Поползли слухи:

чиновники, лекари, аптекари намеренно отравляют простых людей. Охваченные ужасом толпы принялись громить полицейские участки, казенные больницы, аптеки, убивали чиновников, офицеров, врачей. Ни полиция, ни войска не могли успокоить бунтовщиков. А стрелять команды не было... Навести порядок удалось одному человеку — императору.

Известны две версии усмирения холерного бунта. По первой — Николай Павлович ворвался на площадь, взмыленные кони поднялись на дыбы, заставили народ отступить. Император встал в коляске во весь свой почти двухметровый рост, оказавшись высоко над толпой, и окриком «На колени, мерзавцы! Шапки долой!» заставил толпу подчиниться. В общем, хоть и простенько, но убедительно.

О второй версии пишет в своих мемуарах фрейлина императрицы Александры Федоровны (жены Николая I) Мария Петровна Фредерикс: «Въехав в середину неистовствовавшего народа и взяв склянку ртути (лекарство на основе ртути, которым тогда лечили холеру, и в котором народ подозревал отраву. — *И. С.*), поднес ее ко рту, — в это мгновение бросился к нему случившийся там лейб-медик Арендт, чтобы остановить Его Величество, говоря: “Ваше Величество лишится зубов”. Государь оттолкнул его, сказал: “Ну, так вы мне сделаете челюсть” — и проглотил всю склянку жидкости, чтобы доказать народу, что его не отравляют, — тем усмирил бунт и заставил народ пасть на колени перед собой».

Так это было или иначе, но бунт оказался усмирен. Как ни странно, именно после этого эпидемия пошла на убыль. Начиная с 1832 года каждое 1 августа вокруг Спаса-на-Сенной совершался крестный ход в память об избавлении города от холеры.



Николай I

Я рассказала лишь о немногих из более чем двух сотен погибших петербургских церквей. Обо всех рассказать просто не могу: знаю не больше, чем написано в справочниках. Тех, кого интересуют все утраченные храмы, отсылаю к прекрасной книге Сергея Сергеевича Шульца-младшего «Храмы Санкт-Петербурга. История и современность». Если не удастся ее найти, можно посмотреть хотя бы справочник Галины Вацлавны Длужневской «Утраченные храмы Петербурга».

Мне же осталось рассказать еще об одном храме, с которым связаны судьбы великих, но не слишком часто поминаемых нами соотечественников.

Я уже писала о дочери последнего настоятеля Сампсониевского собора отца Василия Петропавловского Надежде Васильевне. Мне повезло: эта умная, блестяще образованная женщина была моей крестной. От нее я узнала многое и о многом — прежде всего о таком, что дома находилось под строгим запретом: мама с бабушкой боялись, что неразумный ребенок скажет при посторонних что-то лишнее. Они, разумеется, были правы. А Надежда Васильевна как-то раньше других разучилась бояться. Однажды она повела меня в филармонию. Проходя мимо первого кресла в пятнадцатом ряду, сказала негромко, будто и не мне: «Вот здесь было мое место». «Когда?» — вежливо, но нельзя сказать, что слишком заинтересованно спросила я. Она взглянула изучающее. Потом, будто удостоверившись, что время рассказать пришло, ответила: «Расскажу после концерта. На улице». Я была заинтригована.

Мы сели на скамейку в сквере в центре площади (памятника Пушкину еще не было, его установят в 1957 году). Она спросила: «Ты помнишь дядю Сережу?» Я помнила. Большой, с окладистой седой бородой, с удивительно доброй улыбкой и внимательным, печальным взглядом. Запомнилось, с каким аппетитом, просто с наслаждением ел он пироги с капустой (была бы постарше да поумнее, запомнила бы другое). Знала, что был Сергей Иванович священником, причем каким-то особенно почитаемым (епископом, ректором Ленинградской духовной академии и семинарии). А она задала еще один вопрос: «Знаешь, что было раньше в здании филармонии?» Ну, это-то я знала, об этом мама рассказывала. Я бодро отрапортовала: «Дворянское собрание!» Она горько усмехну-

лась: «Вот видишь, то, что было давно, не забыто, а в июне 1922 года здесь произошло одно из самых страшных преступлений...».

И она рассказала мне о суде над митрополитом Вениамином и другими священниками и мирянами. Среди них был и ее дядя, настоятель церкви Симеона и Анны отец Сергей Бычков. Она, тогда тринадцатилетняя, присутствовала на всех заседаниях суда, родственникам это разрешалось. Для Сергея Ивановича обвинение требовало расстрела. В последнем слове на суде владыка Вениамин просил сохранить жизнь отцу Сергию, говорил, что тот молод, что недавно потерял горячо любимую жену, что на руках у него двое маленьких детей и парализованная мать. За себя митрополит не просил... Ему удалось смягчить сердца судей: Сергея Ивановича Бычкова отправили на Соловки (он проведет в тюрьмах и лагерях почти двадцать лет). Потом крестная покажет мне маленькую самодельную тетрадь, которую отцу Сергию удалось передать с Соловков. В ней были стихи. Одно я переписала.

И древний бор — замороженный храм —
Не ропщет — рад сверкающей неволе.
За степью льдов — резные очертанья:
Растут дома и церкви из твердынь —
Пожаром обезглавленные зданья.
Нет куполов над крышами святынь...

Я тогда не поняла, думала, речь, и правда, идет о пожаре... Другие стихи не переписала — что-то отвлекло. Потом было уже поздно... Она мне многое рассказывала о митрополите Вениамине. Владыка учился вместе с ее отцом и нередко бывал у Петропавловских в гостях. Особенно поразил рассказ о Путиловской церкви. **Эту церковь во имя святителя Николая Чудотворца и святой мученицы царицы Александры** рабочие Путиловского завода построили на свои средства в память основателя акционерного общества Путиловских заводов Николая Ивановича Путилова. Происходил он из родовитой, но давно обедневшей дворянской семьи. Родился в Новгородской губернии, под Боровичами, в суворовских местах. Рано остался сиротой и был принят на казенный кошт в Морскую роту Александровского кадетского корпуса (подобие

нынешнего Нахимовского училища), потом как лучший выпускник — в Морской корпус (на его базе было образовано прославленное Высшее военно-морское училище имени Фрунзе). Командовал Морским корпусом сам Иван Федорович Крузенштерн. Он не мог не заметить талантливого и энергичного курсанта и оставил того в штате корпуса. Но Путилову было скучно преподавать, он жаждал живого дела. И вот однажды (шла Крымская война) его пригласил великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал, руководивший российским флотом: «Можешь ли ты, Путилов, сделать невозможное? Построить до конца навигации флотилию винтовых канонерок для обороны Кронштадта? Денег в казне нет — вот тебе мои личные двести тысяч». Оба понимали: только сильная флотилия, способная противостоять английскому флоту, вошедшему в Финский залив и державшему под прицелом российскую столицу, может спасти Петербург.

В условиях англо-французской блокады Путилов сумел, объединив усилия всех промышленных предприятия города, выполнить поручение великого князя: тридцать две винтовые канонерские лодки вошли в строй в мае 1855 года. В течение следующих восьми месяцев было построено еще тридцать пять канонерских лодок и четырнадцать корветов и клиперов. В бой с английским флотом они не вступали. Увидев их, англичане и так поняли: взять Петербург им уже не удастся. И ушли восвояси, ночью, без единого выстрела покинув Финский залив.

Сообщество предпринимателей, которых Путилов объединил для строительства Балтийской флотилии, преподнесло ему серебряный венок. На каждом серебряном дубовом листке (их было восемьдесят один — по числу построенных кораблей) выгравировали имя корабля и фамилию подрядчика. К венку приложили письмо: «В 1854 году ни мы, заводчики, и никто другой не сознавали возможности выполнить такое задание: изготовить для России к следующей же навигации в течение пяти месяцев канонерскую флотилию. Но Н. И. Путилов рассчитывал, что, слив петербургские заводы в одно целое, есть возможность в назначенный срок изготовить ее. Он, Путилов, принял дело... и исполнил его на удивление всем... С первого дня знакомства нашего Путилов стольким внушил доверие к нему, что каждый из нас, в свою очередь, желал

найти доверие его, Путилова. Довольно сказать, что мы вели дело изготовления многих, новых для нас, паровых машин и котлов без всяких формальных бумаг, а на чести. И по окончании дела у каждого из нас глубоко врезалось в душе искреннее уважение к уму и деятельности Николая Ивановича Путилова».

На своем заводе (Путиловском) он организовал оружейное производство и выплавку стали. Не только для потребностей России, но и на экспорт. А ведь до этого наша страна полностью зависела от английских поставок. В том, что заказы на стальные орудия за рубежом снизились с 88,5 % до 17,7 %, личная заслуга Путилова перед Россией.

Жизнь ставила перед ним все новые и новые проблемы: жестокая зима 1867–1868 годов привела к тому, что железнодорожное сообщение в России было практически парализовано, так как импортные рельсы полопались от мороза. Путилов взялся за выпуск рельсов, способных выдерживать русские морозы. При строительстве завода по производству рельсов (Путилов принял заказ в начале января, а 20 января завод уже начал прокатку рельсов в три смены) была отработана «путиловская схема запуска производства», которой успешно пользовались в годы Великой Отечественной войны при переброске заводов за Урал.

Как это делалось, рассказывал сам Николай Иванович: «Кинули ключ по губерниям — ехать свободному народу по железным дорогам и на почтовых. Через несколько дней приехало до тысячи пятисот человек; сделали расписание — кому быть вальцовщиком, кому пудлинговщиком, кому идти к молоту, кому к прессу». Новобранцев обучали на ходу опытные мастеровые с других Путиловских заводов. Цехи строили так: на цементном фундаменте ставили каркас из старых рельсов, покрывали его толем и досками. Зимой на заводе стоял лютый холод, летом — непереносимая жара... Зато через восемнадцать дней завод стал катать по пять тысяч пудов рельсов в сутки... Через год он сделался крупнейшим металлургическим предприятием России. Условия труда, естественно, улучшились несравненно.

На испытание первых отечественных рельсов приехал великий князь Константин Николаевич. Чугунная баба весом в тридцать два пуда обрушилась на путиловский рельс с многометровой вы-

соты. Рельс выдержал. «Давай английский», — скомандовал Путилов. Английский лопнул с первого удара. Прямо в цехах накрыли столы для гостей и рабочих и долго пировали в честь победы над Англией. Генерал-адмирал был в восторге.

Между тем Путиловым овладела новая идея: многократно удешевить доставку грузов в Петербург. В то время в столице не было морского порта. Океанским судам по мелководному Финскому заливу было не пройти. Они швартовались в Кронштадте, там грузы перегружали на барки, их буксировали в Неву. Это удваивало стоимость фрахта. Вот Путилов и задумал на земле своего завода построить морской порт, соединить его с Кронштадтом глубоким морским каналом, по которому смогут пройти крупнотоннажные океанские суда, прямо к причалам порта протянуть ветку железной дороги. Выгода для страны была очевидна, но деньги на амбициозный проект нужны были огромные. Государь обещал. Но у проекта было немало могущественных врагов.

Друг Путилова, знаменитый промышленник Василий Аполлонович Полетика, горный инженер, основатель одного из крупнейших частных промышленных предприятий Российской империи Невского механического завода (сейчас Невский машиностроительный завод) писал Николаю Ивановичу: «Вы все радуете за государство. Все спасаете его... Вы один целую чиновничью машину заменяете, да как удачно — и инженер, и организатор, и финансист. Помилуйте, чиновники тогда зачем? Друг мой бесценный, не позволят они вам этого, погубят они вас».

Так и случилось — погубили. Слишком честен, слишком порядочен был Путилов, чтобы успешно противостоять чиновникам. В результате чиновничьих интриг из обещанных правительством на строительство его главного детища, морского канала, двадцати миллионов Путилов получает только два. Он вкладывает в строительство собственные средства, закладывает заводы, залезает в долги. Но нужной суммы набрать не удается. Его исключают из правления созданного им завода, квартиру на Большой Конюшенной, где жила его семья (у него, миллионера, никогда не было собственного жилья), осаждают кредиторы, грозя долгой тюрьмой. От нее нашлось единственное надежное спасение — смерть...

24 апреля 1880 года (Путилов скончался 18 апреля) петербургские газеты сообщали: «Уже с десяти часов утра перед квартирой покойного собралось много народа. Гроб был установлен на носилки, приготовленные рабочими, которые не хотели никому уступить дорогой для них ноши. Они решились пронести на руках гроб до самого взморья, т. е. до места, назначенного для погребения. Едва рабочие подняли носилки, как мгновенно другая партия рабочих, более шестидесяти человек, образовав вокруг гроба цепь, подняла высоко громадный венок. Таким образом, гроб, во время всего печального шествия, находился в середине лаврового венка. Кроме того, рабочие наняли от себя два хора певчих Исаакиевского и Казанского соборов. Дойдя до главных ворот рельсового завода, основанного Путиловым, гроб был пронесен мимо многочисленных сооружений завода, при этом к нему примкнуло еще несколько тысяч рабочих, пожелавших почтить память бывшего своего хозяина».

Рабочие несли гроб на руках больше двадцати километров, до дамбы морского порта. Когда к Александру II обратились за разрешением похоронить Николая Ивановича не на кладбище, а на дамбе, он ответил: «Если бы Путилов завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы».

Через пять лет после смерти Путилова задуманный и выпестованный им тридцатидвухкилометровый канал был открыт для судоходства. Тогда же заработал и новый Морской торговый порт.

Несколько лет рабочие-путиловцы собирали деньги на церковь в память о создателе завода. Прежде чем выбрать архитектора, которому можно доверить строительство храма, долго изучали работы зодчих. Остановились на Василии Антоновиче Косякове: больше всего из современных храмов пришлись по душе его церковь Богородицы Милующей на Большом проспекте Васильевского острова и Богоявления на Гутуевском острове. Был архитектор Священного Синода человек занятой, строил много, да еще преподавал (уже во время строительства Путиловской церкви избран директором института Гражданских инженеров, на этом посту профессор Косяков останется до конца дней). Как раз в то время, когда к нему обратились рабочие-путиловцы, он уже приступил к главной своей работе — строительству Морского

собора в Кронштадте. Но рабочим отказать не мог. Предложенный архитектором проект пришелся заказчикам по душе. Через пять лет на Петергофском шоссе поднялась высокая, необычайно стройная церковь в древнерусском духе. Особенностью, выделявшей ее среди других петербургских церквей и соборов, была золоченая сень-шатер, спускавшаяся с купола на золоченых цепях над центральным престолом верхнего храма. Выполнена она была по образу древнерусских сеней, встречающихся только в древних храмах Новгорода и Ярославля.

Под алтарем новой церкви торжественно перезахоронили прах Николая Ивановича Путилова и его супруги Екатерины Ивановны. Освятить новую церковь попросили владыку Вениамина (он еще был не митрополитом, а только архимандритом). На Путиловском заводе его особенно любили. После освящения церкви подарили своему пастырю роскошное архиерейское облачение, купленное на деньги, собранные буквально по копейке. Он был смущен, отказывался. Народ уприсил принять дар — от души. Шел 1907 год...

Кто мог представить тогда, что совсем скоро алтарь снесут, обнаруженную под ним памятную плиту сдадут в переплавку, а два гроба сожгут в местной котельной?..

Кто мог представить, что в самом начале 1918 года расстреляют настоятеля церкви отца Бориса Клеандрова, а так искренне любимого народом митрополита Вениамина назовут врагом народа и именем того же народа, именем его пролетарской диктатуры...

Что же до церкви... Вскоре после революции она была превращена в «Клуб Ильича» завода «Красный Путиловец». Тогда же была сломана четырехъярусная шатровая колокольня, а здание перестроено в конструктивистском духе двадцатых годов. Правда, это была единственная церковь в столице, которую прихожане (не единицы — самые отважные, а сотни) защищали от «борцов с религиозным дурманом». Но победили, разумеется, те, на чьей стороне была власть. Среди защитников Путиловской церкви были убитые, раненые, многих посадили в тюрьмы, сослали.

После войны храм был перестроен в стиле «сталинского ампира», в нем разместилось текстильно-галантерейное объединение.

Теперь в официальных документах пишут: «Церковь сохранилась в перестроенном виде и сейчас возвращена верующим». Так, по праву, можно сказать, к примеру, о храме Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», где многие годы обитало городское отделение Общества охраны памятников. Оно было не узурпатором, не оккупантом (не по своей воле ведь заняло помещение церкви), а бережным и почтительным хранителем. И вернуло храм верующим в состоянии идеальном. А Путиловская церковь... Разве надругательство над храмом (многолетнее!) — не то же разрушение? Оно не может пройти бесследно...

Отступление о единственном народном избраннике

Классе в девятом, когда задали сочинение на тему «Мой любимый герой», я так хотела написать о митрополите Вениамине... Хорошо, что поделилась со взрослыми, — меня немедленно привели в чувство. Но мысль рассказать другим об этом замечательном человеке не покидала. В конце восьмидесятых годов появилась возможность это сделать — наступил очень короткий период, когда уже не было цензуры, но государство еще финансировало неигровое кино (даже такое, которое было откровенно антисоветским).

Начав работать над сценарием, я пошла к человеку, который был (пусть и через несколько поколений) преемником владыки Вениамина на посту ректора духовных школ, к отцу Владимиру Сорокину (сейчас он — настоятель Князь-Владимирского собора). Он не просто занимал тот же пост, что когда-то владыка Вениамин. Высочайшая культура, энциклопедические знания и вместе с тем простота, доступность и постоянная готовность помочь любому, кто в этом нуждается, делали его настоящим преемником покойного митрополита. В первый раз я обращалась к нему, когда работала над фильмом о Соловках «Где выход из лабиринта?». Мне очень хотелось тогда, чтобы зрители услышали

свидетельство священника, пережившего ужас Соловецкого концлагеря. Владыки Симеона уже давно не было на свете. Осталось только его стихотворение... К кому бы я ни обращалась, ответ был один: в живых никого уже нет. Но воистину «ищущий да обрящет». Отец Владимир нашел бывшего узника Соловков. Отец Иосиф (он провел в заключении в общей сложности четверть века) служил в глухой новгородской деревне Внутю. От железной дороги пятнадцать километров. Осенью и весной они непреодолимы. Зато зимой, несмотря на мороз, на снежные заносы в Рождество, в Крещение, в Сретение в маленькой церкви отца Иосифа едва хватало места тем, кто прошел многие километры, чтобы найти понимание и утешение. Встреча с этим удивительным человеком многое изменила если не в жизни (внешней) всей нашей съемочной группы, то в отношении к миру, в понимании долга. Тогда же я не в теории, а в реальности узнала, что такое благотворительность. Истинная, а не та, что напоказ. Оказалось, отец Владимир и его сын Александр (тогда он был студентом Духовной академии, сейчас — один из самых уважаемых богословов) регулярно возят во Внутю продукты и все жизненно необходимое. Было это в самые трудные (помня о блокаде, не смею сказать — самые голодные) годы. А уж отец Иосиф делился этими дарами с соседями, троими инвалидами, единственными в те времена обитателями покинутой деревни. В Ленинграде об этом не знал никто... Мы сняли фильм об отце Иосифе. Фильм-покаяние. Назвали «И прости нам долги наши...». Так вот, я снова попросила помощи у отца Владимира. И он снова помог. Во-первых, многое рассказал; во-вторых, позволил посмотреть архив Академии. Вот в архиве-то я и нашла рисунок. Сделан он был не слишком уверенной рукой, но было в нем что-то, что выше мастерства: к престолу Господа поднимаются четыре закутанные в покрывала фигуры — души. И надпись: 12 августа 12 часов ночи 1922 год... Заключенный Николай Чуков, в недавнем прошлом настоятель Казанского собора, в далеком будущем, после долгих лет тюрем

и лагерей — митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий, увидел это во сне.

Он проснулся. Боль — непереносимая — пронзила сердце. В мире внешнем ничего не изменилось. Но он знал — случилось. У него был карандаш и листок бумаги. Он нарисовал (как умел). Сон оказался вещим — именно в этот час был расстрелян его духовный отец, митрополит Петроградский Вениамин.

Незадолго до этого, 19 марта того же 1922 года, руководитель советского государства писал: «... прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли в течение нескольких десятилетий. Чем большее число нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Строго секретно. Только для членов политбюро. Просьба ни в коем случае копии не снимать».

К этому времени из трехсот шестидесяти тысяч священнослужителей в живых оставалось только сорок тысяч. Куда уж дальше... А Ленину все мало. По его плану 1922 год должен был стать самым страшным в истории церкви. Такие его планы всегда выполнялись. Был выполнен и этот...

«Не ступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых... уклонись от него, ибо путь беззакония как тьма».

На Никольском кладбище в Александро-Невской лавре есть крест. На нем надпись: Митрополит Петроградский Вениамин. 1874–1922. Но под этим крестом никто не лежит. Это кенотаф — знак памяти. Владыку расстреливали тайком, ночью — знали: его могила станет святыней, будет объединять души. Этого убийцы страшились больше всего.

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное».

Василий Павлович Казанский, будущий святитель Вениамин, родился в 1874 году в семье сельского священника. Жизнь его начиналась легко, беспечально. Отроком он зачитывался житиями святых. Восхищался их геро-



Митрополит Вениамин

измом и святым воодушевлением и горько сожалел, что времена нынче не те, и не придется претерпеть ради Господа то, что они претерпели.

«Времена переменялись, и появилась возможность терпеть ради Христа». Так он напишет в камере смертников за несколько дней до конца...

Из глухой северной деревни он уехал в Петрозаводск, закончил духовную семинарию, за ней — столичную академию. В тридцать один год стал ректором Петербургских духовных школ.

«Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радуюсь, я покоен. Христос — наша жизнь, свет и покой, с ним всегда хорошо... Веры надо больше», — из последнего письма митрополита Вениамина.

Вскоре после революции он обратился к властям: «Бывшие дорогие братья наши, дети общей семьи. Родина наша в переживаемые времена превратилась в пещеру погребальную. Наполнена эта пещера телами людей, которые ходят, действуют, много говорят, но которые духовно мертвы для веры, для блага Родины, для любви и сострадания к ближним. Думали предоставлением свободы произволу и страстям человеческим заставить людей забыть про Бога, про совесть...»

На его глазах рушили храмы. С ними рушились и вековые духовные, нравственные традиции народа. Ему пришлось служить людям в нелегкие времена, да и когда они бывали у нас легкими... Он не призывал помогать обездоленным — он помогал. Шел в трущобы, в больницы,

в рабочие бараки, в тюрьмы — к самым бедным, презираемым и отверженным. Никого не оставлял без совета и помощи. Воздействие его наставлений было так велико, что многие заблудшие раскаивались в греховной жизни. Он всегда находил путь к сердцам простых людей, за что был искренне любим паствой, называвшей его «наш батюшка Вениамин». Он был великим просветителем. Его лекции на рабочих окраинах становились для слушателей откровением. Он недаром так заботился о просвещении: понимал, как легко именно у темной толпы пробудить разрушительные инстинкты.

«Но разве, упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Возвратитесь, заблудшие дети, Я исцелю вашу непокорность».

Каждый год из Петербурга в Шлиссельбург к иконе Казанской Божьей Матери отправлялся крестный ход. Крестный ход символизирует круг, вхождение в вечность, духовное единение. Шли два дня и две ночи, вбирая всех, кто встретился на пути. И никто не знал усталости: от владыки Вениамина (он шел впереди) исходила сила духа, бодрость и радость. В Шлиссельбурге слушали проповедь. К союзу сердец звал пастырь своих духовных чад.

Первая мировая война стала началом страшной череды испытаний, выпавших на долю России.

«И видел я под солнцем, что не храбрым достается победа, не мудрым — хлеб и не разумным — богатство... Как рыбы уловляются в пагубную сеть, как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Война породила голод, а голод всегда чреват бунтом...

После февральской революции освободилась Петроградская кафедра. Решили (в первый и единственный раз в истории России!) не назначать нового митрополита, а выбрать всенародным голосованием. Урны поставили у Казанского собора. Голосовал весь город, приходили и приезжали из

самых отдаленных районов. Люди не поддались на обещания немедленно сделать всех счастливыми, избавить от любых бед и напастей. В роковой для России год народ выбрал не того, кто обещал, а того, кто уже сделал.

Сразу же после избрания святитель заявил: «Я стою за свободную Церковь. Она должна быть чужда политики, ибо в прошлом много от нее пострадала. И теперь накладывать новые путы на Церковь было бы большой ошибкой».

«Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я. И это время близко».

Первыми жертвами голода стали крестьяне. К концу 1921 года голодало больше двадцати трех миллионов человек. Патриарх Тихон обратился к народам мира: «Помогите! Помогите стране, которая помогала всем. Помогите стране, кормившей многих, а ныне умирающей от голода. Не до слуха вашего только, но до глубины сердец ваших пусть донесет голос мой болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей». Патриарх призвал отдать на помощь голодающим все церковные ценности, кроме тех, что имеют богослужebное назначение.

Митрополит Вениамин пошел дальше. Он предлагал отдать все. Верил: люди с радостью отдадут все для спасения умирающих от голода братьев, надеялся на все-народный жертвенный подвиг. Он судил по себе... Убеждал: внешняя нищета церкви станет ее духовной победой. Но это-то и страшило новую власть.

23 февраля был опубликован декрет Совнаркома о насильственном изъятии церковных ценностей. Митрополита вызвали в Смольный. Вероятно, ждали, что он будет сопротивляться, а он сам предложил отдать все добровольно. При одном условии: позволить верующим контролировать, как используются сданные ими ценности. Условие было принято. Похоже, петроградские власти верили, что изъятые ценности и в самом деле пойдут на покупку хлеба для голодающих. Владыка был счастлив. Он благословил всех и со слезами на глазах

сказал, что своими руками снимет драгоценную ризу с образа Казанской Божьей Матери и отдаст ее на спасение голодающих братьев. Петроградские власти опубликовали в газетах сообщение, что духовенство готово добровольно выполнить свой гражданский долг.

Но наивным заблуждениям Зиновьева положило конец очередное письмо Ленина: «Чтобы процесс над шуйскими мятежниками, сопротивляющимися помощи голодающим, закончился не иначе как расстрелом большого числа самых влиятельных не только этого города, но и других духовных центров».

Митрополит Вениамин был из самых влиятельных. За одно это он был обречен. До суда. До приговора.

Революция расколола страну. Рвались связи, казавшиеся нерушимыми, — кровные, дружеские. Не избежала раскола и церковь. Отколовшиеся от нее обновленцы (я еще расскажу, кто это такие) утверждали, что делают все для спасения церкви, но спасали-то собственную жизнь, вольно или невольно помогали уничтожать служителей церкви, оставшихся верными патриарху. Митрополит Вениамин категорически осудил раскол. Особенно больно ему было от того, что во главе раскольников оказался его любимый ученик, протоиерей Александр Введенский. Он предал и веру, и церковь, и учителя. После того как владыка предупредил его о возможном отлучении от церкви, бывший ученик откровенно угрожал расправой. В толстой папке с «делом», на которой написано: «Церковники», я видела пожелтевшую от времени записку: «...я собираюсь вскрыть и подчеркнуть все язвы церковности». И подпись: А. Введенский. Он очень хотел выступить в суде — знал, это докажет его искреннюю преданность советской власти. Ему разрешили. Но когда он подошел к зданию на углу Михайловской и Итальянской, народ встретил его криками, упреками в предательстве, угрозами. Какая-то женщина схватила с мостовой камень и с силой ударила Введенского по голове. Он упал, обливаясь кровью. Через год он вспоминал: «Я в начале июля подвергаюсь нападению нафанатизированной

духовенством женщины. Я получил рану булыжником в череп и пролежал несколько недель в постели». Так что участвовать в процессе ему не пришлось.

Но я забежала вперед. Митрополит и его единомышленники еще были на свободе. Правда, приближение расправы невозможно было не почувствовать. Ее ускорило опубликованное 24 марта 1922 года в «Петроградской правде» письмо двенадцати организаторов обновленческого раскола. Они обвиняли все верное Святейшему Патриарху Тихону духовенство в сопротивлении изъятию церковных ценностей и в участии в контрреволюционном заговоре против советской власти. Фактически это был подлый донос. Результаты не заставили себя ждать. В Петроград пришла телеграмма от Менжинского: «Митрополита арестовать, подобрать на него обвинительный материал, арестовать его ближайших помощников, о результатах операции немедленно доложить».

29 мая 1922 года последовал арест митрополита Вениамина и еще восьмидесяти шести священников и мирян. Владыку арестовали в монашеской келье Александроневской лавры, где он жил последние годы. Чекистов поразила скромность обстановки. Они ожидали увидеть золотые кресты и оклады, роскошные облачения, а увидели только иконы без окладов и полки с книгами.

10 июня Невский, Михайловская улица и площадь были заполнены народом. Люди хотели еще раз (не дай Бог, последний) увидеть своего пастыря. Когда появилась тюремная машина, все опустились на колени, запели: «Спаси, Господи, люди Твоя». Владыке, наверное, стало легче на душе: паства от него не отвернулась.

В здании бывшего Дворянского собрания начался суд. Присутствовали в основном чекисты, да еще родственники подсудимых. Как ни странно, это им разрешили.

Обвинитель Петр Красиков (на слезах и крови ни в чем неповинных людей он еще сделает блестящую карьеру) назвал народного заступника врагом народа. Его ненависть к церкви была непримирима. Его выступление не

оставляло места даже самой робкой надежде на справедливость: «Ваша пролетарская совесть, товарищи судьи, не будет обманута. Вы не учились в университетах и трех академиях, как некоторые из находящихся здесь, но суть дела вам ясна: это колоссальный резерв для всякой интервенции и контрреволюции. Защитник спрашивает, где мы усматриваем преступную организацию. Да ведь она перед вами: это сама православная церковь!» Красиков — бывший петроградский присяжный поверенный, единственный профессионал среди тех, кому предстоит решить судьбу избранного народом митрополита и всех, кто оказался рядом с ним на скамье подсудимых. Его коллеги обвинители: Смирнов — до революции — подмастерье у булочника, Крастин — «латышский стрелок», Драницын — учитель истории.

Имена судей тоже известны: Яковченко, Семенов (оба бывшие студенты Технологического института), Каузов (бывший помощник механика на военном корабле). Все они командированы в Трибунал из органов ЧК. Неправедный приговор на их совести. Но само понятие совести решительно изгонялось новой властью, заменялось пролетарской совестью. Что это такое? Кто знает.... Зато хорошо известна записка Ленина: «Прошу поставить на порядок дня вопрос об исключении из партии таких членов, которые, будучи судьями, ограничиваются приговором на полгода тюрьмы вместо расстрела». Вот она, основа независимости нового суда.

«А еще Я видел под солнцем место суда, а там — беззаконие, место правды, а там — неправда».

Владыка защищал всех, особенно тех, у кого были дети. Наверное, его защите — мягкой, убедительной и непреклонной — обязаны тем, что остались живы, по крайней мере, два человека: Михаил Чельцов, настоятель Троицкого собора, отец семерых детей, и Сергей Бычков. Чельцов доживет до второй волны репрессий. Его арестуют (вместе со старшими сыновьями) и расстреляют в 1932 году. Бычков (о нем я уже упоминала) вернется из Соловецкого лагеря, примет постриг под именем

Симеона, станет ректором ленинградских духовных школ, фактически преемником своего незабвенного учителя, митрополита Вениамина.

А пока идет суд. До знаменитых троек дело еще не дошло, видимость законности еще соблюдена: подсудимым разрешают иметь адвокатов. Чтобы согласиться стать защитником на этом процессе, нужно было иметь незаурядное мужество — опыт общения с новой властью уже был, она уже успела доказать: прощать не умеет. Особую ненависть судей и обвинителей вызвал адвокат Гурович: входя в зал заседаний, он целовал руку своего подзащитного, митрополита Вениамина. Такого не знала судебная практика!

Из заключительной речи адвоката Гуровича: «Ни от кого не секрет, что, в сущности, в тяжелые часы допросов участь митрополита зависела от него самого: стоило ему чуть-чуть поддасться соблазну, признать хоть немного из того, что так жаждало установить обвинение, — и он был бы спасен. Он не пошел на это. Спокойно, без вызова и рисовки отказался от такого спасения. Вы можете уничтожить митрополита, но не в силах отказать ему в мужестве и высоком благородстве мыслей и поступков... Чем кончится это дело, что скажет о нем беспристрастная история, это зависит от вашего приговора. Я не прошу ни о чем: знаю, что мольбы и слезы не имеют для вас значения. Принцип беспристрастности объявлен неприменимым к вашим приговорам. На первом плане вопрос политический: выгодно или не выгодно для советской власти, вот что для вас важно. Но если митрополит погибнет за свою веру, за свою бесконечную преданность верующему народу, он станет опаснее для вас, чем сейчас. Непреложный закон истории предупреждает: на крови мучеников растет и крепнет вера».

Зал встал, потрясенный, а в зале ведь была в основном специфическая публика. Казалось, и судьбы дрогнут. Но приговор был предрешен. Не ими. Властью, которой они служили. Как они старались вырвать у него хоть слово предательства или оговора! Члены трибунала не могли

понять, почему он не защищается, не пытается переложить хотя бы часть вины на кого-то другого: «Вы все о других, да о других! Трибунал желает знать, что вы скажете о себе». «О себе... что же мне вам сказать о себе? Разве лишь одно: я не знаю, что вы мне объявите в приговоре, жизнь или смерть, но что бы вы в нем ни провозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи горе, возложу на себя крестное знамение и скажу: слава Тебе, Господи Боже!»

Когда огласили приговор, Гурович не смог сдержать слез. Митрополит обнял и поцеловал своего защитника. У него, приговоренного к смерти, нашлись слова утешения. Он оставался таким, каким был всегда. Протоиерей Михаил Чельцов писал в «Воспоминаниях смертника»: «После оглашения приговора я посмотрел на митрополита. Великое спокойствие было на лице его, и мне стало хорошо за него, за себя и за всю церковь».

В ожидании исполнения приговора он молился. По четырнадцать часов в сутки! За страну, за народ и за врагов своих тоже. Начальству «Крестов» приходилось каждый день менять караульных. Боялись: даже очерстевшие надзиратели не выдержат, откроют тюремную дверь...

Из последнего слова митрополита Вениамина: «Я верный сын своего народа, я люблю и всегда любил его, я жизнь ему свою отдал, и я счастлив, что народ, вернее, — простой народ платил мне той же любовью».

Их расстреляли в ночь с 12 на 13 августа 1922 года.

Митрополиту Вениамину было сорок восемь лет. Юрию Петровичу Новицкому — тридцать девять. Ивану Михайловичу Ковшарову — сорок четыре. Архимандриту Сергию (Шеину) — пятьдесят шесть. Где лежат они, знали только убийцы. Они не скажут — их тоже давно уже нет на земле... Митрополит Вениамин перед смертью молился и за них.

А еще он просил: «Господи, соделай нас орудиями мира Твоего. Там, где ненависть, сподоби нас поселить любовь. Где обида — прощение. Где раздор — союз. Где отчаяние —

надежду. Где сомнение — веру. Где тьма — свет. Где печаль — радость. Сделай так, чтобы мы не столько искали утешения, сколько утешали бы; не столько стремились быть понятыми, сколько понимали бы; не столько стремились быть любимыми, сколько возлюбили бы, ибо мы получаем, когда даем, прощая, мы получаем прощение и, умирая, рождаемся к жизни вечной».

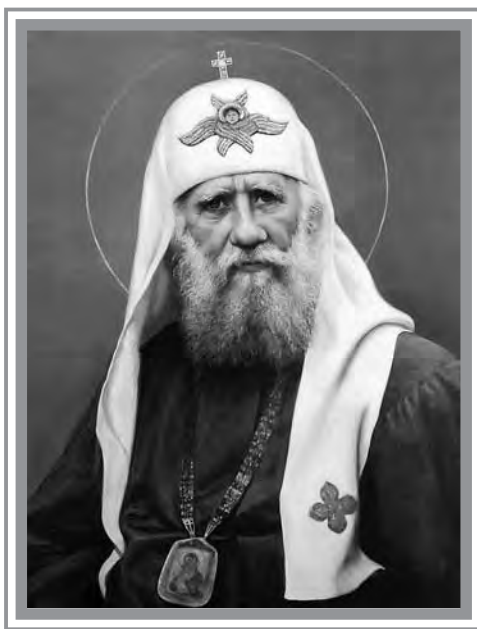
В апреле 1992 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых священномучеников Вениамина и Сергия, мучеников Юрия и Иоанна.

Мне не раз приходилось упоминать про обновленцев. Наверное, нужно хотя бы немного рассказать, кто же они такие. Подозреваю, не всем это известно. Оно и понятно: с обновленчеством было покончено еще в 1946 году, и не стоило бы о нем вспоминать, если бы не судьба митрополита Вениамина и многих, многих священнослужителей, не поддавшихся соблазну раскола.

Так вот, обновленцы — раскольники, «обнагленцы», как их называли те, кто остался верен православной традиции. Можно этим и ограничиться. Но простые, краткие, пусть даже и хлесткие оценки никогда не исчерпывают сложных явлений. А обновленчество — явление очень непростое. Зародилось-то оно не после событий 1917 года, как принято считать, а в канун первой революции, в самом начале XX века, и было не таким уж крамольным. Те, первые обновленцы, считали, что пора уже переходить на богослужение на живом русском языке, поскольку знающих старославянский среди прихожан становится все меньше; что следует провести календарную реформу и начать жить по тому календарю, по которому живет весь мир. А еще они возражали против подчиненного положения белого духовенства по отношению к монахам, добивались права на развод и права вступать во второй брак для вдовых священников. Никаких богословских расхождений с ортодоксальной церковью у них не было. Довольно скоро обновленчество как-то сошло на нет. Но в 1917-м возродилось. Причем в несколько иной, уже вовсе не безобидной форме.

Когда начались ленинские гонения на церковь, когда священников стали убивать сотнями, обновленцы (они еще называли себя «живой церковью») призвали к сотрудничеству с новой властью. И призывами не ограничились. Обновленческий собор лишил сана патриарха Тихона. Это был подарок большевикам: Тихон не скрывал своего неприятия революции, а он был чрезвычайно популярен в народе, его слово могло оттолкнуть от советской власти даже поддерживающих ее рабочих и крестьян. После лишения сана его посадили в тюрьму — лишили возможности обращаться к верующим.

Вожди обновленцев очень старались угодить тем, от кого зависело не только их благополучие, но и сама жизнь. В своих выступлениях перед паствой они отождествляли коммунизм и христианство, призывали служить «великому делу социализма», убеждали, что «мир должен через авторитет Церкви принять правду коммунистической революции». Им задавали вопрос (и задавали часто): за что новая власть так ополчилась на верующих? Они отвечали: беды и испытания посланы Богом для очищения от скверны прошлого, которая затронула и церковь. Растерянный народ, особенно темная, малообразованная его часть, слушал и шел в обновленческие храмы. А их становилось все больше и больше... Но успехи эти были временными. К обновленцам паства примыкала скорее от растерянности: привычный мир рушился, некуда было преклонить голову. Постепенно все больше верующих разочаровывалось в реформаторстве, видя в нем «порчу православия» и отказ от веры отцов и дедов. Оттолкнули от обновленцев и политические обвинения, которые они выдвигали против «тихоновцев»:



Патриарх Тихон

люди видели, ОГПУ именно на них основывает репрессии против церкви. Николай Александрович Бердяев, которого в 1922 году, перед высылкой из страны, вызвали на Лубянку, вспоминал, как «был поражен, что коридор и приемная ГПУ были полны духовенством. Это все были живоцерковники. К “живой церкви” я относился отрицательно, так как представители ее начали свое дело с доносов на Патриарха и патриархию церковь. Так не делается реформация».

Обновленцы объясняли свое поведение: церковь, чтобы сохраниться, должна приспособиться к новым условиям жизни; если погибнет церковь, погибнет и народ. Многие понимали, что это всего лишь оправдание предательства, думают пастыри не о народе, а о том, как бы сохранить свою жизнь и благополучие.

Все было очень похоже на происходившее много веков назад. Во время нашествия Золотой Орды со многих амвонов звучали призывы не сопротивляться захватчикам. Священники называли монголов «бичом Божиим», которому нельзя противиться, ибо это наказание за грехи наши. Руководители обновленцев были образованны, историю знали, знали и о том, что монголы не убивали священнослужителей и не разрушали церквей, если им не оказывали сопротивления. Похоже, надеялись, что так поведут себя и большевики. Но они просчитались. Большевики видели в них только временных попутчиков. В тридцатые годы и они стали жертвами репрессий. Достаточно напомнить о судьбе двух центров обновленчества — Введенской церкви на Петроградской стороне и Спаса-на-Сенной...

КУДА НИ БРОСИШЬ ВЗГЛЯД...



В предыдущих главах, рассказывая об утратах, я группировала их или по времени строительства (Петровский Петербург), или по месту (Невский проспект, Литейная часть), или по принадлежности одному зодчему (Растрелли), или по связи с одним человеком (Пушкин), или по предназначению (храмы). На этот раз памятники, о которых предстоит рассказать, построены в разное время (утрачены тоже не одномоментно), в разных частях города, для разных целей. Но это вовсе не случайная подборка. Она просто доказывает, что ни славное имя хозяина, ни мастерство зодчего, ни красота, ни несомненная полезность не гарантируют долгой и благополучной жизни.

Начну с того, что было построено в XVIII веке, причем в местах, о которых пока речи не было, — на Островах. Вообще-то свою столицу Петр построил на сорока островах, но имя собственное — Острова — заслужили только три в северной части дельты Невы: Крестовский, Мишин (с 1770 года — Елагин) и Каменный. Это

сейчас они — почти центр города (хотя и остаются пока особым миром, миром покоя и тишины). В петровские времена считались они дальними, и осваивать их начали уже после полного поражения шведов в Северной войне (очень уж шведам не хотелось расставаться с Островами, они не раз предпринимали попытки их вернуть, переправиться с Каменного острова на левый берег Малой Невки, помешать строительству Петербурга).

Но уже в 1710 году, после взятия Выборга и освобождения Карелии, Острова стали безопасны — во всяком случае, не более опасны, чем другие части не слишком легко рождающегося города. Государь подарил их самым близким: Александру Даниловичу Меншикову, любимой сестре Наталье Алексеевне, вице-канцлеру Петру Павловичу Шафирову, канцлеру Гавриилу Ивановичу Головкину. Хозяева немедленно начали осваивать новые земли — строили усадьбы, разбивали сады и парки. До наших дней не сохранилось ничего. Только фиксационные планы (в особенности «план Кайе», выполненный в 1721 году) позволяют представить, какие участки были заняты загородными постройками петровских вельмож.



Острова

Исключение составляет только одна усадьба. Ее хозяин озаботился запечатлеть для потомства свое любимое поместье. Причем поручил это не кому-нибудь, а лучшему художнику и граверу своего времени Михаилу Ивановичу Махаеву. Так что в достоверности изображения можно не сомневаться. Этим предусмотрительным хозяином был Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, человек незаурядных дарований и необычайной судьбы. Но об этом чуть позднее, сначала об усадьбе, единственной из всех вельможных резиденций на Островах, которую мы без особого труда можем себе представить. В 1746 году, как только владельцем Каменного острова после Головкина стал Бестужев-Рюмин (к этому времени он уже два года канцлер, второе лицо в государстве), приступили к постройке его парадной загородной резиденции. Начали с того, что на восточной стрелке Каменного острова расчистили от леса площадку для строительства. Не меньше полутора километров берега Малой Невки укрепили деревянной набережной. На стрелке устроили пристань, возвели земляные бастионы. Композиция усадьбы была необычна: одноэтажная застройка «единою фасадою», растянувшаяся вдоль набережной, словно заключила в раму два высоких сооружения — дворец на стрелке острова и эрмитаж, с запада к ним примыкала еще и «Галерея для прогулок». Дворец был деревянный, на высоких каменных полуэтажах. Он больше напоминал триумфальное сооружение, нежели жилье: место обычного центрального корпуса занимала двухъярусная колоннада, объединявшая двухэтажные жилые здания. Она придавала всему комплексу небывалую легкость и одновременно торжественность. Отделка фасадов была скромна, но выполнена с изысканным вкусом: лепные цветочные гирлянды в обрамлении окон, руст по углам, картуши в виде гербов с графской короной (это Елизавета Петровна в день коронации возвела в графское достоинство Петра Михайловича Бестужева и обоих его сыновей, Михаила и Алексея). А вот о внутреннем убранстве дворца известно только, что стены комнат были обиты дорогими тканями, украшены зеркалами, повсюду были расставлены вазы и мраморные скульптуры. Вдоль набережной выстроили оранжереи, беседки, гостиный дом, кухню с покоями, бильярдный дом с покоями и залом, да еще и зверинец. Все это и образовало нарядный фасад острова, кото-

рый запечатлел Махаев на гравюре «Загородный дом Бестужева-Рюмина на Каменном острове». Именно эта панорама, величественная и свободная, с первого взгляда (с воды, иначе до дворца было не добраться) давала понять каждому: хозяин — знатен, богат, к тому же гостеприимен, щедр и художественным вкусом не обделен, в общем — настоящий вельможа. Здесь не зазорно было принять что чужестранных министров, что российских знатных особ и ассамблеи устроить, по обычаю незабвенного государя Петра Великого, и театральные представления, до которых так охоча новая государыня Елизавета Петровна.

Для того и помещения построили не те, чем в привычных усадьбах: вместо скотного и конного дворов, птичников, складов, амбаров, каретных сараев — гроты и эрмитажи, галереи для прогулок, «портретный сарай» (по-нашему — картинная галерея). Оранжереи (они не были редкостью и в старых усадьбах) превратились в своеобразный зимний сад, где гостей можно было удивить вывезенными из далеких стран пальмами, лимонами, померанцевыми деревьями. Все это свидетельствовало не только об утонченном вкусе хозяев, но и о том, что пребывание в Европе не прошло для них бесследно, что они сумели позаимствовать многое, составлявшее гордость Версаля и Сан-Суси.

Располагалась резиденция на невысокой каменной террасе и полугими спусками-пандусами была связана с огромным регулярным садом. Все это великолепие окружала вода, которая создавала иллюзию полной отрешенности от суетного мира и совершенно особое настроение, свойственное лишь этому месту «уединения и отшельничества», предназначенному для самого узкого круга избранных. Основные постройки на Каменном острове были закончены в 1754 году. Но Алексею Петровичу хотелось добавить еще что-то, чего не было ни у кого. И он придумал «трельяжный пруд с галереями»: высокой каменной стеной с небольшими проемами приказал отгородить часть реки, превратив ее в замкнутый водоем; на берегу поставить два одноэтажных домика на высоких цоколях, с лестницей, спускающейся к воде. Домики предназначались для содержания диких зверей. Со стороны реки стену венчали ажурные беседки с высокими, изящными луковичками куполов. Закончили строить эту затею в 1756 году.

Наслаждаться своим «уединенным уголком» великому канцлеру Российской империи оставалось без малого два года...

Отступление о дважды приговоренном к смерти

Происходил Алексей Петрович Бестужев-Рюмин из рода старого, но не древнего, знатного, но не титулованного (не из Рюриковичей). Впервые упоминают Гавриила Бестужу, которого принято считать основателем рода Бестужевых, в XV веке. Любопытно, что фамилия эта имеет два значения, одно вызывает уважение — не боящийся стужи, другое малосимпатично — бесстыдный (от стоуж — стыд). В этой двузначности будто запрограммирован противоречивый характер будущего канцлера Российской империи.

Бестужевы были многодетны, так что к концу XVII века образовалось много ветвей однофамильцев, но родственников не самых близких. Во времена Петра Великого главой одной из ветвей рода Бестужевых был Петр Михайлович, зарекомендовавший себя деятельным и успешным дипломатом. В 1701 году в ответ на свою нижайшую просьбу он получил дозволение писаться не просто Бестужевым, а Бестужевым-Рюминым. Зачем ему это понадобилось, понять затруднительно, ведь ничего почтенного в слове «рюма» нет. Оно означает всего лишь плаксу, реву, да еще орнитологи называют так маленькую



А. П. Бестужев-Рюмин

сибирскую птичку, рогатого жаворонка. Так что вряд ли за какие-то выдающиеся подвиги получил это прозвище в стародавние времена Яков Гаврилович Бестуж, сын основателя рода. Единственным объяснением желанию Петра Михайловича присовокупить к своей фамилии вторую можно считать потребность как-то выделиться из многочисленной толпы Бестужевых.

Сыновьям своим первый Бестужев-Рюмин дал отменное воспитание и образование — сначала учились дома, потом в Голландии и Германии. Оба преуспели в науках, оба пошли по стопам отца, стали дипломатами. Правда, карьера отца неожиданно рухнула: сначала он не угодил Менишкову, потом, после восхождения на престол Анны Иоанновны, — Бирону. За это был отправлен в ссылку, где и провел почти десять лет, после чего за заслуги сыновей получил соизволение жить в Москве.

Младший из его сыновей, Алексей Петрович, был замечен Петром I — юноша оказался умен и талантлив. Император повелел направить Алексея в Голландию, под опеку знаменитого своего дипломата Бориса Ивановича Куракина. О лучшей школе нельзя было и мечтать. Набравшийся знаний и опыта двадцатилетний дипломат жаждет самостоятельной работы. И государь, ему благоволивший, отпускает Бестужева служить курфюрсту Ганновера, которого за четыре года службы юноша покорила своим прекрасным воспитанием, хладнокровием и образованностью. Став английским королем Георгом I, курфюрст жалует Бестужева званием камер-юнкера и направляет посланником... к Петру I. Это был первый неожиданный поворот в судьбе будущего канцлера.

На русской службе все у него складывается вполне успешно: посланник в Дании, в Гамбурге, в Киле, в Нижней Саксонии — должности достойные. Но он-то знает: способен на большее, много большее.

И вот новый поворот судьбы: герцог Бирон, полновластный временщик, срочно требует Бестужева в Петербург. Тот поначалу не знает, зачем его вызвали, но делает все,

чтобы убедить Бирона в чрезвычайной преданности его особе. И Бирон все более укрепляется в своих планах. А планы относительно Бестужева у него далеко идущие. Дело в том, что герцог давно тяготился своей зависимостью в делах от графа Остермана. Попытки возвысить в противовес ему сперва Ягужинского, потом Волынского кончились неудачами. Тогда-то Бирон и остановил свой выбор на Бестужеве. Некоторое время он еще колебался, назначать ли Алексея Петровича на самый высокий официальный пост в государстве. Французский посланник Шетарди объясняет эти сомнения тем, что Бестужев пользовался репутацией человека, подобного Волынскому: честолюбивого, следующего своим влечениям без удержу, так что многие предсказывали ему столь же трагический конец, какой выпал на долю его предшественника. И все же Бирон решился: в марте Бестужев назначен на высокий пост кабинет-министра. Идет 1740 год. Кабинет-министру сорок семь лет. Немало, но он верит: наконец-то его ждут великие свершения.

Единственное, что он успел, это поддержать Бирона в его стремлении стать регентом-правителем при малолетнем Иоанне Антоновиче, которого Анна Иоанновна перед смертью провозгласила своим преемником на русском троне. За эту поддержку Бестужев едва не заплатил жизнью. 17 октября 1740 года скончалась императрица, 8 ноября пал Бирон. Бестужев как ставленник и приспешник герцога был арестован, заточен в Шлиссельбургскую крепость, судим и приговорен к четвертованию. На его счастье, фельдмаршала Миниха к этому времени оттеснил от власти граф Остерман, человек менее кровожадный. Он-то и убедил правительницу Анну Леопольдовну заменить четвертование ссылкой в Белозерский уезд, где вчерашнему кабинет-министру было велено жить безвыездно, «смирно, ничего не предпринимая». Его лишили орденов, чинов и собственности, оставив только триста семьдесят две души на пропитание жене и детям (без пропитания все-таки не оставили и самого добывать свой хлеб не вынудили).

Ссылка продлилась недолго. 25 ноября 1741 года к власти пришла Елизавета Петровна, а с нею — новый крутой поворот изменил судьбу Бестужева-Рюмина. Благодаря заступничеству лейб-медика Ивана Ивановича (он же Иоганн Герман, он же Жан Арман) Лестока и французского посланника Жака-Иоахима (Жоакена) Тротти маркиза де ла Шетарди, пользовавшихся неограниченным влиянием на новую императрицу, Алексей Петрович был возвращен в Петербург. А в последовавшие три года пожалован в вице-канцлеры, сенаторы, главные директора над почтами, награжден «за его неповинное претерпение» орденом Андрея Первозванного и, наконец, провозглашен великим канцлером (третьим за всю историю Российской империи). С тех пор, не имея достойных по уму и трудолюбию соперников, Бестужев-Рюмин шестнадцать лет управлял Россией.

Любопытно, как неожиданно Алексей Петрович, совсем недавно пострадавший за то, что отблагодарил своего благодетеля Бирона, рассчитался с очередными благодетелями. Оба они заслуживают хотя бы краткого рассказа. Немецкий полковой врач (француз по происхождению) Лесток, наслушавшись рассказов о петровской России, земле обетованной для иностранцев, написал просьбу о принятии на русскую службу и отправился в Санкт-Петербург. Ему казалось, в этом городе он сможет найти все — и деньги, и почет, и дело по душе. Новоприбывшего врача представили Петру I, и он сразу пришелся государю по душе: красив, ловок, приятен в обращении, говорит на нескольких европейских языках (это император особенно ценил). Так что Лесток был безотлагательно принят на службу, даже в обход других претендентов — может быть, и более сведущих в медицине, но явно уступавших ему в умении очаровывать. Очаровал он не только Петра, но и Екатерину, и их дочерей, Анну и Елизавету. К его помощи прибегали при любом недомогании, он и лекарем был изрядным, и утешить мог лучше, чем любой другой.

Правда, случилось так, что за поступок, благородному человеку непростительный, Петр сослал Лестока в Казань и едва ли вернул бы скоро в столицу. Но Петр умер, а Екатерина была не так щепетильна в вопросах чести и вернула провинившегося в Петербург, более того — назначила своим лейб-медиком. После смерти Екатерины Лесток стал не только лейб-медиком принцессы Елизаветы, но и ее доверенным лицом. Влияние его на Елизавету Петровну было огромно. Не случайно хлопоты за Бестужева увенчались таким успехом.

Алексей Петрович был благодарен, но понимал, что Лесток не бескорыстен: ему нужна поддержка Бестужева в попытках поссорить Россию с Австрией и наладить прочный русско-французский союз (разумеется, в интересах Франции). Лесток недооценил твердости убеждений Бестужева, не понял, что политические интересы неминуемо должны не только развести их, но и сделать врагами.

Бестужев был категорическим противником Франции и Пруссии (в то время у него для этого были весьма серьезные основания), Лесток же не просто симпатизировал Франции, но был ее агентом при русском дворе (получал от французов пенсию в пятнадцать тысяч ливров). Не менее тесные отношения связывали его и с Пруссией — именно по ходатайству прусского короля Фридриха II император Карл VII даровал Лестоку титул графа Римской империи. Так что интриги против Бестужева можно считать прямой обязанностью лейб-хирурга перед своими благодетелями. За эти-то интриги был он арестован, пытан в тайной канцелярии, приговорен к смерти, помилован, сослан в Углич, откуда освобожден только в 1762 году пришедшим к власти Петром III.

Кстати, **дом Лестока** — одна из петербургских утрат. Стоял он на берегу Фонтанки. На участке, принадлежавшем в петровские времена царице Прасковье Федоровне. Там был проложен переулок, названный Лестоковым (потом название приобрело более свойственное русскому языку звучание — Лештуков). После Великой Отечественной войны его переименовали в переулок Джамбула.

Уже несколько лет идут споры: оставить нынешнее название или вернуть старое. Забавно, но многие сторонники старого имени не знают, что оно значит, и никогда не слышали о докторе Лестоке.

Приятель и единомышленник Лестока, французский посланник Жак-Иоаким (Жоакен) Тротти маркиз де ла Шетарди, вступался перед Елизаветой Петровной за Бестужева тоже не по доброте сердечной: рассчитывал в его лице приобрести влиятельного сторонника своих попыток вынудить Елизавету Петровну уступить Швеции, пытавшейся добиться пересмотра Ништадтского мира, заключенного Петром Великим по итогам Северной войны. Понимая, что императрица на это не пойдет, французы побуждали шведов объявить войну, будто бы для отвоевания земель, отнятых у Швеции Петром, а в действительности для того, чтобы занять русскую армию «делом» и не дать ей возможности выступить в поддержку Австрии в войне за австрийское наследство. Эта война между Пруссией, Францией, Испанией, Сицилией и Швецией, с одной стороны, и Австрией, Великобританией, Ганновером, Нидерландами, Саксонией, Сардинией, с другой, началась в 1740 году, после смерти императора Карла VI и вступления на трон Австрийской империи его старшей дочери Марии Терезии; начали войну страны, претендовавшие на часть земель империи.

Но и Шетарди просчитался, надеясь, что в благодарность за заступничество перед императрицей Бестужев станет послушным исполнителем его воли. Бестужева невозможно было вынудить сделать хоть что-то во вред России. Он заявил, что заслужил бы смертную казнь за совет уступить хоть пядь русской земли и что лучше, для славы государыни и народа, требовать продолжения войны. Война началась, но окончилась для Швеции полным разгромом. Шведское правительство вынуждено было подтвердить верность условиям Ништадтского мира и отдать России часть территории Финляндии. Кое-кто был удивлен скромности требований российского канцлера — можно было получить и больше. Но он

умел просчитывать результаты своих действий на много шагов вперед. Он понимал: потребовав слишком много, он заставит противников сразу начать думать, как вернуть потерянное. Со скромными требованиями смириться легче, за них проигравший может даже быть благодарен. Так и случилось. Шведы подписали с Россией Декларацию о военной помощи, лишив Францию поддержки в ее антирусской политике. Неудачнику Шетарди пришлось покинуть Россию...

Новый глава дипломатического ведомства положил в основу внешней политики концепцию, которую называл «системой Петра Великого». Суть ее состояла в постоянном и неизменном сохранении союзнических отношений с теми государствами, с которыми у России совпадали долговременные интересы. В 40-е годы XVIII века таким государством была Англия. Есть абсолютно достоверные сведения (письма английского посла Вильямса в Лондон), что Бестужев получал от английского правительства «пенсию», почти в два раза превышавшую плату, которую имел по должности в России. Но его нельзя упрекнуть в том, что он делал это вопреки интересам своего Отечества. Не менее достоверны сведения и о том, что, когда Шетарди и прусские дипломаты пытались вручить ему весьма солидную сумму «для приобретения его доверия и дружбы», он с возмущением отверг подкуп.

А между тем Людовик XV вновь отправляет Шетарди в Россию. Задача сформулирована жестко: любыми средствами — интригой, подкупом, шантажом — склонить русское правительство к войне против Австрии на стороне французского короля. Цель Людовика очевидна: чтобы французских солдат было убито на несколько тысяч меньше, их место должны занять русские; русская кровь должна пролиться вместо французской. Понятно, что Бестужев не мог этого допустить. Значит...

Однажды, беседуя с кем-то из придворных, Шетарди проговорился: дал понять, что его главная цель — избавиться от вице-канцлера. Неосторожные слова французского посла стали известны Бестужеву на другой же

день. Он ничем не выдал, что знает о коварных планах, только при встречах стал еще любезнее, еще приветливей с Шетарди. Тому стоило задуматься, к чему бы это. Не задумался...

А Бестужев после того, как узнал, что ему грозит нешуточная опасность, вынужден был перлюстрировать письма французского посла. Шетарди письма шифровал, ключ к шифру долго не удавалось подобрать. Тогда канцлер обратился в Академию наук. Выдающийся математик, первый конференц-секретарь и советник Академии Кристиан Гольдбах без труда решил поставленную перед ним задачу. С этого момента все письма Шетарди попадали сначала к Бестужеву, а уже потом к французскому министру иностранных дел.

И вот однажды, выбрав удачный момент, вице-канцлер положил копии писем на стол императрицы. Может быть, она и оставила бы без последствий откровения посла по поводу истинных целей французской политики, но то, что он позволял себе писать о ее, Елизаветы, легкомыслии, тщеславии, «слабости умственной» и «плачевном» поведении, простить было невозможно. Шетарди со скандалом выслали из Петербурга. А у Бестужева стало на одного врага меньше. Вскоре после этого он и был назначен канцлером.

Кстати, Россия все-таки вступит в войну. Но не на стороне Франции, как надеялся Людовик XV, а на стороне Австрии. Это переломит ход кампании, и французы вместе со своими союзниками вынуждены будут запросить мира...

Один из самых проницательных отечественных историков, Василий Осипович Ключевский, так характеризовал Бестужева-Рюмина: «Чрезвычайно пронырливый и подозрительный, непоколебимый в своих мнениях, упорный, деспотичный и мстительный, неуживчивый и часто мелочный канцлер граф А. П. Бестужев-Рюмин резко выделялся из толпы придворных ничтожеств, какими окружала себя Елизавета. Заграничный выученик

Петра Великого, много лет занимавший дипломатические посты за границей, Бестужев-Рюмин хорошо знал отношения европейских кабинетов. Потом — выдвигенец Бирона в Кабинете министров императрицы Анны, осужденный к четвертованию, но помилованный после падения регента и из ссылки призванный к делам императрицей Елизаветой, он приобрел мастерство держаться при петербургском дворе, в среде, лишенной всякой нравственной и политической устойчивости. Ум его, весь сотканный из придворных каверз и дипломатических конъюнктур, привык додумывать каждую мысль до конца, каждую интригу доплетать до последнего узла, до всевозможных последствий. Раз составив мнение, он проводил его во что бы то ни стало, ничего не жалея и никого не щадя».

Мнение, пожалуй, исчерпывающее, но, чтобы быть убедительным, требующее каких-то жизненных подтверждений. Лучшие всего, думаю, о пороках и добродетелях Алексея Петровича говорит история его отношений с великой княгиней Екатериной Алексеевной, не без его участия ставшей императрицей Екатериной Великой. Ей было очень трудно при дворе Елизаветы Петровны. Как юной, неопытной девочке, слишком доверчивой, слишком откровенной, преодолеть отчуждение искушенных в интригах придворных? Задача, казалось, непосильная. Но она понимала: если у нее не будет друзей и помощников, ей придется смириться с ролью безропотной тени наследника, которого после первых месяцев знакомства считала ничтожеством. Это была не ее роль! И она начала действовать.

Первая задача трудная, едва ли вообще выполняемая — завоевать доверие и поддержку Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Но она всегда будет ставить перед собой самые трудные задачи, кажущиеся неразрешимыми. Простые ей всегда будут скучны.

Ее отношения с Бестужевым складывались самым неблагоприятным образом, Поначалу он сильно досаждал

ей своими преследованиями. Виновата в этом была мать Екатерины, Иоганна Елизавета, с которой когда-то у Бестужева был мимолетный роман. Явившись к русскому двору, она начала активно отстаивать интересы Фридриха II и интриговать против Бестужева, который был непримиримым врагом прусского короля. Мощественный канцлер без труда одержал верх и над не слишком умной интриганкой, и над всеми, кто готов был содействовать планам Фридриха. Но, вообразив, что Екатерина продолжит дело, столь бездарно начатое изгнанной из России матерью, он отнесся к ней крайне сурово и постарался сразу показать, сколь велико его влияние на императрицу.

По его наущению Елизавета Петровна приняла меры, лишившие жену наследника какой бы то ни было возможности участвовать в политике; приставила к ней надзирателей, супругов Чоглоковых, обязанных следить за каждым ее шагом. Стоило ей хоть немного сблизиться с кем-то из фрейлин или даже прислуги, как этих людей тут же от нее удаляли. Сослали в Казань ее верного камердинера Тимофея Евреинова, на его место назначили некоего Шкурина, который должен был (и попытался поначалу) доносить о каждом слове великой княгини. Но она (вот ее прелесть неизъяснимая в действии!) из доносчика сумела сделать самого преданного слугу, который будет ради нее рисковать жизнью.

Убрали ее первую горничную, немку Крузе, которой она доверять могла слепо. На ее место прислали Прасковью Никитичну Владиславову. Ей тоже приказано было шпионить, но она стала для великой княгини, а потом и императрицы, не только верной служгой, не только другом, но — и в этом ее особое место в жизни Екатерины — своего рода мудрым проводником по русской жизни. Она была кладезем знаний, которые не почерпнешь из книг, не узнаешь от самых образованных учителей; знаний, без которых Екатерине вряд ли удалось бы стать по-настоящему русской, научиться вести себя с разными людьми так

безошибочно, что они убеждались: перед ними не заезжая немка, а своя, природная матушка-государыня.

Но слуги слугами, а общения с людьми своего круга она была лишена абсолютно. Даже писать письма кому бы то ни было, в том числе и родственникам, ей запретили. Не отсюда ли потом, когда никто не смел ей что-либо запрещать, такая страсть к переписке? Ей приходилось довольствоваться только подписью на письмах, которые за нее сочиняли в коллегии иностранных дел (ведомстве Бестужева). Одиночество становилось непереносимым. Пройдет время, и она, в совершенстве изучив русский язык, будет часто употреблять народные пословицы и поговорки. Так вот, о сложившейся ситуации можно смело сказать: «Нет худа без добра». Лишенная общения со сколько-нибудь интересными людьми, она начала запоем читать. Книги отточили ее природный ум, сделали ее выдающимся политиком, дипломатом и отчасти философом. Она готовилась. И никто не подозревал, какие мысли рождались в ее очаровательной головке.

Впрочем, «никто» — слово здесь не подходящее, потому что было, по меньшей мере, два человека, которые сумели оценить ее по достоинству. Это Иван Иванович Бецкой (он знал её цену всегда — сам воспитывал) и Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (он, опасаясь ее, приглядывался внимательно, а она делала все, чтобы он понял: у великой княгини незаурядные таланты, а значит, если помочь, и большое будущее). Думаю, особенно задело и поразило Бестужева то, как она сумела привлечь на свою сторону его проверенных агентов — не только Шкурина и Владиславову, но и Чоглоковых. Мария Симоновна, урожденная графиня Гендрикова, родственница императрицы со стороны матери, Екатерины I, из злой надсмотрщицы превратилась в наперсницу. Ее супруг, Николай Наумович, камергер двора, безответно, но страстно влюбился в свою подопечную. Вероятно, именно канцлер первым заметил ее поразительную способность покорять даже недругов своим гипнотическим обаянием.

Если Бецкой, делая ставку на Екатерину, заботился прежде всего о ней, то Бестужев думал о себе: приход к власти Петра Федоровича означал для него неизбежный конец карьеры, а может быть, и жизни — император, во всеуслышание заявлявший, что для него было бы большой честью служить у Фридриха Великого лейтенантом, никогда не простит канцлеру его многолетнюю упорную антипрусскую политику. И Бестужев делает ставку на Екатерину. Воспользовавшись неприязнью Елизаветы Петровны к племяннику, он начинает исподволь готовить ее к мысли назначить наследником престола малолетнего Павла Петровича, которого императрица нежно любит, а регентшей — Екатерину Алексеевну. Ему и графу Никите Ивановичу Панину, обер-гофмейстеру и наставнику Павла, идея эта нравится чрезвычайно: молодая женщина станет прекрасной исполнительницей их воли. Как же они заблуждались, эти мудрые, искушенные политики...

Но пока Бестужев налаживает и укрепляет отношения с великой княгиней и дает понять иностранным дипломатам, что Петр Федорович царствовать не будет или процарствует очень недолго по своей крайней неспособности к управлению могущественной Российской империей. А вот на его супругу стоит обратить самое серьезное внимание... И обращают. И начинают ценить. И ищут благосклонности. Тем более что здоровье Елизаветы Петровны с некоторых пор вызывает опасения.

В это время идет Семилетняя война. Генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, победитель в битве под Гросс-Егерсдорфом, покоритель Мемеля, вдруг неожиданно отступает. Его и канцлера, отдавшего тайный приказ об отступлении, обвиняют в государственной измене и отдают под суд. Об этой истории я уже рассказывала в первой главе. Тот, кто забыл, может к ней вернуться. Уверена, это событие могло бы стать роковым и для его участников, и для страны, не поведи себя Бестужев и Екатерина самым достойным образом.

Екатерина сумела убедить подозрительную, никому не доверявшую Елизавету Петровну в своей невиновности. И — ждала. Долгие четыре года...

А Бестужев, приговоренный сначала к смерти, а потом помилованный (Елизавета Петровна еще при вступлении на престол обещала крови не проливать и слово сдержала — за двадцать лет ее царствования к смертной казни не был приговорен никто), прожил эти годы в изгнании, в своем имении Горетово. Там он похоронил жену Анну Ивановну (урожденную Боттигер). Ему предстоит пережить ее на пять лет.

Ссылку свою Бестужев, по свидетельствам знавших его, снес с твердостью. Но весть о том, что императором стал Петр Федорович, встревожила его не на шутку. И основания для беспокойства были. Рассказывали, что Петр III говорил про него: «Я подозреваю этого человека в тайных переговорах с моей женой, как это было уже раз обнаружено; в этом подозрении подкрепляет меня то, что покойная тетушка на смертном одре говорила мне весьма серьезно об опасности, какую представляло бы возвращение его из ссылки». Говорила или не говорила, не так уж важно, а важно, что новый император ненавидел бывшего канцлера и верил в такую опасность. Так что рано или поздно решил бы эту опасность устранить...

Но 28 июня 1762 года власть в России переменилась. И уже 1 июля — новый поворот судьбы — к Бестужеву прискакал курьер с указом императрицы: немедленно вернуться в Петербург. Екатерина приняла его тепло, как старого друга, и не подала виду, что заметила, насколько он сдал за годы изгнания. Она вернула ему все, что было у него отобрано, произвела в генерал-фельдмаршалы и назначила первым императорским советником. Это была не просто благодарность — она высоко ценила и его трезвый ум, и твердую волю, и опыт. Всякий раз, когда случались затруднения в делах, она посылала к нему курьера с запиской: «Батюшка Алексей Петрович! Пожалуй, помоги советами».

Но пост канцлера она ему не вернула — его время ушло. Это он, пусть с огорчением, но понимал и принимал. А требовал только одного — торжественного оправдания. И она назначила комиссию для пересмотра его дела. Уже 31 августа 1762 года был обнародован манифест, который выставили в публичных местах и даже прочитали в храмах. Она сама писала этот манифест, которым объявляла народу, что она, Екатерина, из любви и почтения к Елизавете и по долгу справедливости, считает нужным исправить невольную ошибку покойной императрицы и оправдать Бестужева в возведенных на него преступлениях. А еще сообщила, что ему возвращены прежние чины и ордена и назначен пенсiон двадцать тысяч рублей в год.

Только одно не вернула Екатерина бывшему канцлеру — его Каменный остров. В 1765 году она возмещает ему затраты на строительство резиденции (тридцать тысяч рублей) — и остров становится собственностью императорской фамилии. Вскоре Екатерина дарит его наследнику престола. Весной 1776 года на месте резиденции Бестужева-Рюмина по проекту Юрия Фельтена начали строить Каменноостровский дворец. Разрушительное наводнение 1777 года заставило надолго прервать работы, к строительству (но уже по проекту Джакомо Кваренги) вернулись только в 1781 году. К этому времени от поражавшей когда-то великолепием и необычностью усадьбы бывшего канцлера остались только воспоминания тех немногих, кто удостоился чести быть принятым в блистательной резиденции, да гравюры Михаила Ивановича Махаева...

Кстати, именно Бестужев дважды предлагал Сенату и комиссии о дворянстве поднести Екатерине титул «Мать Отечества». Сенат и комиссия согласились. Она — отказалась. Категорически.

Что же касается несохраненной резиденции канцлера, то, может быть, имей Алексей Петрович наследников, Екатерина и не поку-

силась бы на его имение. Но наследников не было: один сын умер, не успев жениться, второго сам отец «за развратной и неистовой жизнью» попросил постричь в монахи. В монастыре Андрей Алексеевич и скончался. На этом графская линия Бестужевых-Рюминых пресеклась. Правда, не прямые наследник и однофамильцы остались. Одному из них через шестьдесят лет после смерти канцлера предстоит эту фамилию по мнению одних прославить, а по мнению других — опозорить. Речь об одном из пяти повешенных декабристов, Михаиле Павловиче Бестужеве-Рюмине.

А что принадлежность даже человеку самому выдающемуся, в чьих заслугах перед Отечеством не посмели усомниться ни при одной смене власти (что у нас — большая редкость), не спасает от уничтожения, лучше всего подтверждает судьба двух зданий, принадлежавших младшему современнику канцлера Бестужева-Рюмина Михаилу Васильевичу Ломоносову.

Что все, связанное с Ломоносовым, — бесценное общенародное достояние, вряд ли стоит доказывать. И дела Ломоносова каждому живущему в России известны со школьных лет, так что рассказывать о них не буду, напомним только о том, что имеет прямое отношение к петербургским утратам.

Ломоносов приехал в Петербург после окончания учебы в Германии в июле 1741 года и поселился в так называемом Боновом доме (по имени первого своего владельца, сподвижника Петра генерал-аншефа Германа Иоганна Бона). Его нынешний адрес — Васильевский остров, 2-я линия, 43. В середине XVIII века участок домов 41 и 43 принадлежал человеку в своем роде замечательному, Карлу Германовичу фон Бреверну. Был он президентом Академий наук и художеств, четвертым с момента их создания. Лишился должностей за то, что вместе с Бестужевым-Рюминым помог Бирону стать регентом при трехмесячном императоре Иоанне Антоновиче. Но ни к четвертованию приговорен не был, ни в ссылку не попал — напротив, совсем скоро был прощен и назначен конференц-министром Елизаветы Петровны. Содружество свое с возвращенным из изгнания Бестужевым продолжил, поддерживал борьбу Алексея Петровича против «франко-прусской партии», за что, как были убеждены современники, и был отравлен. Так ли это, сказать уже невозможно, но неожиданная смерть

здорового, энергичного сорокалетнего человека не могла не вызвать подозрений.

Так вот, дом Бреверна, который арендовала Академия для своих сотрудников, стал первым жилищем Ломоносова в Петербурге. Дома давно нет, что естественно (он был деревянным), но во дворе его как раз и была **первая в России химическая лаборатория**, где в 1756 году Ломоносов экспериментально подтвердил свой закон сохранения вещества и сделал многое еще, что принесло ему славу одного из величайших химиков планеты.



М. В. Ломоносов

Я написала «первая», но это справедливо лишь отчасти: лаборатория Ломоносова действительно была первым по-настоящему научно-исследовательским учреждением. Но вообще-то химические лаборатории в России были и раньше. Еще в 1720 году при Берг-коллегии Брюс организовал такую лабораторию по личному распоряжению Петра I, который сам интересовался химией, в особенности «пробирным искусством» (это отрасль аналитической химии, занимающаяся определением содержания благородных металлов в рудах

и сплавах. — *И. С.*). Сохранились собственноручные записи Петра методик анализа руд, найден чертеж такой «пробирочной печи», какую позднее установил в своей лаборатории Ломоносов.

Существовали и частные лаборатории. Была такая на Каменном острове, в имении Бестужева-Рюмина. Алексей Петрович страстно увлекался химией. Существует мнение, что талантливый человек талантлив во всем. Успехи канцлера в химии — тому подтверждение. Наблюдая в своей лаборатории светочувствительность солей железа, он изобрел так называемые бестужевские капли, которыми продолжали пользоваться до 20-х годов XX века. Считалось,

что этот спирто-эфирный раствор полуторахлористого железа способствует всасыванию железа и усиливает его действие «при малокровии с состоянием истощения и нервными страданиями». Способ приготовления капель Бестужев хранил в тайне. Но в 1728 году его лаборант Лембке продал эту тайну французскому бригадиру Ламоту, который стал выдавать капли за свое изобретение и продавать по многократно завышенной цене. В 1748-м по просьбе Елизаветы Петровны Бестужев сообщил способ приготовления капель придворному аптекарю Манделю. Его наследники оказались весьма предприимчивы: они продали секрет Екатерине II за тридцать тысяч рублей, сумму огромную. Напомним: именно столько заплатила императрица Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину за его резиденцию на Каменном острове. Закончилась история, как часто бывает в таких случаях, конфузом: в 1782 году в печати был опубликован способ приготовления капель. И тайне, и огромным доходам пришел конец...

Повторили открытие Бестужева (без всяких интриг, чисто научным путем) доктора медицины, члены государственной медицинской коллегии барон Петр Федорович Аш и Иоганн Готтлиб Георги. Оба они считались лучшими медиками столицы, Георги к тому же был еще знаменитым натуралистом и путешественником, профессором натуральной истории и химии. В 1781 году он возглавил химическую лабораторию, созданную Ломоносовым. Именем профессора Георги назвали экзотический цветок, привезенный из Мексики, — давно уже ставший привычным в наших краях георгин.

Однако вернусь к лаборатории Ломоносова и мытарствам, какие ему пришлось претерпеть, добиваясь ее открытия. Первое прошение о создании лаборатории он подает руководству Академии в январе 1742 года, но ответа не получает. На второе прошение (он подал его в мае 1743-го) следует резолюция: «Отказать за неимением при Академии денег». А потом происходят события, поставившие под вопрос не только создание лаборатории, но и само пребывание Ломоносова в Академии. В августе того же 1743 года, после громкого конфликта на одном из заседаний академического собрания, Ломоносов был арестован и отправлен в караульное помещение Академии. Восемь месяцев, пока он не заболел, его



Академия наук

содержали под стражей. В январе 1744-го выпустили из-под ареста, но приговорили к удержанию в течение года половины жалования. Если учесть, что и до этого ему почти год не платили ни копейки, можно представить, в каком тяжелом положении он оказался. Тем не менее борьбы за лабораторию Ломоносов не прекращает, снова и снова обращается к руководству, доказывает, как необходима она для развития отечественной науки. В академическом архиве хранится дело № 747 «О строении Химической лаборатории». Открывается оно бумагой, написанной рукой Ломоносова: «В Императорскую Академию наук представляет той же Академии Адъюнкт Михаила Ломоносов, а о чем, тому следуют пункты: 1. В прошлом 1742 и 1743 годах в генваре и в мае месяцах подал я в Академию наук представление двоекратно о учреждении Химической лаборатории при оной Академии, однако на те мои представления не учинено никакого решения...»

В 1748 году лаборатория была, наконец, построена (по чертежам Ломоносова) и оснащена новейшими приборами и реактивами. Она стала центром научных исследований и базой для теорети-

ческих и практических занятий студентов Академии. Это, наверное, и есть главное: в деятельности ломоносовской лаборатории были заложены принципы соединения науки и практики. Более того, она стала, в сущности, первым научно-исследовательским учреждением в России, праматерью всех русских лабораторий и научно-исследовательских институтов. Там Ломоносов с немногими помощниками работал с 1748 по 1757 год, проводил многочисленные исследования фундаментального и прикладного характера, выполнял анализы руд, солей, разработал методики получения окрашенных стекол, неорганических красителей, глазурей и сделал многое, многое еще. В 1757-м он был вынужден оставить свое любимое детище.

Лаборатория просуществовала до 1793 года, когда участок бывшего Бонова двора купил академик Николай Яковлевич Озерецковский, известный естествоиспытатель, знаменитый тем, что открыл место истока Волги. По его распоряжению в 1798-м к зданию лаборатории сделали две пристройки, каменную и деревянную. А в 1811–1812 годах дом удлинили и надстроили вторым жилым деревянным этажом. Капитальные стены при этом сохранили, но своды уничтожили, на месте очага построили лестницу на второй этаж. В XIX веке бывшая лаборатория несколько раз меняла владельцев, в советское время она превратилась в жилой дом.

В первую блокадную зиму верхний деревянный этаж разобрали на дрова. Остатки кирпичных стен первого этажа исчезли уже после войны, причем стены были разобраны не до фундамента, а только до уровня земли. Кирпичная кладка местами даже возвышалась над землей. Археологи обнаружили, что сохранился и фундамент, уходящий в землю на полтора метра, и поставили вопрос о проведении раскопок и консервации руин. Но... на месте бывшей ломоносовской лаборатории до конца 50-х годов XX века стояли дровяные сараи, потом там устроили спортплощадку.

Кстати, поначалу находились скептики, которые сомневались, действительно ли эти остатки стен и фундамент — лаборатория Ломоносова. Мало ли зданий было построено и успело исчезнуть за столетия... И тут помог документ сколь уникальный, столь и неоспоримый: план Сент-Илера — аксонометрический (трехмерный) план Санкт-Петербурга 1765–1773 годов. Эта огромная

карта-рисунок (масштаб невиданный: один метр в одном сантиметре; изображение Невского проспекта, к примеру, занимает на карте двадцать пять метров) хранится в архиве военно-морского флота. Получить к ней доступ трудно, ее берегут: за два с половиной столетия бумага обветшала и от лишних прикосновений может рассыпаться.

В 1765 году на улицах Петербурга появилась группа людей с планшетами, красками, грифелями, цепями и веревками: топограф и архитектор Пьер де Сент-Илер с пятнадцатью студентами Академии художеств. Они измеряли и с необыкновенной дотошностью зарисовывали все петербургские дома, один за другим, не пропуская ни забора, ни собачьей будки, с предельной точностью изображая лепнину фасадов, решетки балконов, деревья — каждую мелочь. Работали только зимой, чтобы зелень деревьев не закрывала детали фасадов. Заходили в сады, во дворы, вызывая раздражение хозяев. Екатерина II вынуждена была снабдить странных рисовальщиков специальными удостоверениями и издать распоряжение: «Чтобы никто не дерзал ни под каким видом препятствовать в исполнении сего важного мероприятия». Насколько важным было мероприятие, до конца оценить дано лишь через долгие годы — город двухсотпятидесятилетней давности перед нами как на ладони, и мы можем не предполагать, а сказать точно: было так. Вот и точное место химической лаборатории Ломоносова помог определить — вернее, подтвердить — план Сент-Илера. На нем точно запечатлено место, внешний вид и размеры строения (длина четырнадцать метров, ширина — десять, высота — четыре с половиной). При совмещении плана и проекта лаборатории, начерченного Ломоносовым, всякие сомнения отпали. Казалось бы, дорожить тем немногим материальным, что осталось от Ломоносова, этого символа русской цивилизационной мощи, естественно, особенно для людей, причастных к русской науке. Однако в Петербурге вокруг химической лаборатории Ломоносова — вернее, вокруг места, где она стояла, — уже давно идут битвы: то ли лабораторию воссоздать, то ли жилой дом построить.

Попытки воссоздать первое в России здание, построенное специально для научных целей, неоднократно предпринимали разные инстанции, от Президиума Академии наук до Совета министров еще

СССР (поводами были многочисленные юбилейные даты: 275-летие Ломоносова, 250-летие химической науки в России и уже совсем недавно, в августе 2008 года, 260-летие основания первой российской научно-исследовательской академической лаборатории). Время идет. 2011-й — год трехсотлетия великого ученого, действительно великого... Вероятно, именно в связи с этим говорят уже не просто о строительстве элитного дома — обещают обязательно сохранить обнаруженные остатки Ломоносовской лаборатории и даже их музеефицировать в подвале будущего дома. Хорошо бы только представить, как удастся сохранить эти остатки при рытье котлована...

Строительство дома — дело полезное (кто же спорит?). А уж дома элитного — еще и выгодное. Это раньше, даже еще и не очень давно, при слове «выгода» академическая элита брезгливо поморщилась бы. А сейчас... Что же ей, элите, быть позади планеты всей? Уже больше десяти лет прошло с того момента, когда был предложен наименее затратный выход из создавшегося положения — поставить на месте лаборатории памятный знак: мол, тогда-то и тогда-то здесь работал такой-то и такой-то. Но даже этого сделать не удосужились. Зато говорят, при случае, многие и много — «наш первый русский гений», «светило мировой науки», «первый в России естествоиспытатель, химик, физик, астроном, географ, геолог, металлург, поэт, художник, просветитель». И всегда, перед названием каждой области творчества, в которой Ломоносов проявил свой поразительный дар, добавляют — «великий». А между тем уже очень мало тех, кто знает, где он работал, где сделал открытия, давшие ему неоспоримое право называться великим.

Зато на доме № 61 по набережной Мойки есть мемориальная доска: «На этом месте находился **дом-усадьба**, где жил и работал с 1757 по 1765 г. великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов». Тоже — только место... А мог бы быть один из самых значительных мемориальных комплексов города, да что города — страны. Почти полвека на это можно было надеяться — усадьба сохранялась в первозданном виде. Но в 1821 году правнучка Ломоносова, Екатерина Николаевна Орлова, продала усадьбу почтовому ведомству, которое, естественно, приспособило весь участок для своих нужд: что-то было снесено, что-то перестрое-

но, осталась неразобранной только небольшая часть стен дома (их использовали при новом строительстве).

Почему Екатерина Николаевна продала усадьбу великого прадеда и тем самым обрекла ее на уничтожение? Понять это нелегко, тем более что материальных затруднений, которые могли бы объяснить эту продажу, она в то время не испытывала. Но, главное, была женщина умная, просвещенная и не понимать бесценность для России всего, связанного с Ломоносовым, просто не могла. Чтобы было понятно, что представляла собой эта женщина, расскажу о ней совсем немного.

Единственная дочь Ломоносова, дожившая до взрослых лет, — Елена Михайловна — вышла замуж за домашнего библиотекаря Екатерины II Алексея Алексеевича Константинова. У них было четверо детей. Софья Алексеевна стала женой генерала Николая Николаевича Раевского, прославленного героя Отечественной войны 1812 года. С их сыном Николаем дружил Пушкин, общеизвестна и его романтическая влюбленность в младшую дочь Раевских (будущую декабристку Марию Николаевну Волконскую). Но и к старшей, Екатерине Николаевне, он испытывал несомненный интерес.



Княгиня Е. Н. Орлова

24 сентября 1820 года Пушкин писал из Кишинева брату Льву Сергеевичу: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина... Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная». Есть все основания полагать, что за этими словами Пушкина восхищение не только

красотой Екатерины Николаевны, но и ее умом и независимым нравом. Не случайно много позднее, работая в Михайловском над «Борисом Годуновым», он напишет Петру Андреевичу Вяземскому: «Сегодня кончил я 2-ю часть моей трагедии... моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! Знаешь ее? Не говори, однако ж, этого никому».

Екатерина Николаевна вышла замуж за генерала Михаила Федоровича Орлова. По большой любви. Орлов был замешан в деле декабристов, и только ореол славы героя наполеоновских войн спас его от самого сурового наказания. Николай I милостиво ограничился ссылкой в калужскую деревню. Екатерина Николаевна последовала за мужем.

Николай Николаевич Раевский, посетив Орловых в их калужском изгнании, писал сыну Николаю: «Катенька щастлива в своем семействе, муж ее человек без ценной, нам истинный родной, дети премилые, но дела его не в цветущем положении, деревня, в которой он, как заключенный, прескучная, грустная пустыня. Но они здоровы и Орлова характер в веселости не изменяется». Из письма следует, что в ссылке Орловы столкнулись с непривычными материальными затруднениями, которые могли бы заставить расстаться с усадьбой Ломоносова, но к тому времени она была уже давно продана...

Кончина мужа стала для Екатерины Николаевны страшным ударом. Она то уезжала за границу, то жила в Царском Селе, то в Петербурге, то возвращалась в Москву, нигде не находя душевного успокоения. Лишь на время отвлекали ее от тоски по мужу систематизация бумаг и описание архива великого прадеда.

Не исключено, что среди этих бумаг были (но затерялись) и документы о строительстве дома Ломоносова на Мойке. Судя по



М. Ф. Орлов



Н. Н. Раевский

рисунку Махаева, которому мы в основном и обязаны всеми знаниями об утраченных архитектурных шедеврах середины XVIII века, **дом Ломоносова** строил настоящий мастер: строгость и простота фасадов (при почти полном отсутствии украшений) создает ощущение величия благодаря выверенной гармонии пропорций. А это доступно только большому таланту.

Композиция усадьбы, свободное владение пространством тоже свидетельствует о незаурядном таланте зодчего. Анализируя особенности творческой

манеры архитектора, исследователи пришли к выводу, что, скорее всего, строить свое первое, такое долгожданное жилище Михаил Васильевич доверил Савве Ивановичу Чевакинскому. В пользу этой догадки свидетельствует и тот факт, что они наверняка были близко знакомы. Ломоносов просто не мог не обсуждать с Чевакинским устройство академической обсерватории в башне Кунсткамеры, не мог не отметить вкус и мастерство архитектора, постоянно бывая во дворце Ивана Ивановича Шувалова, который построил Чевакинский. Да и не встречаться в гостях у своего общего покровителя они просто не могли. Так что авторство Чевакинского представляется не только возможным, но и вероятным. Строили усадьбу быстро. Достоверно известно, что в 1757 году семья Ломоносова уже обосновалась в новом доме, а «данная» на владение участком была получена 15 июня 1756 года. Получить место для строительства в таком прекрасном районе было редкой удачей. Но выпала эта удача из-за большой беды: в 1736 и 1737 годах все дома на огромном пространстве между Крюковым каналом и нынешней Исаакиевской площадью уничтожил пожар. Для разработки правил застройки «погорелых мест» была создана специальная Комиссия о Санкт-Петербургском строении. Она

установила размеры дворовых участков, которые могли быть отведены горожанам. Ломоносов к тому времени был уже знаменит, обласкан императрицей, так что ему дали не одно, а шесть дворовых мест — с тем, чтобы на участке можно было свободно разместить не только дом и службы, но и лаборатории, мастерские и даже обсерваторию. Все это и было сделано.

Представить себе, как выглядел не только дом (его изображение оставил Махаев), но вся усадьба Ломоносова, помогает все тот же аксонометрический план Сент-Илера, на котором целиком изображен участок от набережной Мойки до нынешней Почтамтской улицы (прямоугольник, сторона которого, выходящая на набережную, составляла около ста двадцати метров). На Мойку выходило главное двухэтажное здание с мезонином и двумя одноэтажными флигелями по бокам. Красивые ворота вели в сад, где размещались служебный корпус и мозаичная мастерская, в центре сада среди фруктовых деревьев, на пересечении крытых аллей-трельяжей, располагались пруд и небольшой павильон с высокой площадкой, огороженной перилами, — обсерватория. Именно в ней, наблюдая 26 мая 1761 года за прохождением Венеры



Вид по реке Мойке в сторону Синего моста

по диску Солнца, Ломоносов сделал открытие: Венера окружена «знатною воздушною атмосферою, таковою (лишь бы не больше), какова обливается около нашего шара земного».

Все восемь с половиной лет, прожитые в доме на Мойке, первом собственном доме ученого, были плодотворны необычайно. Едва ли не каждый день приносил если и не открытия, то идеи, ждавшие воплощения. Идей хватило бы на долгие годы. Но 4 апреля 1765 года сердце остановилось. В том, навсегда утраченном доме. Михаилу Васильевичу Ломоносову было всего пятьдесят лет...

Все рассказанное подтверждает: имя хозяина дома, даже безоговорочно признанного великим, от уничтожения или от обрекающего на медленное разрушение небрежения не уберегает. Еще одно тому подтверждение — судьба **Петровского дворца**. Был он небольшой, скромный, но, казалось бы, память о венценосном владельце и о той, кому он пришелся по сердцу через сорок лет после его смерти, могла бы заставить потомков отнестись к дворцу бережно. Не тут-то было. Дворец сгорел в 1912 году. Это был не поджог, не злой умысел — обычное разгильдяйство.

А между тем ценность этого маленького уютного дворца не только в том, что был он царским, но и в том, что строил его один из гениев петербургской архитектуры — Антонио Ринальди. Как и в случае с домом Ломоносова документов, подтверждающих авторство зодчего, не сохранилось. Но основания видеть в Петровском дворце руку создателя Мраморного дворца весьма убедительны: «...как по близости его к духу барокко, которым овеяно здание, так и по характеру увеселительной пристройки, близкой по назначению к ораниенбаумским. К тому же и план павильона Каталальной горки представляет как бы половину плана сгоревшего дворца (круглое центральное и два угловых зала), там и подъезд соединен с лоджеттой (маленькой лоджией, названной так по аналогии со знаменитой Лоджеттой, построенной в первой половине XVI века в Венеции, на площади Сан-Марко, Джакопо Сансовино. — *И. С.*) и так же поставлен во входящем углу здания, типы колонн и капителей верхних этажей того и другого здания одинаковы и есть сходство в форме барабана купола. Последнее наводит даже на мысль, — не был ли первоначально Петровский дворец покрыт таким же куполом, как Каталальная горка».

Эта пространная цитата из статьи «Петровский дворец», опубликованной в журнале «Старые годы» сразу после пожара. Автор статьи — Владимир Яковлевич Курбатов. Он занимает достойное место в созвездии русского культурного Ренессанса начала XX века. Химик с мировым именем, профессор, основатель и руководитель кафедры физической химии в Петербургском технологическом институте и одновременно — доктор искусствоведения, знаток архитектуры, автор нескольких монографий и десятков искусствоведческих работ. Как тут не вспомнить Ломоносова? Тоже физико-химик (основатель этой науки), тоже — и не в меньшей степени — литератор и знаток искусств. А мнение профессора Курбатова об авторстве Петровского дворца, на мой взгляд, настолько убедительно, что не подлежит обсуждению. Можно только добавить (уже не из области искусствоведения, а из области человеческих отношений), что Ринальди долгое время был любимым архитектором Екатерины II, да и просто близким ей человеком, посему естественно предположить, что именно ему она поручила построить дворец. Наверное, сейчас у многих возникнет вопрос: при чем здесь Екатерина, ведь дворец-то — Петровский? А дело вот в чем. При Петре небольшой вытянутый вдоль Малой Невы островок, отделенный от нынешней Петроградской стороны речкой Ждановкой, принадлежал лично императору. Правда, собственность была незавидная, но, судя по всему, Петр любил места уединенные (подтверждение тому — Подзорный и Екатеринингофский дворцы). Вероятно, ему просто необходимо было иногда отдохнуть от людей, даже если те и были милы его сердцу. Может быть, поэтому и приказал построить на острове, который по понятной причине назвали Петровским, маленький дворец. А вот до того, как у Петра возникла идея заложить в дельте Невы город, этот остров назывался Столбовым. Почему — до сих пор остается загадкой. Во всяком случае, нигде нет упоминаний ни о каких столбах, стоявших на этой необитаемой территории.

Островок и при Петре был безлюден, построили на нем лишь несколько маленьких временных домиков, куда поселили придворных шутов. Да еще поставили несколько юрт, в которых обитали ненцы, пытавшиеся выращивать на острове оленей. Иногда наезжали туда царица Прасковья Федоровна, вдова брата и соправите-

ля Петра — Ивана Алексеевича. Потом, когда вернулась в Россию, сбежав от ненавистного мужа, герцога Мекленбург-Шверинского, стала частенько бывать на острове и старшая любимая дочь царицы Прасковьи — Екатерина Ивановна (мать будущей правительницы Анны Леопольдовны). Обе были большие охотницы до немудрящих развлечений, так что соседство шутов пришлось им по вкусу. Других желающих не то что поселиться на острове, но даже приезжать туда не наблюдалось — скорее всего, потому, что был он «низок, большею частью лесист и болотист». Не случайно этот район в народе назывался Мокруши.

Как ни странно, полюбила не слишком уютный и вовсе лишенный комфорта остров Екатерина II. Поначалу останавливалась в бывшем дворце Петра, потом распорядилась отстроить его заново. Вот тут-то и пригодился Ринальди, незадолго до этого построивший в Ораниенбауме дивную Каталную горку, неизменно восхищавшую Екатерину. По ее приказу выкопали перед дворцом рыбные пруды, запустили в них ее любимую рыбу — стерлядь. От круглой площади, на которой стоял дворец, расходились восемь аллей, шесть из них выходили на Малую Неву и Малую Невку. Главная же аллея была проложена вдоль всего острова (теперь на ее месте Петровский проспект).

После смерти Екатерины дворец быстро пришел в запустение. В 1801 году его как «ветхое дворцовое строение вместе с прилегающей к нему территорией» передали Вольному экономическому обществу. Оно в течение тридцати пяти лет дворец не использовало, поэтому тот, как и весь Петровский остров, высочайшим рескриптом 1836 года был передан в ведение Кабинета Его Императорского Величества, ведавшего имуществом царской фамилии (Кабинет был создан указом Петра I, с 1826-го — в подчинении Министерства императорского двора. — *И. С.*).

Нельзя сказать, что в XIX веке дворец был заброшен — напротив, его не раз реставрировали, меняли внутреннее убранство в соответствии с меняющимися вкусами. Но вот в 1912 году не усмотрели... А между тем материалы архивов дают право считать, что внешний облик дворца сохранился таким, каким был при Екатерине. Так что — еще одна утрата. Горькая...

Еще два утраченных здания связаны между собой и временем постройки (конец Екатерининской эпохи), и местом (самый близкий к центру города край Коломны), и названиями (**Литовский замок и Литовский рынок**), да еще тем, что строили их великие архитекторы, имена которых должны были бы защитить от разрушения. Не защитили...

В феврале 1917 года озверевшая толпа подожгла **Литовский замок**. Александр Александрович Блок писал матери 23 марта: «Выгорел дотла Литовский замок и окружной суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела». Но это Блок и люди его круга могут оценить красоту, способны отделить ее от той чудовищной функции, которую здание выбрало не само — люди навязали. Вообще ненависть к зданию — признак какой-то пугающей, непреодолимой эмоциональной тупости, свойственной не только толпе (вспомним, как поступил Павел I с Летним дворцом Елизаветы Петровны). Утешает, что это — не национальное свойство: французы, разрушившие Бастилию, тоже «не заметили» ее красоты. Кстати, Литовский замок часто называли русской Бастилией. Но так говорили узники, как сказали бы сейчас, продвинутые. А для простых уголовников, не обремененных знанием истории (тем более чужой), был он «Дядиной дачей» или «Каменным мешком». Вообще-то строил Иван Егорович Старов это здание вовсе не для тюрьмы, а для одного из гвардейских полков. Сразу после завершения строительства (в 1787-м) в нем расквартировали Кавалергардский полк, а уже потом, в начале XIX века, — Литовский мушкетерский (именно он и дал название замку). В 1810 году его сменил Гвардейский экипаж.

В российской армии было два Литовских полка. Первый — лейб-гвардии Литовский (служили в нем не только литовцы). Он отличился в Бородинском сражении, в битве под Малоярославцем, принял участие в походе русской армии по Европе. Был он сформирован из батальона преображенцев, потому считался одним из самых престижных гвардейских полков. О гвардейцах-литовцах напоминают названия улиц в районе Выборгской заставы: Литовская и Ново-Литовская.

Второй Литовский полк — армейский, мушкетерский. Его-то и расквартировали в так называемом Семибашенном замке. Именовали его так потому, что построенное Старовым приземистое, довольно мрачное здание в два этажа украшали семь круглых башен по углам, напоминая о тюремном замке в Стамбуле, называемом Едикуле, что в переводе с турецкого как раз и означает «Семь башен». Литовцы жили в замке недолго (не больше пятнадцати лет), но петербургские обыватели как-то сразу стали называть его Литовским. Это имя досталось в наследство и следственной тюрьме.

Незадолго до Отечественной войны 1812 года возникла необходимость устроить в Петербурге вместо кордегардий помещение, специально приспособленное для содержания заключенных. Первым в 1811 году проект тюрьмы подал правительству Андрей Никифорович Воронихин, но началась война... В 1819 году Иосиф Иосифович Шарлемань разработал проект тюрьмы у Семеновского моста, на правом берегу Фонтанки, однако место императору показалось неудачным, и в 1823-м Шарлеманю вместе с Петром Сергеевичем Плавовым предложили приспособить под тюрьму для уголовных преступников Литовский замок.

В передней башне, выходящей к мосту, появились низкие тяжелые ворота, сбоку от них — образ Спасителя в темнице и в узах, над воротами — черная доска с надписью «Тюремный замок». С тех пор и пошла его мрачная слава. Всеволод Владимирович Крестовский, автор «Петербургских трущоб», называл его каменным ящиком с выступающими пузатым полукругом наугольными башнями, скучный вид которого разнообразят только два ангела с крестом на фронтоне.

С этими ангелами было связано немало тюремных легенд. По одной из них, когда заключенный под охраной впервые входит в ворота тюрьмы и поднимает взгляд к ангелам, он видит, что ангелы едва выдерживают тяжесть креста, и после этого все долгие дни и ночи заключения верит: «Настанет день, когда ангел уронит крест, и все выйдут на свободу».

По другой легенде, один из ангелов по ночам обходит тюремные камеры. Арестанты клялись, будто слышали его шаги и видели блестящие крылья. Точно знали: если он постучит в камеру кому-то из

смертников, того в ту же ночь казнят. А однажды в Страстную субботу он якобы усыпил часового, выломал решетку на окне камеры «одного невинно осужденного и вывел его за ворота тюрьмы».

Еще одна легенда с ангелами никак не связана. Она родилась в середине XIX века, во время повального увлечения азартными играми. По городу прошел слух, что удача за карточным столом сопутствует тем, кто играет вблизи жилища палача. Побывавшие в тюрьме утверждали, что городской палач живет в Литовском замке. Вот петербургские шулеры и присмотрели два притона в доходных домах на углу Тюремного переулка и Офицерской улицы, из окон которых был хорошо виден Литовский замок. Игра там шла по крупному, казусы случались всякие. Вплоть до убийств. Полиции было удобно — тюрьма-то рядом.

В 1884-м тюрьму отремонтировали и переоборудовали. Теперь на четырех ее этажах было сто три камеры, в которых можно было разместить восемьсот заключенных. Простолюдинов в одной камере содержали по десять-двадцать человек, а вот «благородные» сидели по двое «с соблюдением... удобностей, правилам Тюремного общества соответствующих». В камеры первого этажа помещали всякого рода бродяг, на втором было «татевное» отделение (от слова «тать» — вор, преступник. — *И. С.*), в третьем отделении сидели «по подозрению в воровстве, мошенничестве и краже», в четвертом — уже осужденные воры и мошенники. Часть камер второго этажа занимало «частное» отделение. Там отбывали наказание «бесхлопотные» арестанты — купцы, мещане, иностранцы. Попасть в это отделение считалось большой удачей — его сидельцев освобождали от работы.

До самого конца XIX века в Литовском замке содержали только уголовных преступников, потом начали помещать и политических. Тогда-то и сочинили песню, которую будут петь еще много лет во всех российских тюрьмах.

На одной из улиц отдаленных
Есть высокий красный дом большой:
На окнах железные решетки,
Обнесен высокою стеной.

Тишина кругом повсюду,
Не слышать живой души.
Кругом шагают часовые,
На воротах крепкие замки.
Иногда там слышны звуки песен,
Но печальных, как осенний день;
Иногда в окно там виден узник,
Но худой и бледный, точно тень.
Кто ж они, безмолвные герои
Там, за крепкою стеной,
Точно звери, заперты жестоко
В этот гроб, холодный и сырой.
Это те безвестные герои,
Это те страдальцы за народ,
Кто под гордым знаменем свободы
Звал идти безропотно вперед!
Много их таких со славой пало,
Много и еще в борьбе падет,
Но в сердцах свободного народа
Дело их вовеки не умрет.

Разные люди побывали в Литовском замке и за разные прегрешения. Владимир Галактионович Короленко отбывал заключение за связь с народниками и распространение прокламаций. А вот Александра Ивановича Куприна посадили за дебош в ресторане. Куда более серьезные преступления привели в Литовский замок первую русскую террористку Веру Ивановну Засулич и «нечаевцев», отбывавших разные сроки по обвинению в «заговоре с целью ниспровержения правительства во всем государстве и перемены образа правления в России». В глазах определенной части петербуржцев Литовский замок был символом жестокости и произвола. Так что его поджогу в первые дни Февральской революции едва ли следует удивляться.

А обгоревший остов замка простоял до середины тридцатых годов (может быть, тоже как символ, но уже своеобразного понима-

ния свободы?). Потом его снесли, а на его месте построили жилые дома. Большинство квартир в них были коммунальными...

Литовский рынок появился рядом со зловещим замком (правда, тогда он еще не казался зловещим) через два года после того, как там поселились brave кавалергарды. Занял он территорию около тринадцати тысяч квадратных метров, ограниченную Большой Офицерской улицей (сейчас улица Декабристов), набережной Крюкова канала, Торговой улицей (сейчас улица Союза Печатников) и Минским переулком. Построили его в 1789 году по проекту самого Джакомо Кваренги, уже прославившего к этому времени свое имя зданиями Эрмитажного театра, Академии наук, Иностранной коллегии; но главные его шедевры — Смольный институт и Александровский дворец в Царском Селе — были еще впереди. В то время, когда к нему обратились купцы с просьбой построить рынок в Коломне, он заканчивал работу над одним из шедевров — Ассигнационным банком — и одновременно строил Малый гостинный двор в Чернышевском переулке (сейчас — улица Ломоносова).

Впрочем, скорее всего, обратились-то к нему много раньше, да вот работа затягивалась. Едва ли по вине зодчего (он обыкновенно работал быстро и нареканий у заказчиков не вызывал). Вероятно, у купеческого сообщества возникали конфликты или проблемы с деньгами. Дело в том, что этот торговый дом строили на частные средства — каждый из купцов, вкладывавших деньги в постройку, планировал впоследствии получить в собственность определенную часть здания (лавку), отгороженную от соседних капитальными стенами. Именно поэтому на карте Санкт-Петербурга, составленной в конце XVIII века, Литовский рынок именуется Частным.

Основание с уверенностью предположить, что между проектом и постройкой прошло немалое время, дают хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве чертежи Литовского рынка. Самые ранние из них датированы еще 1850–1860 годами. По ним можно составить полное представление об облике здания. В плане оно представляло собой трапецию. Со всех четырех сторон однотипные фасады, в центре каждого — арочный проезд, украшенный треугольным фронтоном; по бокам — аркады, смыкающиеся в углах здания. Все четыре проезда вели в общий внутренний двор. На самой длинной стороне, выходящей на

Офицерскую, — восемь арок, на Торговой улице — только шесть. Правда, в ходе постройки проект Кваренги был несколько изменен (вероятно, по желанию заказчиков): вместо барельефов, изображающих солнце, которые архитектор предлагал поместить над дверями лавок, прорубили полукруглые окна, освещавшие помещения второго этажа со стороны улиц и канала; над проездными арками устроили жилые помещения, а углы здания закруглили. Кваренги вообще-то болезненно переживал любые попытки вмешиваться в его проекты, но в этом случае, похоже, удалось избежать конфликта — все мысли зодчего были заняты предстоящей работой над Александровским дворцом в Царском Селе. Кроме того, изменения не лишили рынок строгой гармонии, которая была свойственна всем работам гения из Бергамо.

В 1789 году рынок, объединявший сорок две лавки, открыли для покупателей и сразу стали называть Литовским (из-за соседства с Литовским замком), хотя, как уже было сказано, поначалу официально называли Частным, а потом — Харчевым, так как предполагали торговать на нем только продовольствием. С Литовского рынка питались больше люди состоятельные, туда их прислуга приезжала даже из центральных частей города. Популярность подтолкнула купцов к расширению торговли, они начали оснащать свои владения всевозможными пристройками. Это, быть может, шло на пользу коммерции, но не красоте: Кваренги всегда строил так, что ни убавить, ни прибавить. Но кому до этого дело? Прибыль-то важнее. Так что в конце XIX века был даже проект, предлагавший заделать лицевые арки кирпичной кладкой. Эти высокие арки, украшавшие фасады, были красивы (никто и не спорил), но неудобны торговцам.

Проект, на счастье, не был осуществлен — хозяевам лавок стало не до того: к началу XX века рынок растерял былую славу, большинство его помещений пришлось сдавать под склады. Правда, появился новый источник дохода: земля в столице подорожала, а ведь хозяева лавок владели и немалыми участками земли. Самым выгодным способом ее использования стало строительство доходных домов. В 1902 году владельцы двух соседних участков, Пономарев и Яковлев, решили построить такой дом во дворе рынка, на земле, примыкавшей к их лавкам. По их заказу архитектор

Василий Иванович Шене разработал проект многоэтажного доходного дома. Главный его фасад, обращенный в сторону двора, стал одним из образцов (и не худшим) петербургского модерна. В середине 20-х годов XX века здание внезапно охватил пожар (следов поджога не обнаружили, хотя искали старательно). Спасти удалось лишь центральную часть рынка, обращенную к Крюкову каналу. На месте пожарища в 1931 году построили конструктивистское здание дворца культуры Первой пятилетки. Работал там Василий Павлович Соловьев-Седой, а в годы войны музыкальной частью Театра народного ополчения заведовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В 1957-м здание дворца перестроили в духе «сталинской классики». В 2000 году его разрушили, чтобы построить на этом месте новую сцену Мариинского театра. Вместе с дворцом уничтожили и сохранившийся фрагмент постройки Кваренги — лавку Литовского рынка. Хотя была она очень хороша. Как бывает красив — не оторвать глаз — какой-нибудь чудом сохранившийся осколок древней вазы...

Почти все, что утратил наш город, построено было давно, по большей части — в XVIII веке. Следующая утрата, о которой пойдет речь, из этого ряда выпадает: дом был совсем новый (правда, сейчас ему бы уже исполнилось сто лет — возраст, даже для дома, вполне солидный, но когда его уничтожили, ему было едва за тридцать). Объединяет его с двумя последними утратами, о которых я рассказала, во-первых, адрес (он тоже стоял в Коломне), во-вторых, как замок и рынок, он погиб от огня. Но не от нелепой случайности или поджога — от фашистской зажигалки (так называли во время войны зажигательные бомбы, которые тушили дежурившие на крышах во время налетов жильцы).

До 1905 года обширным участком на углу Офицерской улицы и Английского проспекта владела вдова гвардейского полковника Мария Ивановна Маслова. На участке стоял четырехэтажный доходный дом, построенный в середине XIX века.

Красотой он не блистал, но был добротен и удобен, к тому же квартиры Мария Ивановна сдавала не каждому — с разбором. Так что жизнь там шла размеренная и благопристойная. Среди жильцов была Амалия Васильевна Литке, кузина Петра Ильича Чайковского, у которой он одно время квартировал.

После смерти хозяйки дома все изменилось: участок купил золотопромышленник, гласный городской Думы Петр Иванович Кольцов. И началось... Всю территорию очистили от старых построек. Ломали — ничего не жалели. На освободившуюся площадку приходили люди с чертежами, что-то обсуждали, спорили. Говорили, чуть до драки не доходило. Наконец явились рабочие и начали строить дом (по Офицерской он числился под № 60, по Английскому проспекту — под № 21).

Главным на стройке был Александр Александрович Бернардацци. Что заставило Кольцова обратиться к малоизвестному в столице архитектору, сейчас сказать трудно, но можно предположить, что богатейший промышленник бывал во многих городах России, в том числе и в тех, где имя Бернардацци произносили с восхищением и благодарностью. Именно династии архитекторов Бернардацци во многом обязаны своей неповторимой красотой Пятигорск, Кисловодск, Одесса. Уроженцы швейцарского города Памбио, что поблизости от Лугано (земляки великого Доменико Трезини и очень хорошего архитектора, много строившего в Петербурге Луиджи Руска), братья Джузеппе Марко (он станет Иосифом) и Джованни Батиста (его переименуют в Ивана) приехали в российскую столицу в 1822 году. Начинали помощниками у Монферрана на строительстве Исаакиевского собора, потом были направлены на Кавказ, где построили (фактически с нуля) красавец Пятигорск. Сын Джузеппе, Александр Иосифович, был главным архитектором Кисловодска. Именно он придумал центру города столичный облик.

Его сын, Александр Александрович, тоже не был обделен талантом, а воображением обладал необузданным. Это-то, наверное, и прельстило Петра Кольцова, который, судя по всему, был человек с размахом. Полет воображения одного, одобрение (и, разумеется, деньги) другого, соединившись, привели к тому, что в Коломне появился дом, посмотреть на который съезжался весь Петербург. Его сразу окрестили «Домом-сказкой». Что самое поразительное, память о доме, которого нет уже более шестидесяти лет, до сих пор жива. Даже те местные жители, кто никогда не видел волшебного дома, называют стоящее на его месте ничем не примечательное здание на улице Декабристов «Домом-сказкой», безмерно удивляя этим непосвященных.

Чем же заслужил он такую славу, этот давно утраченный дом? А дело в том, что ничего похожего в Петербурге никогда не было. Да, кажется, не было и нигде. В этом странном сооружении причудливо смешались разные — на первый взгляд несовместимые — романтические стили: от «северного модерна» до как раз в то время вошедшего в моду «национального стиля». Окна и балконы самой неожиданной, причудливой формы, угловая башня, многоцветные майоликовые панно, созданные, как уверяли, по эскизам самого Михаила Александровича Врубеля; стены, облицованные природным камнем, создавали на фоне скромной рядовой застройки старой Коломны волшебное зрелище, напоминающее ослепительную театральную декорацию, какой мог позавидовать даже именитый сосед — Императорский Мариинский театр. На фасаде модный в начале века скульптор, барон Константин Константинович Рауш фон Траубенберг, высек из камня двухметровую птицу Феникс, которая словно поддерживала на своих крыльях угловую эркер «Дома-сказки».

Если раньше в доме Масловой селилась добропорядочная публика, как сказали бы сейчас — средний класс, в новый дом один за другим въезжали люди замечательные: академики Федор Иванович Успенский (знаменитый историк), Игнатий Юлианович Крачковский (прославленный востоковед), Матвей Генрихович Манизер (скульптор). Но, конечно, самой известной (и обожаемой) была Анна Павловна Павлова, царица русского балета. В ее роскошной квартире оборудовали репетиционный зал с кафельной печью, расписанной ампирами веночками. Высокий потолок украшал фриз, изображавший танцующих нимф. Именно в этом давно исчезнувшем зале великий балетмейстер Михаил Михайлович Фокин по просьбе балерины в считанные минуты сочинил и поставил для рождественского благотворительного концерта оркестра Мариинского театра бессмертного «Умиряющего лебедя» на музыку Камилля Сен-Санса. Уже после первых исполнений он будет признан символом русского балета, несравненным и недостижимым.

Но жизнь в «Доме-сказке» была для великой балерины не только временем творческих взлетов, в ней были тревоги и обескураживающие открытия. Ее гражданский муж, барон Виктор Эмилье-

вич Дандре, по профессии горный инженер, был обвинен в растрате средств, выделенных на строительство Охтинского моста. Она не могла поверить, бросилась на помощь, заплатила огромную сумму, чтобы его освободить. Была убеждена: он докажет свою невиновность. А он... дал подписку о невыезде — и сбежал! Значит, действительно, виноват... Ей было невыносимо трудно с этим смириться. Но уезжая вслед за ним из «Дома-сказки», она не думала, что расстанется с Россией навсегда.

Ее уже не было на свете, а поклонники продолжали называть «Дом-сказку» домом Павловой...

А в 20-х годах XX века в доме открыл балетную школу замечательный педагог и балетмейстер Александр Федорович Кларк. У него учились будущие кумиры не только Ленинграда, не только страны, но и всего мира: исполнитель ролей Ивана Грозного и Александра Невского в фильмах Сергея Михайловича Эйзенштейна Николай Константинович Черкасов и дирижер Евгений Александрович Мравинский. Это оттуда их неповторимая пластика, их умение держаться на публике, благородство осанки. Балетная школа работала до начала войны. А в блокаду... В блокаду Александр Федорович Кларк и вся его семья погибли от голода. Погиб и дом. В 1942 году вспыхнул пожар. Считают — от зажигалки (так называли во время войны зажигательные бомбы, которые тушили дежурившие на крышах во время налетов жильцы). Здесь тушить оказалось некому... А может быть, и не зажигалка, может быть, у кого-то не хватило сил справиться с капризной буржуйкой (сегодня многие забыли, что это такое, а другие и не знали никогда; это такая железная печка-временка, которая только и спасала от мороза, топили буржуйки книгами и мебелью, в том числе антикварной). Да это и неважно теперь, от чего загорелось. Важно, что потушить не сумели. Несколько дней обессиленные дистрофики пытались бороться с огнем, тянули шланги к проруби на реке Пряжке. Огонь не хотел отступать. Веселый, украшенный мозаикой фасад рухнул на глазах у еще оставшихся в живых жильцов «Дома-сказки»...

Восстанавливать его не стали, да и вряд ли сумели бы. В общем, еще одна невозполнимая утрата...

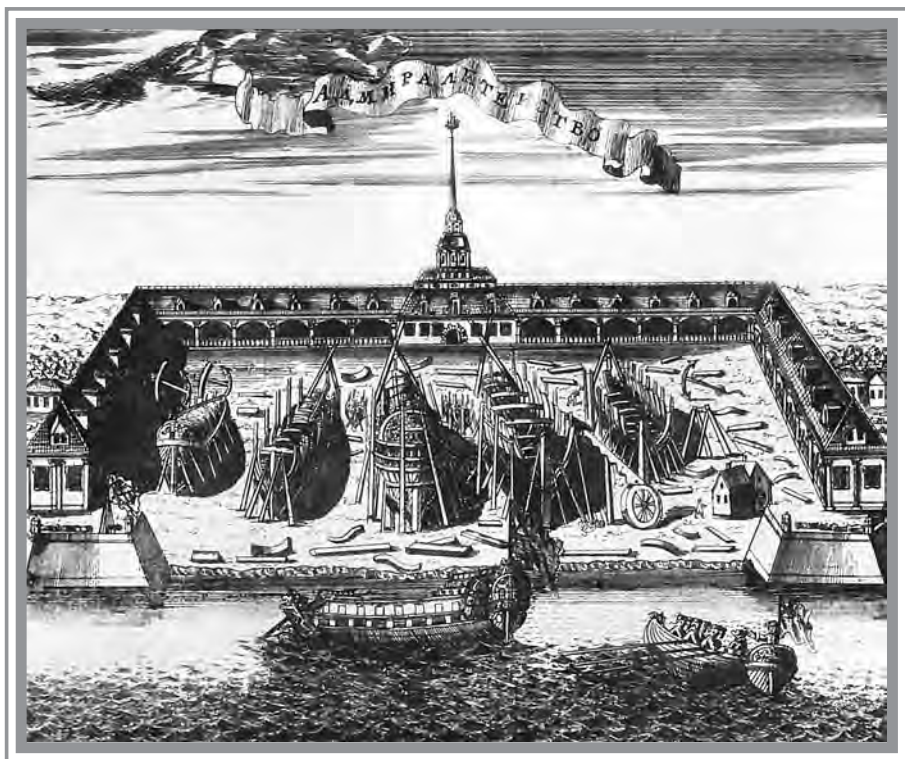
СОКРЫТО ОТ ГЛАЗ



Опасаясь, что у многих вызовет протест то, о чем я намереваюсь написать дальше.

Кому-то покажутся неубедительными частности: ну что, в самом деле, говоря об утратах, писать о Таврическом дворце? Вот он стоит. Ухоженный. Аккуратный. А Екатерининский садик чем автору не угодил? Его-то уж точно не назовешь заброшенным! И эти возражения могут показаться справедливыми. Но только на первый взгляд... А первый взгляд, как известно, в большинстве случаев поверхностен. Ведь то, что мы не можем увидеть, даже если оно цело и, что уж совсем маловероятно, невредимо, для нас — утрачено, как если бы его не было вовсе. А если мы знаем, каким прекрасным оно было, это утаенное от нас (или искаженное), — утрата еще труднее переносима.

Начну с того, с чего начинался город — с Адмиралтейской крепости-верфи.



Адмиралтейство

Ее заложили 5 ноября 1704 года. Время было суровое — Северная война. Нападения шведов на новорожденный город можно было ждать в любую минуту, а значит, нужно быть готовыми. Вот и окружили Адмиралтейство валами и глубоким рвом. За рвом — гласис — открытое пространство, необходимое для действий крепостной артиллерии в случае, если враги нападут с суши. К счастью, все эти приготовления оказались напрасными: пушки Адмиралтейства, как и пушки стоящей на правом берегу Невы Петропавловской крепости, не выстрелили ни разу. Гласис превратился в склад под открытым небом. Там хранили корабельный лес, крупные якоря, множество других вещей, которые не слишком страдали от дождя и снега. В 1705 году Александр Данилович Меншиков, ведавший всеми работами в Адмиралтейской части, получил челобитную: «Те мастеровые люди, кои ныне приехали, живут у Адмиралтейского двора, скучают. Чтоб на сей стороне быть продаже съестным припасам

и питье вина и пива, для того, что им на другую сторону переезжать с трудом и от дела не надлежит». Просьбу мастеровых «полудержавный властелин» без сочувствия не оставил, распорядился организовать близ Адмиралтейства Морской рынок. Он-то и занял часть гласиса. Там же устроили один из первых в Петербурге кабаков. Назвали «Петровское кружало». Рынок был постоянным источником всяческих тревог: то драки, то обвесы-обсчеты, но главное — опасность пожара. Чтобы оградить Адмиралтейство от такого соседства, рынок и велено было перенести на берег Мойки около Большой перспективной дороги. В 1736 году пожар, которого так боялись, все-таки случился. Выгорело все. Об этом я уже писала в главе «Расстрелянный Растрелли». До гласиса пожар не дошел, да и гореть там было нечему — он зарос травой и уже в те далекие времена стали его именовать Адмиралтейским лугом.

В 1721-м огромный луг разделили на несколько секторов: Петр повелел, чтобы от Адмиралтейства исходили три луча — три главные магистрали города. Два (нынешние Невский и Вознесенский проспекты) успели проложить (точнее — прорубить) при жизни императора, третий (современная Гороховая улица) — уже при Анне Иоанновне, в 1736–1737 годах. Я писала об идее Петра Алек-



*Адмиралтейство с еще открытым двором.
Фрагмент панорамы Тозелли*

сеевича: он хотел, чтобы Адмиралтейство и Александро-Невскую обитель соединяла прямая, как стрела, широкая дорога. Писала и о том, почему это не получилось. Но в 1721-м еще казалось, что получится, и государь приказал посадить березовую аллею, ведущую от главных ворот Адмиралтейства к Большой перспективе (нынешнему Невскому проспекту). Сажали деревья, а потом и мостили будущий главный проспект столицы пленные шведы. Судя по впечатлениям иностранцев, приезжавших по этой дороге в Петербург, работали на совесть. Рассказываю это для того, чтобы было ясно: если смотреть со стороны Невского проспекта (буду называть его привычным именем), Адмиралтейство открывалось во всей своей красе, **его ничто не заслоняло**. Так задумал основатель города. Так и было. До определенного времени...

На Адмиралтейском лугу при всех самодержавных российских императрицах, начиная с Анны Иоанновны, устраивали народные гулянья с фейерверками, устанавливали карусели, балаганы, потешные павильоны, катальные горки, винные фонтаны, жарили огромные туши быков. И вином, и жареным мясом угощали всех, независимо от чина и звания, притом совершенно бесплатно. В будние дни на лугу проводили военные учения и пасли коров. К середине XVIII века в крепостном канале стала скапливаться



Адмиралтейская площадь во время карнавала



Адмиралтейство Захарова. Литография. Первая треть XIX века

грязная сточная вода, запах стоял тошнотворный. Елизавета Петровна была женщина брезгливая, да и заразы боялась до обморока, так что строго приказала канал регулярно чистить, а луг замостить. Чистить-то чистили, а мостили не спеша. Так что закончили уже при Екатерине II. Тогда и коров пасти пришлось в другом месте. Александр I в начале своего правления решил устроить перед Адмиралтейством место для общественных гуляний. Проект бульвара поручил составить архитектору Луиджи Руска. В 1806 году широкий тенистый бульвар в три липовые аллеи с кустами сирени, калины и жимолости был открыт. Он шел вдоль южной стороны Адмиралтейства, огибал его с востока и достигал Невы. Бульвар оградили деревянными перилами, у входа установили вертушки-турникеты. Очень скоро он стал модным местом прогулок петербургского света. Помните: «Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар»?

Михаил Иванович Пыляев цитирует фельетон того времени: «В нашей столице севера и наводнений дни становятся все лучше, светлее, суше, пылее. Шпиц Адмиралтейства постоянно от

восхода до заката солнца горит, как золотая игла, а ночью перерезывает воздух серебристой полосой. В канцеляриях и департаментах чиновный мир ежедневно торопится исполнить свои экстренности, чтобы поскорее успеть на гульбище на бульвар, поглядеться со знакомыми, покалякать».

Существует мнение, что именно беседы посетителей бульвара породили термин «бульварный», характеризующий не самый высокий уровень как новостей (слухов), так и литературы.

Александр Павлович не оставлял Адмиралтейский бульвар своим вниманием: в 1817 году приказал засыпать наконец канал вокруг Адмиралтейства, в 1820-м — перенести бульвар ближе к зданию, фасад которого незадолго до этого перестроил и довел до совершенства Андрей Дмитриевич Захаров. В 1824 году восточную часть бульвара продлили до гранитного спуска к Неве. А к двухсотлетию Петра I (уже при племяннике Александра I — Александре II) было решено устроить рядом с Адмиралтейством городской сад. Разбить его доверили известному ботанику Эдуарду Людвиговичу Регелю.



Александр II

На обустройство сада ушло два года, было высажено более пяти тысяч деревьев и почти тринадцать тысяч кустарников пятидесяти двух пород. Торжественное открытие наметили на 8 июня 1874 года. Как часто у нас случается, подвела погода: с утра шел дождь. Но император Александр II повелел праздник не отменять и не только приехал на церемонию открытия долгожданного сада, но и посадил дубок на газоне против портала Исаакиевского собора (он и сейчас там растет). Александра Николаевича попросили разрешить назвать новый сад его именем.

Он согласился. С тех пор сад и зовется Александровским. Правда, некоторое время ему пришлось побыть сначала садом Трудящихся, потом садом Трудящихся имени Максима Горького, но уже в 1997 году с «псевдонимами» было покончено.

При обустройстве сада возникла коллизия, имеющая прямое отношение к теме этой главы. По проекту фонтан, который решено было установить перед центральным входом в Адмиралтейство, представлял собой восемнадцатиметровую скульптурную группу. Она была хороша, но отвергли ее сразу и решительно: **она заслоняла фасад Адмиралтейства**. Уже много позднее был принят проект фонтана, предложенный Александром Романовичем Гешвендом — тот, что и сегодня не закрывает, а только подчеркивает красоту одного из самых блистательных памятников Петербурга.

К концу XIX века деревья в Александровском саду так разрослись, что стали заслонять фасад Адмиралтейства. Группа петербургских архитекторов (среди них были такие выдающиеся зодчие, как Мариан Станиславович Лялевич, построивший мечеть, дом Перцева, дом Мертенса, Сытный рынок, и Мариан Марианович Перетяткович, автор дома Вавельберга) предлагала вырубить деревья и обустроить перед Адмиралтейством партерный сад. Их предложение принято не было. На мой взгляд, к великому сожалению. Сейчас деревья еще разрослись, и как следует разглядеть Адмиралтейство (о достоинствах этого шедевра русской архитектуры говорить не стоит — они и без того очевидны и признаны во всем мире) можно только зимой, и то сквозь черное кружево веток.

Разумеется, сейчас предлагать вырубить деревья и устроить на их месте партеры — не только бессмысленно, но и кощунственно. Бессмысленно потому, что в городе и так ужасающе мало зелени и каждое деревце на вес золота. Кощунственно потому, что во время блокады ленинградцы, погибавшие не только от голода, но и от холода, не срубили ни одного дерева в Александровском саду (и в Летнем тоже). Сберегли. А ведь одним деревом можно было топить буржуйку несколько дней и тем самым спасти чью-то жизнь... Сейчас в Летнем саду вырубают десятки деревьев — тех самых, спасенных во время блокады. Вырубают не вандалы — реставраторы. Видите ли, деревья мешают им проводить реставра-

ционные работы. В общем, тот самый жутковатый принцип: цель оправдывает средства. Впрочем, никто из тех, кто не пережил лютой зимы 1941–1942 годов, кого могли согреть, а значит, и спасти эти деревья, не придет, не взглянет им в глаза. Так что — все можно. А о том, чтобы вырубить Александровский сад и открыть Адмиралтейство, и речи быть не может. И все же печально, что, имея такое чудо красоты, сохранив его, мы утратили возможность им любоваться. На мой взгляд, любимый горожанами сад — одна из самых серьезных градостроительных ошибок. Допущена она давно. И, как оказалось, непоправима...

Нечто похожее произошло с еще одним петербургским шедевром — Александринским театром. Его тоже — по меньшей мере, до половины — закрывают разросшиеся деревья Екатерининского сада. Но если сад Александровский — ошибка, недостаток воображения, не позволивший его создателям представить, что он со временем скроет величественную красоту Адмиралтейства, то сад Екатерининский — нарушение четко сформулированной и обоснованной воли автора здания театра. Карл Иванович Росси планировал на площади перед театром только партерный сад, прекрасно понимая, что высокие деревья не только заслонят большую часть здания, но и исказят его совершенные пропорции. К мнению великого зодчего не прислушались. О том, чтобы вырубить деревья, сейчас тоже не может быть речи. Так что тот безупречный городской пейзаж, который оставил нам Росси, тоже утрачен. Навсегда.

Впрочем, по этому поводу вспоминается одна давняя история. В петровские времена на месте нынешнего Гостиного двора зеленела березовая роща. И вот как-то особенно суровой зимой ее принялись рубить на дрова. Государь, недолго думая, приказал порубщиков поймать и каждого десятого повесить, «а прочих жестоко наказать». Жалостливая супруга, Екатерина Алексеевна, с трудом умолила пощадить несчастных. Петр уступил. Виновные были «наказаны при том месте на Большой перспективной шпицрутен морским». Если кто не знает или забыл, шпицрутен — это длинный, гибкий прут, вымоченный в соленой воде. Осужденного прогоняли сквозь строй солдат, которые шпицрутенами били его по спине. Этот «гуманный» способ наказания Петр Алексеевич

позаимствовал в шведской армии. Отменили наказание шпицрутенами только 17 апреля 1863 года (в день рождения императора Александра II).

Так вот, цареvна Елизавета Петровна была свидетельницей этой истории. Она, как и незабвенный папенька, дорожила каждым деревцем на столичных улицах (не случайно к концу ее царствования в Петербурге было тысяча семьсот садов). Но когда возникла необходимость строить Гостиный двор и лучшего места, чем та памятная березовая роща, не нашлось, государыня недрогнувшей рукой подписала распоряжение рощу вырубить. Так что все может быть...

Но вернусь к Адмиралтейству. Поначалу часть берега Невы рядом с верфью использовали как «речные ворота»: спускали с эллингов построенные корабли, принимали суда, доставлявшие сырье и потребные судостроителям материалы. После того как в 1844 году (уже при Николае I) все кораблестроительные работы перенесли в галерную гавань, а все каналы и бассейны на территории Адмиралтейства засыпали, было решено сделать вдоль северного (речного) фасада бывшей верфи набережную. Была она деревянной, что никак не соответствовало облику блистательного Санкт-Петербурга. И в апреле 1872 года вышло высочайшее распоряжение об устройстве набережной гранитной. Она должна была завершить оформление левого берега Невы, стилистически объединив Дворцовую и Английскую набережные. Решение, без всякого сомнения, разумное. Но... работы было предложено финансировать за счет средств, полученных от продажи под застройку земельных участков между крыльями верфи. Вот это-то и станет причиной одной из самых грубых градостроительных ошибок, совершенных в XIX веке.

21 ноября 1874 года состоялось торжественное открытие набережной между Дворцовой и Петровской пристанями. Петербуржцы были в восторге. Но очень скоро восторг сменился недоумением, а потом и возмущением. Вся территория Адмиралтейского двора (в полном соответствии с решением об источниках финансирования строительства набережной, давно оглашенным и благополучно забытым публикой, но не правительством) была продана отдельными участками под застройку частным владельцам. Теперь каждый мог делать на собственной земле все, что ему заблагорассудится.

Чтобы оправдать затраты на землю, строить начали дома многоэтажные, огромные. Все они респектабельны, солидны, но не более. Художественный интерес представляет только дворец великого князя Михаила Михайловича (впрочем, не менее интересна и его романтическая история, но рассказать о ней не позволяет формат книги). В результате **доходные дома закрыли задний фасад здания Адмиралтейства**. Диссонанс, внесенный ими в один из самых совершенных архитектурных ансамблей города, не очевиден только слепому. Но о сносе этих домов невозможно даже мечтать. Так что еще один прекрасный городской пейзаж утрачен навсегда.

Нельзя умолчать и о доме № 1 по Невскому проспекту. Выглядит он вполне презентабельно, даже с претензией на величественность. Во всяком случае, сказать, что он уродует проспект, едва ли у кого-нибудь повернется язык. Но попробуем немного отойти и взглянуть на Адмиралтейство. Мы увидим только шпиль и часть башни. Все остальное перекрыто громадой этого неуместного здесь здания. А ведь основатель города задумывал совсем другое: Адмиралтейство должно зрительно замыкать проспект при взгляде не только издали, но с любой точки Невского.

Исходя именно из этого на месте нынешнего (и давно привычного) дома стояло когда-то небольшое трехэтажное здание в форме треугольника. Адмиралтейство оно не заслоняло. Со второй половины XVIII века в нем размещалось Вольное экономическое общество, объединявшее крупных землевладельцев, заинтересованных в повышении производительности сельского хозяйства. К своей работе они умели привлечь самых выдающихся ученых. Их консультантами и помощниками в разное время были Леонард Эйлер, основоположник русской агрономической науки Андрей Тимофеевич Болотов, Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Михайлович Бутлеров, Петр Петрович Семенов-Тяньшанский.

Общество было небедным и не лишенным амбиций и, когда дом на Невском оказался ему мал, вполне могло построить на том же месте что-нибудь более вместительное. Но члены общества были люди просвещенные и город свой любили, так что **не могли себе позволить в личных целях исказить облик его главной улицы**. Они продали дом и переехали на Забалканский проспект. Здание XVIII века (его использовали как доходный дом) простояло до

начала века XX, до времени, когда капиталистический Петербург стал активно теснить аристократическую столицу. В 1910 году и вырос тот дом, который уже сто лет заслоняет один из шедевров петербургского зодчества. Построили это помпезное здание для Частного коммерческого банка, основанного Степаном Петровичем Елисеевым (о нем и о его участии в формировании новой городской среды я уже упоминала).



Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости

Судьба дома № 1 после революции особого интереса не представляет. В нем давно и, судя по всему, надолго обосновались крупные строительные организации. Престижное место их вполне устраивает, о том, что закрывают какой-то там красивый вид, они вряд ли задумываются. Да если бы и задумались... Что, сносить огромное, вполне презентабельное, к тому же давно ставшее привычным здание? Едва ли человеку здравомыслящему такое придет в голову. Так что вид от начала Невского на Адмиралтейство — утрачен. И, учитывая, что дом № 1 строили умелые и добросовестные мастера, утрачен навсегда...

А вот лишить Адмиралтейство его особой ауры пока не удалось никому. Давным-давно замечено, что и само здание, и окружающие его пространства наделены особым «энергетическим полем», которое благотворно влияет на здоровье и настроение человека. Возможно, это мнение субъективно, возможно, так мощно влияет на людей окружающая красота... Но есть одно странное подтверждение этой «особости»: из года в год ласточки, возвращаясь весной из теплых стран в наш город, сначала летят к Адмиралтейству и долго-долго кружат над иглой, увенчанной корабликом.

Рассказывая об Адмиралтействе, трудно не вспомнить еще об одной утрате. Случилась она по соседству, на противоположной стороне Дворцового проезда, у западного фасада Зимнего дворца. В 70-х годах XIX века, после того как гавань Адмиралтейства засыпали, а на ее месте протянулась Адмиралтейская набережная, от Невского проспекта к набережной проложили Дворцовый проезд. Со временем он становился все более оживленным, а после того, как по нему прошла линия конки, грохот рельсов начал не на шутку беспокоить обитателей Зимнего дворца — именно в западном его крыле располагались личные покои царской четы. Чтобы защитить семью от уличного шума и придумали разбить сад, которому предстояло стать буфером между проезжей частью и дворцом. В 1896 году император утвердил проект Собственного сада, разработанный архитектором Николаем Ивановичем Крамским, сыном знаменитого живописца, написавшего выразительнейшие портреты не только великих мастеров российской культуры, но и императора Александра III.

Через год Николай II одобрил и проект садовой ограды, автором которого был Роман Федорович (Роберт Фридрих) Мельцер, архитектор императорского двора, блистательный мастер петербургского модерна. В 1900 году журнал «Зодчий» писал о придуманной им решетке с узором из стилизованных листьев аканта с императорскими вензелями и государственным гербом России: «Изготовлением решетки занимались в среднем двести человек рабочих, и эта работа была исполнена за пятнадцать месяцев. Вся решетка, до мельчайших деталей, выкована исключительно от руки, из лучшего шведского железа; при этой работе не употреблялось ни штампов, ни прессов, ни паровых молотов и т. п. Листья выкованы на мягкой листовой стали толщиной в четверть дюйма, а цветы — каждый из одной штуки мягкого железа; государственные гербы и вензеля вычеканены из мягкой стали в два с половиной миллиметра».

В 1901 году сад был совершенно готов, но решетку установить не удалось: ее фрагменты (ворота, четыре звена и шесть ваз, предназначенных для украшения столбов ограды) отправили на Всемирную выставку в Париж, где работа Мельцера была удостоена Гран-при. В 1902 году ограда заняла, наконец, свое место. Ее установили на высоком цоколе из розового песчаника, опиравшемся на гранитное основание.

Цвет цоколя стал поводом для изменения окраски фасадов Зимнего дворца, Главного штаба, Штаба гвардейского корпуса — всех зданий, образующих Дворцовую площадь. Их покрасили в красно-коричневый цвет, причем покрасили и стены, и архитектурные детали. Такое однообразие было не свойственно русскому барокко, поэтому, как все новое, неожиданное, вызвало всплеск эмоций — от восторга до протеста. Одним казалось, что это новое цветовое решение усиливает впечатление величия и благородства дворца, придает ему большую монументальность, подчеркивая его статус императорской резиденции. Другие считали новую окраску мрачной, даже зловещей, предвещающей кровь.

Тем не менее ограда, у которой постоянно дежурил часовой, казалась вполне надежной защитой царской семьи от шума, да и от нежелательных визитеров. Правда, роль эту ей пришлось играть совсем недолго: в 1904 году императорское семейство переехало в Царское Село, балы во дворце больше не проводили, официаль-



Зимний дворец с решеткой Собственного сада. Фото начала XX века

ные приемы стали крайне редки. А потом случилось то, что случилось. И ограда уже не могла никого ни от чего защитить...

Сразу после революции в приступе классовой ненависти взялись разрушать дворцовый сад. Первым делом выломали из картушей решетки ненавистных двуглавых орлов и царские монограммы, сорвали короны с вершин столбов. Потом уничтожили клумбы, вырвали, растоптали цветы. Ограда сразу вандалам не поддалась — была сделана на совесть. До нее очередь дошла только 1 мая 1920 года. Для этого пришлось организовать масштабный субботник. В нем участвовали семь тысяч рабочих, студентов и курсантов. Для вывоза обломков были мобилизованы грузовики и подводы — едва ли не все, что оставались в городе. Специально для субботника проложили ко дворцу временную узкоколейную железную дорогу, по которой ездило сто вагонеток. В общем, не пожалели ни сил, ни средств, чтобы стереть с лица земли очередной «символ самодержавия». Удивительно еще, что оставили в саду несколько деревьев. Они дожили до наших дней.

Не уничтожили, а всего лишь демонтировали восемь звеньев решетки. В 1925–1926 годах, по просьбе рабочих Краснопутиловского завода (Кировским его назовут после убийства Сергея Мироновича Кирова, а оставить просто Путиловским не позволяло классовое чувство), их установили на Петергофском тракте, ставшем к тому времени проспектом Стачек, по границе недавно разбитого Сада в память жертв расстрела 9 января 1905 года. Почему именно там? Не случайно. Именно в этом саду в начале 1900-х годов находился довольно популярный в определенных кругах трактир «Старый Ташкент». В нем-то и была составлена петиция, с которой рабочие шли к царю 9 января 1905 года.

Ирония судьбы: этот сад на рабочей окраине обустроивал тот же архитектор и выдающийся садовый мастер Адольф Францевич Катцер, что в 1901 году трудился над созданием дворцового сада. На новом месте решетка выглядела, да и продолжает выглядеть довольно нелепо. Во-первых, в картушах на месте двуглавых



Зимний дворец. Наши дни

орлов и вензелей, которые сразу после революции были выломаны из решетки, зияли огромные дыры. Во-вторых, основание, на которое установили решетку, оказалось существенно ниже задуманного архитектором. Это грубо нарушило пропорции и тем самым неузнаваемо исказило композицию. В-третьих, и это, пожалуй, главное — у Зимнего дворца решетка в стиле Людовика XV жила в «своей среде», на новом месте она абсолютно чужеродна и вряд ли ей удастся здесь прижиться, если даже ее отреставрируют. Спасибо, конечно, что не отправили на переплавку, как надгробную доску Николая Ивановича Путилова или колонну Славы Измайловского полка, состоявшую из ста восьми трофейных турецких пушек, стоявшую у Троицкого собора. И все-таки **ограду дворцового сада** можно причислить к утратам...

Еще одна утрата, на мой взгляд, одна из самых горестных и одновременно самых нелепых, потому что повинны в ней сами владельцы сокровища, которое скрыли от глаз как современников, так и потомков. Факт этот удивителен и необъясним: сомневаться в отменном вкусе этих людей нет никаких оснований. Речь идет о Мраморном дворце, который, по замыслу автора, несравненного Антонио Ринальди, и заказчицы, Екатерины Великой, должен был своим главным фасадом выходить не в маленький замкнутый, хотя и именуемый



Вид на Мраморный дворец. Панорама Садовникова

парадным дворик, а на простор площади, называемой сейчас Суворовской. Впрочем, поначалу от будущей площади Мраморный дворец был отделен Красным каналом, соединявшим Неву с Мойкой. К нему и был обращен парадный фасад дворца, центр которого украшают трехчетвертные колонны портика, поддерживающие аттик с часовой башенкой. По сторонам башни стоят две фигуры работы великого Федота Ивановича Шубина – Вера и Щедрость.

Полюбоваться дивным творением Ринальди съезжался весь Петербург. Привлекала красота и необычность дворца (это было первое здание в столице, облицованное натуральным камнем), подогревало интерес и то, что ни для кого не было тайной – императрица приказала построить этот дворец как прощальный подарок своему многолетнему возлюбленному Григорию Орлову и повелела откровенно написать над входом: «Здание благодарности».



Г. А. Орлов

Но досужей публике недолго удалось любоваться прекрасным фасадом дворца. Уже в 1780 году (дворец был закончен вчерне в 1780-м, полностью завершен в 1785-м, через два года после смерти Григория Александровича Орлова, которому так и не пришлось насладиться роскошным подарком бывшей возлюбленной), восточнее Мраморного дворца архитектор Петр Егорович Егоров начал возводить **служебный корпус**, двухэтажный, скромный. Он, конечно, перекрыл вид на Мраморный дворец, но неокончательно. Стоило отойти подальше – и великолепный фасад открывался взгляду почти целиком. Однако в 1844 году архитектор Александр Павлович Брюллов (разумеется, не по собственной инициативе, а по заказу нового хозяина дворца, великого князя Константина Николаевича) надстроил и расширил здание, навсегда закрыв главный фасад дворца от посторонних глаз. Утверждаю: навсегда, потому что

построенное Брюлловым здание великолепно и представить без него выезд с Марсова поля к памятнику Суворову, к Троицкому мосту уже невозможно. Немыслимо даже вообразить, что его снесут хотя бы и во имя самой достойной цели — открыть шедевр Ринальди. Так что вид на дворец, вид, который даровала городу Великая Екатерина, можно считать утраченным. Для города, не для отдельного человека, потому что сейчас войти в парадный двор может каждый. И, отойдя как можно дальше, рассмотреть парадный фасад, его детали. Но общий взгляд, вмещающий весь дворец, требующий свободного пространства перед ним, увы, невозможен — образ города обеднен...

Удивительно, что решение надстроить служебный корпус, закрыть парадный фасад дворца от посторонних глаз, отгородиться от соотечественников принял не какой-нибудь нувориш, а великий князь Константин Николаевич, один из самых просвещенных и демократичных членов императорской семьи. Необходимость в дополнительных служебных помещениях можно понять, желание отгородиться от любопытных зевак — тем более. И все же, мне кажется, любовь к городу должна была перевесить.

Что же касается тех, кто лишил нас еще одного неповторимого городского пейзажа, их позиция ясна: голый прагматизм, не предполагающий возможности даже задуматься, что важнее: польза или красота. Речь об искаженном, **лишенном свойственного ему изначально размаха облике Таврического дворца**, признанного одним из двадцати самых прекрасных дворцов в мире.

Построить его Григорий Александрович Потемкин решил в 1782 году — перед тем, как отправиться на юг для строительства Черноморского флота. Место выбрал от центра далекое, но не сказать, чтобы глухое, — совсем близко Смольный собор. К тому же район знакомый — по соседству казармы лейб-гвардии Конногвардейского полка, того самого, в котором начинал когда-то службу. Потому и назвал будущий дворец Конногвардейским домом (Таврическим дворцом его назовет уже Екатерина после смерти хозяина). Строительство поручил Ивану Егоровичу Старову — знал того не первый год, вкусу его доверял. И не напрасно. Зодчему удалось достичь художественного совершенства. Причем не богатством отделки фасада, а безупречностью пропорций, гармоничностью всего

облика дворца. Насколько просты и строги его фасады, настолько же были великолепны галереи и залы, особенно купольный, с изысканной росписью и лепными украшениями, и парадный, вдоль которого высились два ряда ионических колонн.

Правда, говорили, будто Старов предлагал Потемкину перенести строительство хоть немного в сторону от выбранного места. Якобы архитектора смущало, что строить придется на участке, где сохранились остатки подворья Феофана Прокоповича с храмом Иоанна Предтечи. Он, человек глубоко верующий, сын дьякона, был уверен: нехорошо строить жилой дом на святом месте. Но Потемкин велел строить, а с ним разве поспоришь... Не исключено, что кусок фундамента одного из зданий подворья стал частью фундамента восточного крыла Таврического дворца. Специалисты, изучавшие фундамент, который постоянно «тянет воду», заметили, что кладка там гораздо более древняя и очень напоминает церковную. С одной стороны, трудно поверить, что Старов пошел на такое кощунство. С другой давно замечено, что есть в Таврическом «гиблые места». Но есть и другие — просветляющие...



Г. А. Потемкин

Отступление о Таврическом дворце

Среди многих петербургских легенд, родившихся в разные годы и по разным поводам, в разной степени близких (или

далеких) от реальности, есть одна. Она о дворце, который мстит за неподобающее к себе отношение, — о Таврическом дворце. Очень часто, говоря о нем, восклицают с восторгом: «Чудо гармонии!» Но это — видимость. Впрочем, в Петербурге такое не редкость: что на виду, так и знай — обманет. Еще Гоголь это заметил и предупредил...

Таврический дворец, внешне столь неоспоримо гармоничный, на самом деле не знал гармонии. В нем все свершилось вопреки. Вопреки логике, планам, мечтам.

Тот, по чьей воле вырос он на дальней окраине столицы, мечтал, что станет дворцом приютом его покойной старости.

Он ведь заслужил хоть немного покоя на склоне лет, Светлейший князь Таврический Григорий Александрович Потемкин, генерал-фельдмаршал, некоронованный повелитель империи.

И еще он мечтал: станет дворцом приютом любви, прошедшей такие испытания, такие взлеты и падения, что (казалось ему) уже никому, никогда ее не разрушить.

Да, были ссоры, были измены. Но все это можно простить и забыть. Ведь больше было другого...

«Я хочу быть в твоём сердце один, выше всех, кто мне предшествовал, потому что ни один из них не любил тебя так, как я», — писал он.

«Крепко и твердо: было так и будет», — отвечала она.

Не для себя одного — для них обоих велел он славному зодчему Ивану Егоровичу Старову строить дворец (такой, чтобы она восхитилась, порадовалась, поняла, что все это — до той поры невиданное — для нее).

Наблюдать за строительством было ему недосуг: рвался на юг, осваивать Крым (она так давно мечтала о Крыме!).

Как счастлива была, узнав о крымской победе! «Таврида! Одно лишь название этой страны возбуждает наше воображение», — писала императрица австрийскому фельдмаршалу, сподвижнику Потемкина принцу де Линю. А Шарль Жозеф де Линь, мудрый дипломат и отважный воин, участвовавший в рядах русской армии во взятии Очакова, так отзывался о Потемкине: «Какое же его

волшебство? Гений, гений и гений! Врожденный ум, прекрасная память, высокость духа, тонкость без всякого коварства, счастливая примесь какого-то единственного своенравия, которое в хорошие минуты привлекает к нему сердца; неограниченное великодушие, искусство награждать приятно и по мере заслуги, верное чувство, дар угадывать то, чего он не знает, и наконец, глубокое знание человеческого сердца».

Победителю Екатерина пожаловала титул — Светлейший князь Таврический. Оба они верили: Крым навеки стал русским. Навеки!..

Потемкину было никак не вырваться в столицу: России нужен флот на Черном море. Срочно. На берегу тихой, глубокой гавани он заложил город. Назвал Севастополем, городом Славы. Там создавал, пестовал Черноморский флот. Первый линейный корабль назвал «Слава Екатерины» (о ней он не забывал никогда).

А между тем под гром сражений русско-турецкой войны на берегу Невы неспешно рос новый дворец. Потемкин повелел устроить все так, чтобы от Зимнего к его дворцу можно было добраться и по суше, и по воде — как пожелает его царственная возлюбленная. Вот и соорудили вблизи дворца шлюпочную гавань (но об этом чуть дальше). Мог ли он тогда даже помыслить, что Екатерина приедет к нему лишь однажды...

Пока он воевал, новый фаворит, юный, не по годам расчетливый красавец все крепче прибирал к рукам власть и над сердцем стареющей государыни, и над казной империи. Потемкину доносили. Он не очень тревожился, знал, что все ее увлечения — мимолетны. Стоит ему вернуться...

Он вернулся. Дворец его не разочаровал. «Кто хочет иметь о нем понятие — прочти, каковы были загородные дома Помпея и Мецената. Наружность его не блистает ни резьбой, ни позолотой, ни другими какими пышными украшениями. Древний изящный вкус — его достоинство; оно просто, но величественно», — так отзывался о дворце Гавриил Романович Державин, так оценивал

его и хозяин. И Потемкин решил: в таком дворце можно устроить бал в честь побед русского оружия в Крыму и при Измаиле, да такой, чтобы затмил все, что когда-нибудь видела столица. На устройство того незабываемого бала было истрачено двести тысяч рублей. Это притом, что все строительство и обустройство роскошного дворца обошлось в триста двенадцать тысяч.

Убранство дворца было поистине царским. Поражал воображение зимний сад. Его огромные окна выходили в живописный парк с прудами, а на стенах между окнами были нарисованы деревья, создававшие иллюзию, будто зимний сад — естественное продолжение сада за окнами дворца. По словам Державина, он производил «действие очарования», казался миром «живописи и оптики». И лишь подойдя ближе, можно было узнать «живые лавры, мирты и другие благорастворенных климатов древа, не только растущие, но иные цветами, а другие плодами обремененные. Под мирной сенью их, инде как бархат, стелется дерн зеленый; там цветы пестреют, здесь излучистые песчаные дороги пролегают, возвышаются холмы, ниспускаются долины, протягиваются просеки, блистают стеклянные водоемы. Везде царствует весна, и искусство спорит с прелестями природы. Везде виден вкус и великолепие — везде торжествуют природа и художество...».

Но для хозяина-то главным среди всего этого изобилия были живые русские соловьи. Он знал: она любит их песни.

Посреди зимнего сада он приказал поставить храм-ротонду, в центре — статую Екатерины. На жертвеннике повелел написать: «Матери Отечества и моей благодетельнице».

Когда она появилась, он приветствовал ее кантатой: «Здесь вода, земля и воздух дышат твоею душой... Что в богатстве и почестях, что в великости моей, если мысль тебя не видеть ввергает дух мой в ужас? Жизнь наша — путь печалей... Стой и не лети ты, время...»

Для августейшего семейства стол был сервирован золотой посудой. Но хозяин не забыл и о простых людях. Для них на площади перед дворцом были накрыты сто-

лы. Питья и закуски хватило на всех. Он хотел, чтобы всем было весело на его последнем пиру. Но это мы знаем, что на последнем. А он...

Три тысячи гостей пригласил Светлейший. Из видных людей столицы не позвал только Платона Зубова, нового фаворита. Шутил: «Я этот больной зуб выдерну!» Он еще верил в свое всесилие... Но «Столичные ведомости», сообщавшие обо всех мало-мальски интересных событиях, о происходившем в Таврическом дворце не упомянули ни словом — Зубов запретил. Газетчики почуяли: власть переменялась.

Правда, еще один человек не был приглашен на праздник: сам великий Суворов. Похоже, именно тогда, и не без участия Зубова, пустили слух, будто Екатерина специально удалила Александра Васильевича из Петербурга, чтобы он своим присутствием не затмевал славу Потемкина, ведь это Суворов, а не Потемкин брал Измаил, а Светлейший лишь приписывает себе чужую славу. Как ни странно, слух этот охотно повторяют и современные авторы. На самом деле спешный отъезд Суворова из столицы был вызван обстоятельствами чрезвычайными — России грозила война с Англией, Пруссией и Швецией. Было известно: британский посланник уже едет в Петербург с нотой об объявлении войны. Вот и отправила императрица на шведскую границу Суворова. И оказалась права: узнав о появлении непобедимого полководца в Финляндии, потенциальные противники России мгновенно одумались, войны с коалицией удалось избежать.

Покидая праздник, Екатерина сказала хозяину: «Благодарю тебя за твой прощальный вечер». Дала понять: она сделала выбор, окончательный, последний.

Ему, Светлейшему, ему, победителю, она предпочла алчное и коварное ничтожество!

24 июня 1791 года князь Потемкин-Таврический навсегда покинул свой дворец, свой город. Что чувствовал он, в последний раз проезжая по Петербургу, где все напоминало о великих свершениях и о мелких кознях завистников, о борьбе за власть и о победах над врагами Отече-

ства, о верных сподвижниках и лицемерных льстецах? А еще — о молодости и о любви, которая обещала быть вечной...

Он умер через три с половиной месяца. В пути. Умер на земле, которую завоевал для России.

Узнав, Екатерина упала в обморок. Первый раз в жизни. Второй (и последний) будет за несколько часов до ее собственной смерти...

«Он имел необыкновенный ум, нрав горячий, сердце доброе... благодетельствовал даже своим врагам», — скажет она, когда он уже не сможет услышать. И добавит: «Трудно заменить его: он был настоящий дворянин, его нельзя было купить».

Зубова она покупала. А Зубов... Современники утверждали: это он дал Потемкину медленно умертвляющий яд. Семь лет тело хозяина Таврического дворца оставалось непогребенным — приказ Зубова. Потом — закопали. Вскоре могилу сравняли с землей — указ Павла, нового императора.

Дела Потемкина пытались очернить. Его славу искореняли из памяти народа. Но Россия обязана ему не только тем, что присоединил к ней южные земли, которые двести лет после его смерти оставались российскими. Он заселил эти земли, отпустив на волю своих крепостных, русских людей — чтобы трудились свободно на благо державы.

Так что слава осталась...

А еще остались долги. Только казне — больше двух миллионов (тех, настоящих, полноценных, золотых рублей). За долги Екатерина взяла в казну дворец. И распорядилась: присвоить ему на вечные времена имя Таврический. Она не могла забыть... После смерти Потемкина подолгу жила в его дворце. Рядом был Зубов. А кругом все напоминало о ее Гришеньке. Дворец был верен памяти хозяина...

Новый российский император Павел Петрович ненавидел Потемкина еще сильнее, чем наконец-то умершую мать. «Я из вас потемкинский дух вышибу!» — орал он ветеранам Русско-турецкой войны. Но потемкинский дух про-

должал жить. И в армии, и во дворце. Этого Павел вынести не мог: сколько лет унижал его, наследника престола, одноглазый гигант?! Всю жизнь! Разве такое простишь? Он выместил свою ненависть на дворце. Он разграбил Таврический. Приказал вывезти все: картины, люстры, скульптуру, фаянсовые печи, даже штофные обои содрать.

Павел Петрович не был ни глупцом, ни невеждой. Знал цену красоте. Как же сильна была ненависть! Ему мало было надругаться над могилой Потемкина, он хотел стереть каждый его след на земле. В прекрасном (и оставшемся беззащитным) дворце он устроил казарму, манеж и конюшню лейб-гвардии Конного, а потом сформированного в 1801 году лейб-гвардии Гусарского полка. Пыляев приводит отрывок из воспоминаний Ивана Алексеевича Второва, известного в те времена литератора и мемуариста, побывавшего во дворце до того, как его привели в порядок: «На развалины великолепного Таврического дворца взглянул я со вздохом. Видел обломанные колонны, облупленные пальмы и теперь еще поддерживающие своды, а в огромном зале, с колоннадой, украшенной барельефами и живописью, где прежде царствовали утехи, пышность и блеск, где отзывались звуки “Гром победы, раздавайся!” — что бы, вы думали, теперь? — дымящийся лошадиный навоз!.. Вместо гармонических звуков раздается хлопанье бичей, а вместо танцев бегают лошади на корде; зал превращен в манеж! Романтический сад поныне еще привлекает всех для прогулки в нем. На беседках и храмиках стены и двери исписаны сквернословными стихами и прозой».

Правда, прежде чем устроить в колонном зале конюшню, не лишенный похвальной хозяйственности император велел снять наборные паркеты и настелить их в Михайловском замке — в своей, казавшейся неприступной крепости.

Мог ли представить, что дворец отомстит?

Но когда в ночь на 1 марта 1801 года убийцы крались в спальню императора, паркет (тот самый, украденный из Таврического) не скрипнул под ногами заговорщиков...

Александр Павлович Таврический любил. И Потемкина уважал. Даже был распорядителем на том знаменитом потемкинском празднике. «О приведении Таврического дворца в прежнее состояние и об отпуске на восстановление дворца ста пятидесяти тысяч рублей» — один из первых указов нового государя.

Состояние дворца после того, как из него выселили коюшню, было удручающим. Едва ли не месяц выгребали навоз из дивных старовских залов.

Дворец восстановили. Но жизнь в него не вернулась... То ли не лежали к нему сердца потомков великой Екатерины, то ли мятежный дух дворца не всякого желал принимать. Но случались и исключения. 5 апреля 1795 года в дворцовой церкви венчались дочь Александра Васильевича Суворова Наталья и брат фаворита императрицы Николай Зубов. А 3 декабря во дворец на три месяца поселился сам Суворов. По приказу императрицы «кушанья для Суворова готовили в пяти горшочках. В скоромные дни: вареная говядина под названием духовой, щи из свежей или кислой капусты, иногда калмыцкая похлебка башбармак, пельмени, каша из разных круп и жаркое из дичи или телятины. В постные дни: белые грибы, различно приготовленные, пироги с грибами, иногда еврейская щука». Перед обедом Александр Васильевич трижды читал «Отче наш», затем выпивал рюмку тминной сладкой



А. В. Суворов

водки и закусывал ее всегда редькой. Спал на сене — как привык. Гостей принимал по выбору. Державина привлекал, оставлял обедать. Знатным вельможам в приеме отказывал. В общем, чувствовал себя в роскошном дворце вполне привольно.

Уже после того, как дворец и его неповторимый зимний сад восстановили, Александр I предложил пожить там Николаю Михайловичу Карамзину. К прославленному историографу дворец тоже был благосклонен. Было ему в Таврическом покойно, как редко где бывало. Там он дописывал свою «Историю государства Российского», но там же пришлось ему пережить два тяжких удара: смерть Александра Павловича и восстание декабристов, которое осуждал, но многих участников которого искренне любил. В Таврическом дворце Карамзин и скончался.

В 1905 году случилось событие, которое могло бы изменить судьбу дворца, вернуть ему замышлявшуюся гармонию. Группа «Мир искусств» получила разрешение организовать в Таврическом выставку русского портрета. В первый раз после того, рокового потемкинского праздника, залы дворца открылись для тысяч людей. Выставка была огромна — больше двух тысяч полотен. Это тоже был праздник — праздник гармонии и красоты. Устроители выставки обращались к правительству: «Всю эту коллекцию стоило бы целиком оставить в Таврическом дворце, и это был бы величайший в Европе музей портретной живописи». Не оставили.

В судьбу дворца вмешалась политика. После кровавых событий 9 января Николая II убедили: только уступки народу могут спасти монархию. 17 октября император подписал Манифест о создании первого российского парламента — Государственной Думы. Разместить Думу решили в Таврическом. Перестраивали дворец спешно, как водится у нас, варварски и — непоправимо. Зимний сад уничтожили во второй раз. Навсегда. Сквозной проход из Большой галереи исчез в железобетонной стене, второй ряд колонн был замурован. Это потеря самая горькая, ведь Большая галерея, как писал выдающийся

знаток истории зодчества Игорь Эммануилович Грабарь, была «одним из великолепных архитектурных шедевров не только в России, но и в целой Европе».

Те, кто безжалостно уничтожал дивные интерьеры XVIII века, не вспомнили первого разрушителя дворца, императора Павла. И никому не пришло в голову: дворец мстит своим осквернителям.

В марте 1907 года в зале заседаний Думы — его построили, разрушив зимний сад, душу дворца, — рухнул потолок. Дворец предупреждал. Похоже, он и дальше готов был играть свою странную и страшную роль...

Попытка наладить сотрудничество между монархом и народными избранниками, как известно, провалилась. Правда, в преддверии конца Дума будет пытаться — до последнего — спасти и монархию, и монарха. Но — ирония судьбы — в феврале 1917-го власть окажется именно в руках Думы. Вопреки ее желанию.

В Таврическом, похоже, очень многое происходит вопреки...

Первый год революции. Двоевластие. Учредительное собрание. Сакраментальное: «Караул устал!» Все это — в Таврическом.

И ратификация Брестского мира тоже произошла в Таврическом. Парадокс: новая власть согласилась отдать Германии русские земли — те самые, что присоединил к России хозяин Таврического дворца, тот, кто когда-то перед боем получил письмо от своей повелительницы: «Я была между жизнью и смертью, не получая от тебя известий. Ради Бога, ради меня самой, береги себя... Милый друг, вы не простой смертный, который живет, как хочет... Вы принадлежите государству и мне!»

После переезда советского правительства в Москву с политикой для Таврического дворца было покончено. Так казалось... Но на третий день после смерти Ленина именно в Таврическом было принято решение о переименовании Петрограда в Ленинград.

Сейчас во дворце обосновалась Межпарламентская ассамблея содружества независимых государств — СНГ.

О дворце заботятся. Но трещины беспощадно разрывают стены. Подземные воды подмывают фундамент. Может, Старов что-то неправильно рассчитал? Или Потемкин ошибся с выбором места? Или дворец снова, в который раз, сопротивляется новым хозяевам?..

Несмотря на все пережитые беды, Таврический дворец стоит и, на первый взгляд, мало отличается от того, каким был при своем первом, точнее, единственном, настоящем хозяине. О том, что внутри он давно не тот, я уже писала. Но главная утрата — даже не те неповторимые интерьеры, которыми так гордился Потемкин. Главное — **утраченное место дворца в городском пространстве**. Место уникальное. Ведь первоначально дворец был открыт к Неве. С безупречным вкусом выбранное место давало возможность видеть великолепное здание с воды и если приблизиться к нему на шлюпке и если смотреть с противоположной стороны реки.



Вид на Таврический дворец с Невы

Как прекрасен был этот вид с воды, можно легко убедиться, рассмотрев рисунок Бенджамена Патерсена, одного из лучших мастеров петербургского пейзажа. Вблизи дворца вырыли шлюпочную гавань в форме ковша. Для прохода судов из Невы в гавань прорыли канал до самого дворца. Длинной он был двести десять метров, шириной — двадцать пять. Со стороны Невы канал защищали дамбы, облицованные камнем. Вход в канал акцентировали мощные гранитные устои.

Эта единственная в своем роде завораживающая архитектурная перспектива существовала до середины XIX века — до той поры, пока в 1861 году напротив дворца на берегу Невы не построили водонапорную башню и другие здания центральной городской водопроводной станции. До этого воду развозили в бочках, ее приходилось экономить, не позволяя себе лишний раз вымыть руки. Очень часто скрип тележки водовоза воспринимали как манну небесную. Неудивительно, что башня стала для обитателей левобережья прекрасным символом прогресса. С ее появлением вода начала поступать в каждый дом, причем в неограниченных количествах. Нетрудно понять, как это облегчило быт петербуржцев. Радость не знала границ, и не сразу и далеко не все сообразили, что эта высокая восьмигранная башня, позаимствовавшая элементы средневековых фортификационных сооружений, лишила город одного из его самых чарующих пейзажей — **она закрыла вид с Невы на Таврический дворец**, изуродовала до того безукоризненную панораму левого берега Невы. Так что ее сооружение, столь полезное для жителей города, стало одной из самых грубых градостроительных ошибок за всю историю Петербурга. Причем никто не берется внятно объяснить, почему было принято решение строить водопроводную станцию именно на этом месте. Создается впечатление, что здесь без мистики не обошлось, такова уж судьба Таврического дворца. А того, что сделана ошибка, никто из ответственных лиц не отрицал — более того, речь об исправлении этой ошибки вели неоднократно в разные времена, но перенос водопроводной станции сложен и дорог... Так что остается только вздыхать и смотреть с тоской на рисунок Патерсена. А еще — прийти к невеселому выводу: если уж полезному и прекрасному приходится вступать в противоречие, победа всегда предрешена. И всегда — не в пользу прекрасного...

«В ТАКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЕСТЬ ЧТО-ТО БЕЗНАДЕЖНОЕ...»



Подтверждение этому печальному выводу мы встречаем на каждом шагу. Казалось бы, глава об утратах последних лет должна быть самой пространной. А она, напротив, оказывается самой короткой. Наверное, нужно объяснить почему. На недостаток материала в этом случае никак не сошлешься, ведь каждый день мы видим, как что-то исчезает в нашем городе, что-то появляется. И это было бы вполне естественно (город живет, развивается), если бы то, что появляется, не оскорбляло и вкус, и чувства (имею в виду вполне естественную любовь к родному городу).

Известно: сон разума рождает чудовищ. Каким же беспробудным должен быть сон, родивший «монблан» (так и не могу понять, за что оскорбили эту самую высокую в Европе гору, присвоив ее имя безвкусному чудовищу); или сооружение, возникшее на площади против прекрасного Владимирского собора; или изуродовавшее Невский и Знаменскую площадь здание «Стокманна», да многое, многое еще.

Можно было бы попытаться рассказать, как, чьими стараниями появились на наших улицах эти монстры. **Как** — знают все, кого заботит судьба города. Схема (в самых общих чертах) такая. Присмотрев дом, стоящий на особенно престижном месте (не имеет значения, что он признан памятником, охраняемым государством), нужно **договориться о** получении права инвестировать свои средства в реконструкцию приглянувшегося здания под гостиницу или бизнес-центр. Потом нужно **договориться**, чтобы несколько инстанций без возражений поставили под договором свои визы. Потом — **тоже договориться** — снять с дома статус объекта культурного наследия. Для этого необходимо провести экспертизу (разумеется, **тоже по договоренности**). Наконец, чтобы дом не реставрировать, а просто снести до основания, нужна еще одна экспертиза. Следует **договориться**, чтобы она признала дом аварийным. При этом совершенно неважно, в каком состоянии он пребывает на самом деле. Даже если недавно прошел капитальный ремонт. Стоит только как следует **договориться**. Вот и все. Ты — хозяин, имеешь законное право сносить дом, как бы хорош, как бы дорог он ни был городу. А обещания сохранить лицевую часть фасада, чтобы не утратить ощущения обаяния старины? Но кто принимает эти обещания всерьез?! Правда, может быть, придется еще **договориться**, чтобы те, кому положено следить за сохранением неповторимого облика города, не заметили всех предшествовавших сносу манипуляций. Ну, да по сравнению со всем уже сделанным это всего лишь досадная мелочь.

Схема надежная, проверенная, сбои бывают крайне редко, это хорошо известно. Имена тех, кто эту схему разработал и уже несколько лет по ней живет, причем весьма неплохо, тоже известны. Только называть их не буду. Не потому, что не хватает фельетонной отваги. Просто это — другой жанр. Да и что их называть? Сегодня их и так знают все. А завтра...

Не слишком ли велика честь, чтобы их знали еще и завтра? Да и кому они завтра будут нужны? Мы ведь не стараемся узнать имена летчиков и артиллеристов, сбивших и обстреливавших наш город. Для нас они — безликое и абсолютное зло. Что, нам стало бы легче, если бы мы знали, как фамилия того, кто сбросил бомбу, к примеру, на Литературный дом? Так и им, завтрашним, через те



Дом Юргенса. Наши дни

же семьдесят лет не станет легче, если они будут знать сегодняшних разрушителей этого дома, чиновников и тех, кто называет себя архитекторами. Им, пожалуй, будет хуже, чем нам. Мы-то знали, что бомбили враги, пришельцы, чужаки. А им будет известно, что разрушители были свои, по крайней мере, формально — свои.

Говорят, история учит только тому, что она ничему не учит. А я все-таки напомним об одном историческом факте (в надежде утешить тех, кого происходящее в городе приводит в отчаяние): в 1787 году на стрелке Васильевского острова Джакомо Кваренги, признанный гений, построил (почти закончил, даже под крышу уже подвели) величественное здание биржи. Правда, завершению строительства помешали войны — сначала против Турции, потом против Швеции. Но дело не в этом. Это — всего лишь задержки. Дело в другом. Александр I долго присматривался к творению Кваренги и увидел: здание никак архитектурно не связано ни с площадью перед корпусами Двенадцати коллегий, ни с застрой-

кой набережной. А оно ведь должно было стать центром ансамбля, а вовсе не обособленной постройкой, пусть и красивой. В общем, биржа Кваренги (великого Кваренги!) не украшает Петербург. И император решает биржу снести.

Это было вовсе не самодурство. Отнюдь. Для такого решения нужна была и политическая воля, и безусловная уверенность в справедливости собственного мнения — уверенность, основанная на развитом эстетическом вкусе, на высочайшей культуре. По заданию императора Тома де Томон сделал четыре проекта здания биржи и прилегающих к ней территорий. И только пятый удовлетворил требовательному вкусу государя. Так появился один из самых впечатляющих пейзажей Петербурга.

Так что история все-таки учит: если уж монументальную биржу-храм Кваренги можно было снести во имя города, во имя гармонии,



Биржевая площадь. Фото 1910-х годов

что помешает расстаться, к примеру, с «монбланом»? Нужно только дождаться того, кто будет способен принять такое решение.

Жил в нашем городе прекрасный поэт, негромкий, но если уж услышишь, не забудешь. Вадим Сергеевич Шефнер. Родился он, когда город уже переименовали в Петроград, но по духу, по культуре, был одним из немногих истинных петербуржцев, которым удалось дожить до XXI века (он скончался в 2002 году). Родился и был воспитан в семье, которая, куда бы ее ни забросила судьба, хранила тот особенный, возвышенный петербургский дух, который всегда так ценили в петербуржцах, петроградцах, ленинградцах. Его дедом по материнской линии был вице-адмирал Владимир Владимирович фон Линдестрем, по отцовской — военный моряк, основатель Владивостокского порта Алексей Карлович Шефнер. Во Владивостоке есть улица Капитана Шефнера, а возле дальневосточного порта Находка — мыс Шефнера. После их внука остались книги. Верю, они не будут забыты. Проза его — о жизни, о разном. Стихи по большей части — о нашем городе.

Тая всю явь, что мимо них текла,
Все отраженья давних поколений,
Как занавешенные зеркала,
Стоят фасады городских строений.
Когда-нибудь изобретут прибор:
Направив луч на здание любое —
На особняк, на крепость, на собор, —
Мы прошлое увидим пред собою.
.....
Скрывая все, что отражалось в ней,
И ни на чей не отвечая вызов,
Стена — немая плоскость из камней —
Стоит, как невключенный телевизор.

Эта книга — попытка включить телевизор. Хотя бы ненадолго...

Ирина Аркадьевна Соболева
Утраченный Петербург

Заведующая редакцией
Руководитель проекта
Ведущий редактор
Художественный редактор
Литературный редактор
Корректоры
Верстка

М. Трофимова
Т. Пелипенко
Е. Власова
С. Маликова
А. Черникова
О. Андросик, М. Рошаль
Л. Неволainen

ООО «Мир книг», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73, лит. А29.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.
Подписано в печать 20.07.11. Формат 70x100/16. Усл. п. л. 32,250. Тираж 2000. Заказ 0000.
Отпечатано по технологии СtP в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.